

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА



Константин
Лисаренко



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation

К Елизавете Петровне намертво приклеился ярлык «веселая царица». При этом ее правление считается одним из самых благополучных в истории страны: тогда были заложены основы современной системы образования и здравоохранения, созданы первый банк, университет и Академия художеств, от позиции России зависел финал любой военной, дипломатической или экономической акции европейского масштаба. На поле политической интриги российская государыня обыгрывала монархов-мужчин, а также других знаменитых дам той эпохи — фаворитку французского короля маркизу де Помпадур и австрийскую императрицу Марию Терезию. Кто же она — капризная ветреница, равнодушная к государственным делам и проводившая время в развлечениях, или мудрая правительница, умело направлявшая работу сановников и использовавшая борьбу придворных группировок на благо отечеству?

Книга историка Константина Писаренко, кое в чем спорная, местами провокационная, поднимает много вопросов о царствовании и личной жизни дочери Петра Великого и дает на некоторые из них неожиданные ответы.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал *mefysto*

-
- [Константин Писаренко](#)
 -
 -
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)

- [Глава пятая](#)
- [Часть вторая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
- [ЭПИЛОГ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
-
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
- [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)

- [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
-

Константин Писаренко

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Писаренко К. А., 2014

© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2014

*Знавал я стариков, говоривших, что их отцы
называли Елисавету Петровну мудрою, тогда как
Екатерину — мудреною.*

*П. П. Пекарский. Елисавета Петровна: Очерк
ея жизни и царствования*

ПРОЛОГ

Стрелки показывали шестой час утра. За окном стояла морозная ночь с 27 на 28 января^[1] 1725 года. В тесной комнатке верхнего апартамента Зимнего дворца, возможно, отчаянно рыдала, а быть может, молча стояла в оцепенении красивая пятнадцатилетняя девушка. Она вряд ли обращала внимание на шум и крики, доносившиеся из просторной комнаты по соседству, хотя в зале над столовой в тот момент решалась ее судьба. Не матери, не старшей сестры, не ближайших соратников отца, а именно ее, цесаревны Елизаветы Петровны!

Меньше часа назад скончался Петр Великий, царь-реформатор, гениальный политик и талантливый полководец. Скончался, не назвав преемника. Народ и податного, и благородного сословий желал видеть вторым императором внука покойного, сына замученного в 1718 году царевича Алексея, великого князя Петра Алексеевича. Большинство сенаторов, отвечая общественным чаяниям, собирались объявить девятилетнего мальчика царем, а регентшей — супругу монарха-преобразователя, мать Елизаветы императрицу Екатерину Алексеевну. Когда около половины шестого Сенат с генералитетом и руководителями государственных учреждений собрались в просторном апартаменте с видом на Неву, практически никто не сомневался, что им предстоит провести формальное заседание — быстренько проголосовать и занести в протокол устраивающий всех вердикт, после чего разойтись по домам.

Как же, наверное, удивились те, кто оказался тогда неподалеку от заветных дверей, услышав доносившиеся из-за них громкие возгласы, брань и взаимные угрозы. Первые лица империи спорили с таким ожесточением, что политическая дискуссия вот-вот могла перерасти в рукопашный бой. Едва задремавшие анфилады и коридоры дворца мгновенно оживились. Дипломаты, гвардейцы, чиновники, слуги — все торопились узнать, в чем дело. Стоило первому участнику заседания выйти из зала, друзья и знакомые тут же обступили его и засыпали вопросами.

Около шести утра сенсационная новость — Петр Андреевич Толстой потребовал вручить всю полноту власти жене Петра I; Александр Данилович Меншиков и штаб-офицеры гвардии с ним солидарны — просочилась за стены царской резиденции, подняв на ноги многих, и в первую очередь сотрудников иностранных посольств. Дипломаты спешили зашифровать и отправить в европейские столицы краткие экстренные

депеша о внезапно разразившемся в России политическом кризисе.

Широко известна реляция французского посланника Жан Жака Кампредона, продиктованная в шесть утра: «...Сенат, находящийся в настоящую минуту в полном составе во дворце, разделился на две партии. Одна, горячо поддерживающая интересы царицы, хочет провозгласить ее правительницей, в качестве императрицы, никого не назначая ей заранее наследники. Другая настаивает на провозглашении императором великого князя, внука царя, под совместным регентством царицы и Сената. Если первая из этих партий возьмет верх, то надо ждать междоусобной войны... Но, вероятно, восторжествует вторая партия как более разумная и справедливая...» Однако дипломат ошибся — победили именно сторонники Екатерины, сумев к утру урегулировать политический кризис. Правда, объяснять их успех чертовским везением или своевременным вмешательством гвардейских полков весьма опрометчиво, ибо победу обеспечила не грубая сила и не «русский авось», а одна светлая голова, скрупулезно изучившая все имевшиеся на ту пору политические конъюнктуры и придумавшая меры, позволившие превратить вроде бы безнадежное для заговорщиков предприятие в беспроектное.

Планы сей особы основывались в первую очередь на учете российского общественного мнения. Оно хотя и прочило в государя великого князя Петра Алексеевича, но из уважения к его деду, сделавшему Россию великой державой, готово было признать наследником любого, кого тот назначил бы. Благо данный вариант юридически подкреплялся законом от 5 февраля 1722 года, даровавшим монарху право называть своего преемника. Так как Петр Великий по какой-то причине привилегией не воспользовался, то противники отрока могли попробовать, сославшись на волю «Отца Отечества», протолкнуть на трон императрицу Екатерину Алексеевну. Дело оставалось за малым — убедить общественность в том, что первый император просто не успел завещать ей скипетр.

И светлая голова вычислила идеальную комбинацию. Во-первых, она намеревалась накануне смерти царя-реформатора усыпить бдительность членов конкурирующей партии заключением с ними компромисса на принципе обоюдных уступок: юный Петр Алексеевич становится императором, а регентшей до его совершеннолетия — вдовья императрица. Параллельно предполагалось склонить одного из авторитетных лидеров враждебного лагеря — нет, не к измене, а всего лишь к произнесению в кульминационную минуту заседания Сената единственного слова: «Да!» Третий важный элемент заговора — участие гвардии. Но бряцать оружием и наводнять Зимний дворец толпой буйных гренадеров автор дворцовой

«революции» не планировал. Он нуждался в десятке-другом штаб-офицеров, способных крепко выругаться и накричать на сановную персону. Наконец, также заранее надлежало оговорить с товарищами из собственной партии, какую роль в намеченном политическом спектакле исполнит каждый из них. Сюжет же пьесы был незамысловат.

Акт первый. Заседание Сената начинается с нарушения джентльменского соглашения — с ультимативного требования посадить на трон не внука, а супругу скончавшегося императора. Оппоненты, естественно, возмущаются и пробуют возражать.

Акт второй. К дискуссии присоединяются гвардейские штаб-офицеры. Они шумят, выкрикивают в адрес сенаторов и глав коллегий угрозы, разжигают, как могут, страсти, доводя приверженцев юного Петра Алексеевича до белого каления, в коем состоянии соображать быстро и адекватно невозможно.

Акт третий. С кресла поднимается почтенная особа — лучше, чтобы духовного звания — и сообщает присутствующим о беседе Петра Великого с рядом лиц, ныне здравствующих, о проблеме престолонаследия, в ходе которой монарх выразил желание завещать трон жене. Затем «участников» той встречи просят подтвердить истинность свидетельства, что они по очереди и делают.

Акт четвертый. Среди прочих об откровении Петра I припоминает и влиятельная персона из партии великого князя, практически предрешая поражение сотоварищей. Ведь поставить под сомнение заявление соперников они теперь не в силах, а взвинченность и возбужденность воспрепятствуют объективной оценке ситуации. Никто не заподозрит уловки. В итоге необходимость срочно вынести вердикт вынудит партию великого князя капитулировать и проголосовать — по велению долга, а не из-за страха — за императрицу Екатерину I. Ее единодушное избрание мгновенно устранил опасность раскола, грозящего перерасти в гражданскую распрю, и цель, преследуемая инициатором дерзкого проекта, будет достигнута.

Однако кто и зачем увлек государыню и иже с ней на рискованный путь серьезного обострения внутривнутриполитической ситуации в России? Неужели Екатерине и ее окружению было мало статуса и полномочий официальной регентши при малолетнем царе? Да и какие существенные преимущества им давало приобретение царского венца малообразованной женщиной? По большому счету — никаких, за исключением права назначить себе преемника! Кого же из семьи Романовых это право в 1725 году могло настолько заинтересовать? Очевидно, того, кому новый глава

государства с легким сердцем в недалеком будущем уступил бы и корону, и управление огромной империей. Разумеется, императрица без каких-либо затруднений отреклась бы от престола только в пользу дочери — либо Анны, либо Елизаветы. Но Анна Петровна еще 24 ноября 1724 года, подписав брачный контракт с герцогом Гольштейн-Готторпским Карлом Фридрихом, официально отказалась «от всех... притязаний... на корону и Империум Всероссийский». Едва ли за два месяца, истекшие с того дня, невеста немецкого принца пересмотрела свое отношение к заветам отца и отважилась пренебречь ими. А если о российском троне грезил не старшая сестра, то, стало быть, младшая — цесаревна Елизавета Петровна...

Часть первая

ЦЕСАРЕВНА



Глава первая

ПОД СЕНЬЮ ВЕЛИКОГО ОТЦА

Восемнадцатого декабря 1709 года у русского царя Петра I Алексеевича и его метрессы Екатерины Скавронской родилась дочь. Девочка появилась на свет в подмосковном селе Коломенском утром или около полудня. Роды, скорее всего, прошли благополучно, и именно поэтому государь, довольный окончанием всех тревог, с легким сердцем отлучился во дворец Меншикова на встречу с английским посланником Чарлзом Уитвортом. Рассказывая о ней в депеше от 22 декабря, британский дипломат не скрывал удивления чрезмерной разговорчивостью монарха, беседовавшего с ним в течение нескольких часов сначала о полтавской победе, затем об англо-русских отношениях. А вот о рождении дочери счастливый отец даже не обмолвился — и немудрено, ведь она была внебрачным ребенком. Оттого и родители, и их ближайшее окружение факт ее рождения постарались не афишировать.

Однако три дня спустя информация просочилась за стены Коломенского дворца. Во время торжественного проведения по московским улицам шведов, плененных в битвах при Лесной и Полтаве, а также сдавшихся без боя у Переволочны, царь, до того веселившийся от души, внезапно переменялся в лице и, развернув коня, помчался к городским воротам. Как позже выяснили любопытствующие, ему сообщили о серьезном ухудшении самочувствия фаворитки, медленно оправлявшейся от родов. К счастью, опасность быстро миновала. Впрочем, то, что подданные узнали о прибавлении в царском семействе, никак не повлияло на позицию Петра, который по-прежнему стремился не привлекать общественного внимания к собственной приватной жизни^[1].

В итоге мы располагаем весьма скудными сведениями о нашей героине за период, предшествовавший венчанию ее родителей в 1712 году. Среди прочего неведома и дата ее крещения, известен только день тезоименитства — 5 сентября, память праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя. В редких письмах любимой фаворитке Петр называл малышку, начавшую ползать на четвереньках, «четверной лапушкой», первый раз — 1 мая 1710 года, когда с флотом пробивался сквозь шхеры Финского залива к Выборгу. Похоже, за два месяца пребывания в Москве царь сильно привязался к младшей дочери и, покинув столицу, часто и с

ностальгией вспоминал о крохе. «Поцалуй от меня маленьких, а потом отдай поклон четверной лапушке, сестре и дочке», — отписал государь Екатерине 31 августа 1710 года с Харивалдая. Сестра — это царевна Наталья Алексеевна, дочка — Анна Петровна, родившаяся 27 февраля 1708 года, увы, в отсутствие отца, мотавшегося по западным окраинам страны в преддверии шведского вторжения. Старшую дочь Петр увидел лишь по приезде в Коломенское под утро 12 декабря 1709-го, всего за неделю до появления на свет Елизаветы. Девочка наверняка уже сама топала ножками, начинала говорить и отвыкала от грудного молока, так что поняичить ее царю не довелось. А вот «четверной лапушке» в этом смысле повезло. Не оттого ли в процитированном письме именно она получает первый поклон?

Впрочем, везение это было относительным. Государь и отец изо дня в день разъезжал по стране, воевал или планировал военные кампании, прочитывал кипы отчетов, рапортов и проектов, общался с бесчисленным множеством людей в разных концах державы и за границей, а в кругу семьи появлялся довольно редко. Так что Анна и Елизавета росли, почти не чувствуя отцовской опеки. Воспитывали их, учили ходить, говорить, познавать окружающий мир женщины — мать и тетка. Похоже, любознательная, имевшая передовые взгляды царевна Наталья Алексеевна первой заметила склонность младшей принцессы поступать не как все, подчас вопреки общепринятым нормам. Старшенькая, овладев русской грамотой, «изрядно» зубрила немецкий язык исключительно в прикладных целях — для общения с приезжими из Германии и Прибалтики. Ее сестра, тоже взявшая в руки немецкую азбуку в трехлетнем возрасте, весной — летом 1713 года, продемонстрировала оригинальность — сделала немецкий язык домашним: обращалась на нем ко всем — и к родным, и к гостям, и к слугам. «Царевна Елизабет Петровна больше гаварит по-немецки, нежели по-русски», — то ли пожаловалась, то ли похвасталась Наталья Алексеевна в одном из писем «невестушке царице».

Затем пришел черед французского языка, который юная особа одолела годам к одиннадцати-двенадцати. Петр Великий нанял соответствующего учителя, думая о выгодном замужестве для дочерей (в числе потенциальных женихов был и юный французский король Людовик XV, с которым русский царь познакомился летом 1717 года во время официального визита в Париж). Однако процесс обучения потенциальных невест главному европейскому языку имел неожиданный побочный эффект: Елизавета Петровна пристрастилась к чтению французских книг, причем вовсе не любовных романов...

О первых пятнадцати годах жизни третьей русской императрицы

исследователи пишут немного. Со ссылкой на мемуары иноземцев дочь Петра Великого признают первой красавицей как минимум русского двора, успешно освоившей два европейских языка и «прекрасные манеры». Вспоминают перипетии попыток ее просватать в 1722–1724 годах за «наихристианнейшего» государя, вежливо отклоненных регентами Франции Филиппом Орлеанским и Людовиком Бурбонским. Со слов Кампредона и голштинского камер-юнкера Фридриха Вильгельма Берхгольца, историки описывают церемонию «вступления в совершеннолетие» цесаревны, устроенную монархом в Москве 28 января 1722 года, и, естественно, подчеркивают легкомысленный, ветреный нрав принцессы, предпочитавшей развлечения и увеселения занятиям более серьезным. Основанием к тому послужили депеши дипломатов, дневник Берхгольца и «поденные записки» Александра Даниловича Меншикова, методично зафиксировавшие участие августейшей девицы во всех праздниках, торжествах и иных придворных забавах, как публичных, так и камерных^[2].

Между тем существует прелюбопытный каталог французской литературы, принадлежавшей цесаревне Елизавете Петровне, опубликованный еще в 1895 году^[3] и дважды переиздававшийся в конце XX века. Но легко убедиться, что авторы и научных, и научно-популярных биографий «веселой царицы» избегают упоминания о нем. И немудрено: перечень книг противоречит хрестоматийному описанию характера «дщери Петровой», этакой изнеженной и капризной барыни на троне. Названия книг свидетельствуют о противоположном: их хозяйка очень интересовалась историей, главным образом политической историей европейских государств. В каталоге, составленном в 1745 году Василием Кирилловичем Третьяковским, значатся 583 тома. Разумеется, уникальная библиотека была собрана не в одночасье, а формировалась на протяжении многих лет. А первые фолианты положили ей основание, несомненно, в последние годы царствования Петра Великого.

Так что пока цесаревна Анна Петровна втайне грезилась о венчании с герцогом Шартрским Луи Филиппом, сыном регента герцога Орлеанского (его кандидатура была выдвинута французской стороной в качестве компенсации за отказ от брака с королем), и робко расспрашивала гувернантку мадам Лонуа о внешности и достоинствах принца, ее сестра черпала из франкоязычных хроник и повествований знания о европейских порядках разных эпох, сравнивая прочитанное с тем, что примечала при дворе отца. Естественно, увлечение историей несколько не мешало юной

принцессе и блистать на ассамблеях, и отлучаться на охоту, и кружить головы первым поклонникам, среди которых первенствовал дорогой гость русского двора — герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих, претендент на шведскую корону, приехавший в Россию летом 1721 года.

Пятнадцатого августа 1724 года камер-юнкер Берхгольц записал в дневнике: «Его высочество катался по реке и пять раз имел удовольствие видеть... старшую императорскую принцессу, потому что... она отворяла окно и не отходила от него... Средняя принцесса^[2] вовсе не показывалась, что герцогу, который ее от души любит, было очень прискорбно». Прусский посланник Густав Мардефельд в отчете за 1724 год вторил ему: «...герцог Голштинский... до недавнего времени всё держался второй великой княжны, которая произвела на него сильное впечатление живостию и веселостию своего характера». Определенно, Карл Фридрих хотел жениться на Елизавете Петровне. А вот хотела ли она того? Библиотека цесаревны намекает на правильный ответ: нет! Ее не интересовали ни герцог Гольштейн-Готторпский, ни герцог Шартрский...

Да и супругой французского короля она, пожалуй, тоже стать не согласилась бы, будь на то ее воля. Чтение историко-политических опусов, судя по всему, помогло ей найти свое призвание. В какой-то момент она обнаружила, что, представляя себя на месте какого-либо императора, короля или министра, получает удовольствие от самого процесса поиска оптимального решения. Радовалась, если ее мысли совпадали с тем, что реализовал, к примеру, Александр Македонский, Вильгельм Оранский или герцог Мальборо. Еще сильнее радовалась, когда находила более удачный вариант.

Полученные знания юная принцесса могла применять и для анализа коллизий, связанных уже с политикой ее отца. К примеру, богатую пищу для раздумий давал Персидский поход 1722–1723 годов. Покорение Дербента в течение одной кампании выглядело для обывателя очевидной победой. Человеку же политически подкованному было непросто искренне одобрить каспийскую акцию царя Петра, ибо те проблемы, которые возникли у России после блестящего завоевания вассальных Персии горских народов, в будущем не сулили империи ничего хорошего... Другое занимательное упражнение — оценка соратников царя: на что способны, к чему склонны генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский или канцлер Гавриил Иванович Головкин, генерал-полицмейстер Антон Мануилович Девиер или шеф Тайной канцелярии Петр Андреевич Толстой, братья Голицыны — сенатор Дмитрий Михайлович и генерал-фельдмаршал Михаил Михайлович — или президент Военной коллегии Никита

Иванович Репнин, генерал-фельдцейхмейстер Яков Виллимович Брюс или первый проповедник государства псковский епископ Феофан Прокопович и конечно же губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Меншиков.

Кстати, именно Меншиков после кончины 18 июня 1716 года царевны Натальи Алексеевны фактически исполнял обязанности воспитателя цесаревен и неплохо с ними справлялся. Могущественный сановник стал для подраставших девочек вторым отцом, а его близкие — второй семьей^[4]. Следовательно, юная Елизавета за долгие годы досконально изучила характер Александра Даниловича и имела ясное представление как о сильных, так и о слабых его сторонах. Наконец, центральное действующее лицо российской политической сцены — император Петр Алексеевич. У всякого великого человека непременно есть своя ахиллесова пята. Имелась таковая и у царя-реформатора, и бывшая «четверная лапушка» о ней конечно же ведала. 5 февраля 1722 года государь известил подданных об изменении порядка престолонаследия. Манифест о праве монарха назначить преемника по собственному усмотрению недвусмысленно свидетельствовал, с одной стороны, о его желании изменить традиционный порядок престолонаследия, с другой — об отсутствии у главы государства подходящей кандидатуры. Ведь царь желал завещать трон преемнику, а о преемнице даже не помышлял^[5].

Елизавете Петровне в ту пору как раз исполнилось 12 лет (по тогдашним понятиям она достигла совершеннолетия и ее можно было выдавать замуж), и она только-только заинтересовалась политической историей. Два года — срок вполне достаточный, чтобы разобраться в азах нового увлечения и составить собственное представление о «профессии» государя. Учитывая то высокое положение, какое занимала Елизавета Петровна, вопрос, быть или не быть русской царицей, для нее не был праздным. К тому же ее не мог не вдохновлять пример тетки Софьи Алексеевны, семь лет (1682–1689) управлявшей Россией за спиной братьев-царей Иоанна и Петра. Да, Петр I видел в дочерях не наследниц, а невест, рассчитывая с их помощью заключить выгодные династические союзы. Чего бы ни желала сама Елизавета, ей пришлось бы покориться отцовской воле и забыть о всяких амбициях. Однако господин Случай осенью 1724 года неожиданно сыграл на руку принцессе и предоставил шанс раскрыться таланту, которым природа ее наделила.

Поздним вечером 8 ноября майор гвардии Андрей Иванович Ушаков арестовал камергера императрицы Екатерины Алексеевны Виллима

Ивановича Монса. Вместе с ним под следствием оказались родная сестра придворного Матрена Ивановна Балк и наиболее верные его слуги. Хотя арестант и числился с мая того года обыкновенным камергером, а прежде камер-юнкером императрицы, де-факто он управлял всем двором и хозяйством супруги Петра Великого и обладал значительным влиянием. Разумеется, кристальной честностью молодой немец не отличался, брал взятки и подчас тратил небескорыстно казенные средства. Формально именно за это 16 ноября, спустя всего неделю после ареста, его и обезглавили у здания Сената. В эту причину конечно же никто не поверил, и по столице немедленно разнесся слух, что жестокость кары обусловлена «другими соображениями» — альковными. Мол, Монс и царица состояли в интимной связи, государь благодаря доносу интрижку разоблачил и жестоко расправился с придворным, наставившим ему рога.

Данная версия возникла сразу, легко завоевала симпатии публики и до сих пор считается истинной, приобретя канонический вид в монографии М. И. Семевского «Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс»^[6]. Однако голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц зафиксировал в дневнике 10 ноября 1724 года: «Поутру Остерман приезжал объявить герцогу по секрету, что император, наконец, твердо решился покончить дело Его Высочества и что обручение должно совершиться в Катеринин день». Как-то странно отреагировал Петр Великий на измену жены — не побил, не обругал, не поссорился и даже не обиделся, а обсудил с ней необходимость как можно быстрее обвенчать одну из дочерей с герцогом Гольштейн-Готторпским и приурочил обручение молодых к 24 ноября — дню именин жены.

Семевский, к сожалению, питавший слабость к версии о предательстве великого человека любимой женщиной, подгонял под нее свидетельства источников. В итоге чрезвычайно важная информация Берхгольца удостоилась поверхностного комментария: императрица сумела оправдаться в глазах Петра, который на радостях пожелал обручить дочь с немецким принцем. И это менее чем через сутки после ареста Монса! За что же тогда казнили камергера? Неужели действительно за взятки?!

Между тем именно сообщение Берхгольца позволяет проникнуть в тайну императорской семьи. Не измена царицы привела на плаху красавца-придворного, а его ухаживания (возможно, далеко зашедшие) за старшей дочерью царя. Потому и устроил Петр Великий 9 ноября во дворце не семейный скандал, а совещание с женой о том, как быть с Анной Петровной, которой грозило бесчестье. Оттого Монса отправили на эшафот так скоро. Однако предстояло еще как-то обосновать казнь в глазах

подданных, а запятнавшую свою честь девушку немедленно выдать замуж. При этом единственным подходящим для цесаревны женихом, проживавшим в то время в Санкт-Петербурге, был Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, увы, не являвшийся идеальной кандидатурой.

В общем, ошеломленный Петр Великий не видел выхода из тупика. И вдруг супруга преподнесла ему приятный сюрприз — порекомендовала наилучший способ уладить проблему: обвенчать старшую дочку с герцогом с условием, что один из рожденных в этом браке сыновей будет привезен в Россию в качестве «сукцессора», то есть престолонаследника. Кроме того, Анна должна была официально отречься от любых претензий «на корону и империум Всероссийский». А мнимым мотивом расправы с Монсом пусть будет адюльтер камергера с самой императрицей, а не с цесаревной. Эту сплетню публика проглотит с удовольствием, и репутация Анны Петровны останется незапятнанной.

Можно понять удивление государя, ведь Екатерина ни мудростью, ни остротой ума никогда не отличалась. Откуда же в таком случае на жену снизошло озарение? Петр, похоже, ответа на сей вопрос не нашел, а мы попробуем. Секрет Анны Петровны не просочился за пределы семьи — в противном случае источники не преминули бы обмолвиться о подозрениях на этот счет, однако они молчат. Словоохотливый голштинский мемуарист Геннинг Фридрих Бассевич, хорошо знакомый с обеими цесаревнами, поведал исключительно о прегрешениях императрицы. Рассказанный им анекдот о разбитом вдребезги зеркале и угрозе императора превратить супругу «в прежнее ничтожество» ныне очень популярен в исторической литературе. Следовательно, остроумный маневр придумал кто-то из членов семьи. Это не могла быть Анна Петровна — она не настаивала бы на собственном отречении от прав на российский скипетр; прочие же отпрыски были еще малы: младшей дочери Наталье исполнилось шесть лет, а внукам Наталье и Петру — соответственно десять и девять. Методом исключения обнаруживаем героя — Елизавета Петровна.

По-видимому, весть об аресте Монса крайне перепугала цесаревну Анну. Боясь неминуемого отцовского гнева, она призналась во всем младшей сестре, и та в течение ночи попыталась разрешить головоломку, удовлетворив по возможности всех — и сестру, и бабушку, и «общественное мнение», и, разумеется, себя. К утру Елизавета рассчитала оптимальную комбинацию. Анна со всем согласилась. Далее с ней ознакомилась мать, которая при исполнении задуманного пострадала бы больше других. Тем не менее царица одобрила план и взялась от своего имени представить его супругу. Тому, как мы знаем, замысел весьма

понравился. Впрочем, возможно, именно Петр внес в программу действий одну важную поправку: вице-президенту Иностранной коллегии Андрею Ивановичу Остерману запретили сразу называть своему подопечному, голштинскому герцогу, имя суженой.

Только 22 ноября, когда страсти вокруг дела Монса немного улеглись, Остерман оповестил Карла Фридриха, что тому придется жениться на Анне Петровне. Обручение, как и наметил император, состоялось 24 ноября. Тем же вечером Анна Петровна подписала брачный контракт, по секретному параграфу которого отреклась от притязаний на российский престол и поклялась по вызову из России прислать кого-либо из сыновей для провозглашения «сукцессором».

Таким нечаянным образом в ноябре 1724 года Елизавета вдруг почти вплотную приблизилась к российскому престолу. Опережал ее только внук императора великий князь Петр Алексеевич — теоретически, ибо дед не имел намерений посадить его на трон. За отрока хлопотала родовитая знать во главе с братьями Д. М. и М. М. Голицыными. А еще мальчику сочувствовал простой народ, чтивший традиции, согласно которым царский венец полагалось принять следующему мужчине в роду, каковым и был девятилетний Петр. По закону 1722 года Елизавета могла обойти соперника. Между тем Петр I не торопился с выбором, надеясь на рождение второго внука, так что ничто не мешало цесаревне попробовать переубедить отца. На это, правда, нужно было время. Но его как раз и не оказалось ^[7].

Глава вторая

В ШАГЕ ОТ ТРОНА

Семнадцатого января 1725 года застарелый урологический недуг Петра I внезапно обострился. Император слег, испытывая страшные боли. Мнения врачей о способе лечения разделились. Пока колебались и спорили, драгоценное время было упущено, и операция, сделанная британским хирургом Уильямом Горном, не помогла — утром 26 января началась агония. Стало ясно, что в России вот-вот появятся новый император Петр II и регентша-императрица Екатерина Алексеевна. Вариант компромиссный, зато вполне законный и, главное, приемлемый для обеих придворных партий. Первая во главе с Д. М. Голицыным выражала интересы преобразившейся в ходе реформ знати Московского государства; вторая, руководимая А. Д. Меншиковым, отстаивала чаяния сановников, возвысившихся из низов благодаря протекции Петра или приехавших служить из-за границы. Непримиримого антагонизма между ними не наблюдалось, и о ревизии петровского курса речь вовсе не шла. Спорили больше о тактике, чем о стратегии. Отсутствие или наличие «голубых кровей», безусловно, влияло на соперничество, но не в решающей степени.

Итак, ничто не предвещало конфликта после смерти Петра Великого. Тем не менее он случился — разумеется, по вине более слабой партии новых аристократов, чувствовавших себя менее уверенно. Положение младших партнеров в правящей коалиции их не очень устраивало, хотелось иметь своего ставленника на троне. Они смиренно помалкивали, пока не появились веские основания для его выдвижения. Но стоило таковым забрезжить на горизонте, отважно ринулись в бой. Что же произошло? Снова одна светлая голова придумала, как заставить, причем без всякого бряцания оружием, сторонников внука Петра I проголосовать против собственного кандидата. Прекрасно зная лично всех, кому предстояло решать судьбу престола, она детально рассчитала беспроигрышную комбинацию, которую и воплотили в жизнь П. А. Толстой, А. Д. Меншиков, П. И. Ягужинский и Феофан Прокопович в предутренние часы 28 января 1725 года на расширенном заседании Сената в Зимнем дворце.

Квартет убедил партию Голицына в том, что почивший император недвусмысленно выразил свою волю. Феофан Прокопович провозгласил, что Петр I видел преемницей на троне собственную супругу, о чем беседовал с ним перед Персидским походом. Правоту духовной особы

подтвердили названные им светские персоны, якобы присутствовавшие на той встрече, в том числе и активный приверженец Петра II Г. И. Головкин. Канцлер солгал, к чему его склонил зять П. И. Ягужинский. А чтобы Д. М. Голицын с товарищами не заподозрил подвоха, А. Д. Меншиков со штаб-офицерами гвардии превратили заседание Сената в базар: шумом, криками, бранью, оскорблениями разозлили и вывели из себя оппонентов. Те, взвинченные, адекватно воспринимать слова епископа уже не могли и, пораженные откровенностью Головкина, члена их партии, капитулировали, после чего «во исполнение воли Петра» безропотно проголосовали за Екатерину.

Потом, успокоившись, и Голицыны, и Долгоруковы, и Репнин вспомнили о родственных связях Головкина и догадались о мифичности рассказа Прокоповича. Однако было поздно: императрицей стала вдова царя-реформатора, вердикт Сената они заверили добровольно, и посему ни о каком его пересмотре не стоило даже заикаться.

А что же гвардия, ключевую роль которой подчеркивают авторы едва ли не всех монографий, посвященных дворцовым переворотам XVIII века? Бассевич нафантазировал «бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец». Барабаны если и били, то в одной сводной роте преображенцев (164 штыка), вызванной из казарм для усиления дворцового караула — 165 семеновцев. Причем, возможно, приказ о ее формировании поступил в Преображенский полк уже после того, как А. И. Ушаков известил однополчан об избрании Екатерины Алексеевны самодержицей. Таким образом, кровопролитие вельможному собранию нисколько не грозило — светлая голова позаботилась и об этом. А была ею, несомненно, пятнадцатилетняя Елизавета Петровна, на сей раз также действовавшая за спиной дорогой матушки. Цесаревна советовала, царица распоряжалась через Толстого и Меншикова. Результат удовлетворил всех. Партия Александра Даниловича возглавила правящую коалицию. Юная принцесса воспрепятствовала провозглашению государем Петра II. На престоле оказалась та, которая, во-первых, ранее о том не смела и мечтать, во-вторых, в отличие от почившего императора не считала зазорным женское правление^[8].

С воцарением Екатерины I Елизавета одержала двойную победу. Оно, помимо нейтрализации племянника, почти гарантировало ей быстрое превращение в русскую государыню. Императрица с радостью объявила бы своей преемницей «сердце мое» (так ласково называла она в приватной корреспонденции младшую цесаревну) и после непродолжительной паузы отреклась бы от трона, уступив место дочери. Правда, одно обстоятельство

не позволяло воспользоваться завоеванным преимуществом немедленно: великому князю Петру Алексеевичу сочувствовало подавляющее большинство русского общества. Пренебрежение симпатиями подданных грозило Елизавете крупными неприятностями, вплоть до организации дворцового переворота против нее. Так что здравый смысл подсказывал не торопиться с торжественными церемониями, а позаботиться в первую очередь об ослаблении общественного доверия к внуку Петра Великого и укреплении собственного авторитета.

Примечательно, что до середины лета 1725 года императрица не догадывалась об истинных устремлениях Елизаветы, о чем свидетельствует ее настойчивое желание найти любимице выгодного жениха. В марте Екатерина возобновила диалог с французами, суля им золотые горы, коли согласятся на брак короля с цесаревной. Но в Версале авансы из Петербурга не оценили и предпочли русской невесте польскую, что не смутило государыню, тут же обратившую взоры на Берлин и Мадрид. Там монархи не привередничали, с Романовыми породнились бы охотно. Между тем перспектива отъезда в Испанию или Пруссию Елизавету вовсе не устраивала, а потому она поспешила открыть матушке свой секрет. Это случилось, похоже, сразу после того, как 17 июня 1725 года царице зачитали реляцию русского посла в Париже Б. И. Куракина о помолвке Людовика XV с Марией Лещинской.

Неграмотная государыня все отчеты, проекты и прочую документацию неизменно выслушивала, затем, посоветовавшись, оглашала резолюцию, а подписаться за себя поручала не кому-нибудь, а Елизавете. В итоге принцесса на правах личного секретаря монархини регулярно знакомилась с практикой и традициями управления, но вмешиваться в дела «министров» пока избегала. Здесь нелишним будет вспомнить, что в исторической науке закрепилось мнение о безграничной власти над Екатериной, абсолютном диктате А. Д. Меншикова. Однако это сильное преувеличение, ибо между светлейшим князем и императрицей стояли еще два человека, имевшие на «русскую золушку» гораздо большее влияние, — Елизавета Петровна и П. А. Толстой. С вкрадчивым главой Тайной канцелярии Екатерина сблизилась в период подготовки к собственной коронации, состоявшейся 7 мая 1724 года. С тех пор Петр Андреевич занимал положение первого советника и конфиденнта царицы. Именно он координировал одурачивание «великокняжеской» партии на заседании Сената, вошедшем в русскую историю как первый дворцовый переворот XVIII века. Толстой, как и Елизавета, любил оставаться в тени. Оттого Меншиков воспринимается сейчас «полудержавным властелином», хотя реально при Екатерине I не

был таковым.

Исчезновение с июля в русской дипломатической почте темы поиска женихов для младшей цесаревны дает нам веские основания утверждать, что императрица, поговорив с дочерью, во всём поддержала ее и, более того, пообещала всемерную помощь. Укroщение общественной благосклонности к великому князю начали с оживления идеи, озвученной еще в 1722 году тогдашним австрийским послом Стефаном Кинским: обвенчать юного Петра Алексеевича с Елизаветой. Но российское духовенство вновь категорически воспротивилось нарушению православных канонов. 16 ноября 1725 года вездесущий Кампредон констатировал провал затеи — брак тетки с племянником был запрещен «и божескими, и человеческими законами».

Елизавета Петровна, думается, несколько не сомневалась в вердикте Синода и уповала не на снисхождение архиереев, а на свою, третью по счету, оригинальную комбинацию, включавшую три пункта.

Первое. Цесаревна венчается с отпрыском одной из влиятельных российских семей.

Второе. Великий князь Петр Алексеевич отправляется в заграничное турне — учиться или осматривать европейские достопримечательности.

Третье. В отсутствие малолетнего соперника цесаревны Елизаветы Екатерина I провозглашает ее будущей императрицей. Родня мужа содействует признанию обществом ее нового статуса.

Вот как осуществлялась эта программа. В октябре 1726 года благодаря посредничеству австрийского императора в Петербург приехал епископ Любекский и Эйтинский Карл Август, двоюродный брат герцога Гольштейн-Готторпского. 5 декабря он официально попросил руки «прекраснейшей принцессы Елизаветы». Приглашение принца в Россию означало, что наша героиня пожелала опереться на голштинскую партию, сплотившую вокруг себя иностранных специалистов, обрусевших немцев и связанные с ними российские фамилии.

Безусловно, главные события — свадьба, заграничный вояж, манифест о наследнике — намечались на первую половину нового, 1727 года. Причем оппозиция до последнего момента не подозревала об опасности, нависшей над великим князем, ведь внешне брачная лихорадка, учиненная императрицей, походила на хлопоты чадолюбивой матери. То, что царица подчинялась инструкциям дочери, естественно, обеими тщательно скрывалось. От сохранения этой тайны напрямую зависело, будет ли реализован план. По иронии судьбы всё рухнуло в одночасье и самым нелепым образом. Согласно реляции Кампредона от 31 января 1727 года, в

двадцатых числа января приболевшая Екатерина пробормотала — очевидно, во сне — что «вопрос о престолонаследии не касается никого, кроме младшей дочери ея, принцессы Елизаветы, что она безотлагательно объявила бы ее наследницею, если бы могла теперь же обеспечить ее, выдав ее замуж за епископа Любского в случае согласия последнего перейти в православие».

Да, такую оказию Елизавета в своих расчетах не учла — к счастью для великого князя, друга которого теперь постарались не допустить его отлучки из России и объявления цесаревны наследницей. Ей бы смириться с поражением и затихнуть на какое-то время. Ан нет. Светлая голова закружилась от веры в собственную уникальность. Я смогу! Мне всё нипочем! Досадная оплошность матушки меня не остановит, и я добьюсь своего!!

И ведь действительно смогла натворить столько дел, что историки и поныне с трудом объясняют феномен 1727 года, принесшего три политических потрясения: неожиданную опалу Толстого и Девиера, немотивированное выдворение из России герцога и герцогини Голштинских, загадочное скоротечное падение Меншикова. За неимением иных внятных версий наука вынуждена во всем винить деспотичность Меншикова. Александр Данилович подмял под себя всех, включая царскую фамилию, заставил государыню дать разрешение на брак его дочери Марии с августейшим ребенком — двенадцатилетним Петрушей, выслал из столицы в разные концы империи противников во главе с Толстым и Девиером, не постеснялся выгнать из страны дочь Петра Великого с мужем... Оппозиционная партия в союзе с Остерманом свергла тирана к всеобщему восторгу. На том короткий смутный период и закончился.

Чтобы у читателей исторических монографий не возникали вопросы, на которые авторы не могут ответить, многие факты вольно или невольно умалчиваются, а то и искажаются. Например, помолвка дочери Меншикова с великим князем была инициирована вовсе не светлейшим, а Екатериной Алексеевной, а невестой до середины мая считалась не его старшая дочь Мария, уже обрученная с Петром Сапегой, а младшая Александра. Кстати, знаменитый анекдотический эпизод с пожалованием 5 февраля 1727 года дамского ордена Святой Екатерины единственному мужчине за всю историю награды — сыну Александра Даниловича Александру — обретает смысл, если первой невестой Петра Алексеевича была Александра Александровна: поощрить-то хотели именно ее, но чиновники, переутомившись на службе, впопыхах вписали в документ Александра. И подобных темных мест и белых пятен в хронике 1727 года немало. Однако

они легко выстраиваются в логически безупречную цепь событий, стоит только учесть амбициозность главной героини — Елизаветы Петровны.

Итак, огласка намерений Екатерины в отношении дочери расстроила идеальный план цесаревны. Но о капитуляции она не помышляла и потому в кратчайший срок придумала, как выправить положение: привлечь на свою сторону все группы, группки, кружки, не питавшие симпатий или просто равнодушные к Петру Алексеевичу. Далее члены искусственно сколоченной широкой политической коалиции подписались бы под петицией на высочайшее имя с просьбой назначить «кронпринцессой» Елизавету Петровну. Екатерина I, разумеется, просьбу удовлетворила бы.

Ядром елизаветинского блока надлежало стать двум семейным кланам — голштинскому и меншиковскому. Причем позиция светлейшего князя во многом предрешала исход борьбы. Это понимала и партия братьев Голицыных, пытавшаяся с конца 1726 года наладить диалог с главой правительства. Тогда же определилась цена за альянс с князем — брак Александры Александровны с Петром Алексеевичем как гарантия сохранения Меншикова у власти при новом императоре Петре II. Елизавета собиралась купить голос старого отцовского друга по тому же прејскуранту. Правда, она по понятным причинам не могла пообещать Меншикову статус императорского тестя. Зато мезальянс выглядел бы не плодом политического торга, а, наоборот, царской милостью. За что? Елизавета предусмотрела и это.

С 27 января камергер Р. Г. Левенвольде убеждал Александра Даниловича разорвать помолвку дочери Марии с родовитым польским шляхтичем Петром Сапегой, ибо государыне пришла в голову очередная блажь: женить пана на своей племяннице Софье Карловне Скавронской. Консультации шли трудно. Меншикова крайне огорчил высочайший каприз. Впрочем, когда размер компенсации за Сапегу поднялся до обручального кольца от великого князя, светлейший заколебался, ибо понял, что Екатерина готова щедро платить не за поляка, а за что-то еще. Потребовался аналитический ум А. И. Остермана, дабы разобраться в придворной интриге. Конечно, оба сановника слышали о недавнем откровении императрицы касательно судьбы младшей дочери. Следовательно, Екатерина и тот, кто за ней стоял, были намерены добиться провозглашения Елизаветы преемницей императрицы и теперь вербовали их под свои знамена. С 5 февраля Меншиков обсуждал с Остерманом, как лучше поступить, и отгадывал, чьи мысли озвучивала государыня. Ровно через две недели она сделала Остермана и Левенвольде воспитателями великого князя. Указ рассеял все сомнения сановного дуэта, и к вечеру того

же дня Меншиков сдался. Затем, до середины марта, посредники, те же Остерман и Левенвольде, улаживали детали бракосочетания двух подростков. Судя по всему, помимо прочего договорились и о том, что 5 апреля 1727 года Екатерина публично объявит о помолвке. Однако императрица, празднуя собственное 43-летие, от сенсационных деклараций воздержалась.

Что же случилось? Полным фиаско завершилась миссия П. А. Толстого. От графа требовалось убедить всех противников партии великого князя или державших нейтралитет объединиться вокруг Елизаветы. Петр Андреевич в двадцатых числах марта съездил в гости к герцогу Карлу Фридриху, гвардейскому подполковнику И. И. Бутурлину, генерал-полицмейстеру А. М. Девиеру — но тем и ограничился, обнаружив не слишком приятную для «сердца моего» истину: Бутурлин и Девиер без особого энтузиазма откликнулись на призыв развернуть агитацию в пользу «сердитой» Елизаветы. Им больше импонировала «приемная» и «умилна собою» Анна Петровна. Вот если бы «сделать наследницею» ее...

Цесаревна Елизавета испугалась перерастания борьбы за ее права в движение в поддержку прав ее сестры, герцогини Голштинской. Оттого и посоветовала матери запретить Толстому посещать кого-либо еще. Увы, широкий альянс за Елизавету Петровну оказался иллюзией. По степени приемлемости для русского общества любимица царицы замыкала тройку лидеров. И продолжи Толстой визиты к знаковым политическим фигурам Петербурга, результат был бы противоположным: борьба за первенство наверняка разгорелась бы между Петром и Анной. Ведь голштинская чета, невзирая на клятвы 1724 года, виды на русскую корону все-таки имела, в чем Петр Андреевич убедился, побеседовав с Карлом Фридрихом.

Так что надежды на успех еще одной политической комбинации не оправдались. Вопрос что делать вновь обрел актуальность. Но честолюбивая барышня и на этот раз не выбрала смирение. Соломинкой, за которую попыталась ухватиться цесаревна, стала реанимация идеи Кинского: прийти к власти в качестве супруги императора Петра II — благо отрок питал явную слабость к тетке, для кого-то «сердитой», а для него обаятельной и красивой. В мгновение ока Меншиков из союзника превратился в конкурента, Толстой — в опасного свидетеля, Бутурлин с Девиером — в нарушителей спокойствия. В итоге, чтобы избавиться от трех последних, Елизавета натравила на них первого. Предлогом обеспечил Девиер, 16 апреля спяну нашептавший Петру Алексеичу какие-то дерзости. Спустя неделю на прогулке в карете Елизавета сообщила о том Александру Даниловичу, а сидевший рядом великий князь подтвердил ее

слова. Меншиков проглотил наживку и уже на другой день добился от императрицы разрешения отдать смутьяна под суд.

Следствие, начавшееся 28 апреля, открыло наличие среди придворных целой партии, выступавшей за передачу престола Анне Петровне. Между тем светлейший князь, не дождавшись от императрицы благословения на помолвку, возобновил консультации с Д. М. и М. М. Голицыными и к началу суда столкнулся с ними. Помимо всего, ему очень хотелось выяснить, кто и зачем морочил ему голову в феврале и марте. Допросы указали на Толстого. Тот повинился в крамольных беседах. Однако выжать из старика еще что-нибудь не получилось — Екатерина I распорядилась следствие прекратить и подготовить доклад для вынесения приговора. 6 мая царица скончалась, успев подписать два важных документа. В соответствии с одним Толстого, Девиера, Бутурлина и примкнувших к ним лиц отправили в ссылку на Соловки, в Сибирь или в родовые деревни. Второй установил порядок престолонаследия, выставив по ранжиру потомков Петра Великого: на первом месте — Петр Алексеевич, на втором — Анна, на третьем — Елизавета.

Меншиков долго упрасивал Екатерину одобрить «тестамент». Императрица поначалу была неумолима (мы помним, чья рука всегда выводила августейшую подпись). Вероятно, умиравшая сопротивлялась до тех пор, пока дочь каким-то образом не дала матери знать, что не против предлагавшегося на «апробацию». Так знаменитое завещание обрело законную силу. Чем же оно привлекло цесаревну, если на трон возводился юный великий князь, а обвенчаться с ним надлежало Александре Меншиковой?

Всё объясняется просто. Учитывая привязанность отрока к Елизавете, ей не составило бы труда внушить племяннику отвращение к невесте, навязанной ближайшим окружением по политическим соображениям. Можно не сомневаться, Петр Алексеевич не побоялся бы не вступать в ненавистный брак, а позднее, когда придет срок, мог выкинуть другой фортель — жениться на родной тетке. И конечно же цесаревна позаботилась бы о том, чтобы скандальное венчание воспринималось публикой как вынужденное с ее стороны. Для чего такие сложности? Дабы избежать ссоры и столкновения с Меншиковым, когда-то заменявшим девочке отца. Кроме того, и жалость, сочувствие подданных тоже не помешали бы...

Но, видно, в тот год Елизавета попала в полосу невезения. Сонное бормотание матери, высокий рейтинг сестры, смерть императрицы... Четвертым роковым событием за полгода стала болезнь уже ненужного ей

жениха, епископа Любекского. С 16 по 19 мая 1727 года Елизавета и Петр Алексеевич гостили у Меншикова во дворце на Васильевском острове. Александр Данилович и не подозревал, с какой целью цесаревна согласилась составить компанию великому князю. Она хотела понаблюдать за княжнами Александрой и Марией в более свободной домашней обстановке, приметить недостатки каждой и обратить на них внимание племянника-императора. Известие об оспе, поразившей Карла Августа, побудило принцессу покинуть особняк светлейшего и провести около суток возле умиравшего юноши. В противном случае ей грозило общественное порицание, которого амбициозной девушке только и не хватало...

С 20 мая по 1 июня Елизавета вместе с сестрой и зятем скучала в Екатерингофе, считая дни до конца карантина. В это время Александр Данилович и совершил ошибку, через три месяца приведшую к его опале, — 25 мая обручил дочь Марию с проживавшим в княжеских апартаментах Петром Алексеевичем. Светлейший спешил, чувствуя, что кто-то исподволь пытается сорвать помолвку. Посланник Густав Мардефельд, близкий к голштинскому герцогу, склонял царя к выбору невесты из прусского династического дома. Австрийский посол Амадей Рабутин, приятель Меншикова, предупредил его, что венценосный жених непочтительно отзывается об Александре Александровне, о чем цесарю поведала великая княжна Наталья Алексеевна. 21 мая об отвращении к будущей супруге дипломату напрямик заявил уже сам отрок, добавив, что к Марии Александровне относится лучше.

И вот следствие: 23 мая А. И. Остерман заручился санкцией Верховного тайного совета на обручение Петра с Марией. Два дня спустя юная пара под присмотром Феофана Прокоповича торжественно обменялась кольцами. Как видим, рокировка произошла буквально накануне обручения. Меншиков играл на опережение, опасаясь остаться без поддержки Голицыных. В мае 1727 года Александр Данилович окончательно уверился, что весенние хлопоты о правах Елизаветы организовали голштинцы, чтобы отвлечь всех, и прежде всего его самого, от их подлинных планов — провозглашения Анны Петровны преемницей императрицы. Попытки воспрепятствовать помолвке светлейшей княжны с великим князем он тоже приписал козням Карла Фридриха. Так что нет ничего удивительного в том, что супружеской чете по возвращении из Екатерингофа было настоятельно порекомендовано уехать из России. И герцог с женой, не стерпев мощнейшего давления («доброхоты» стращали его даже тюрьмой за измену), 25 июля отплыл из Петербурга в Киль, столицу Гольштейн-Готторпа.

А что же Елизавета Петровна? Она целый месяц не предпринимала ничего. Неужели смирилась? Почти. Ей очень не хотелось действовать в ущерб Меншикову, которого она почитала и любила. Да и череда неудач давала о себе знать. В общем, принцесса затихла, впала в депрессию, воспринимавшуюся окружающими как скорбь по жениху, скончавшемуся 20 мая 1727 года. Вокруг нее вновь засуетились иностранцы, предлагая выйти замуж за иных немецких принцев. Судя по дипломатическим отчетам, Елизавета не возражала. С тоски она и вправду чуть не сделалась заштатной германской принцессой. «Выручил», похоже, Меншиков, обрушивший волну репрессий на тех, кого подозревал в нелояльности. В ссылку под видом служебных командировок прогнали А. П. Ганнибала, И. А. Черкасова, Ф. М. Санти, А. П. Волынского, П. П. Шафирова, В. Л. Долгорукова, П. И. Ягужинского... Светлейшего явно мучила неизвестность: кто же всё-таки строил ему козни? Тандем Толстого и Карла Фридриха в этом смысле и удовлетворял, и не удовлетворял его. С отчаяния он обрушивал кары на всех попадавших под горячую руку. Он и не заметил, как в глазах многих превратился в деспота. Недовольство возрастало день ото дня. В такой обстановке в конце июня цесаревна вернулась в большую политику.

Что подтолкнуло ее к возобновлению борьбы — грубый нажим на родную сестру или несправедливые гонения на верных соратников отца — точно неизвестно. Тем не менее факт остается фактом. В июле 1727 года Елизавета влилась в царское окружение и, быстро оценив ситуацию, в середине месяца совершила акт, спровоцировавший падение Меншикова через два месяца. Нет, девушка не нашептывала на ухо молодому государю гадости о будущем тесте, не сколачивала за спиной «полудержавного властелина» группу заговорщиков. Она сначала аккуратно прозондировала настрой Остермана и, убедившись, что тот не будет выступать против своего благодетеля, навестила главу правительства, серьезно недомогавшего с 22 июня по 26 июля. «Поденные записки» светлейшего зафиксировали две встречи цесаревны с хозяином дворца с глазу на глаз: первая, 18 июля, длилась часа два, вторая, 23-го, — около получаса. Елизавета всего лишь рассказала правду о том, насколько за время болезни Александра Даниловича сдружились Петр и Остерман, как сильно привязался мальчик к воспитателю и послушен ему.

Так в душу князя было заронено зерно сомнения в верности иноземца. Цесаревна заскочила мимоходом, похвалила наставника царя и побежала дальше развлекаться в обществе двух детей и одного взрослого — Петра Алексеевича, Натальи Алексеевны и Андрея Ивановича. А мнительный

отец семейства сразу же задумался: не оплошал ли он с выбором наставника для будущего зятя? Ведь коли не отреагировать на «сигнал» цесаревны, глядишь, скоро протеже превзойдет покровителя по степени политического влияния! В подобных терзаниях Меншиков прожил полтора месяца, мрачней от недели к неделе. Даже дипломаты заметили странную раздражительность «баловня судьбы», часто упрекавшего монарха, особенно за расточительность.

Анекдот о паре тысяч рублей, которые светлейший запретил императору тратить, не выдумка. Ордер об увольнении обер-камердинера Ивана Кобылякова, оплатившего из означенных денег какую-то прихоть государя, датирован 17 августа 1727 года. Правда, вскоре слуга был прощен по просьбе венценосного отрока. Вторая размолвка из-за тех же денег приключилась 3 сентября по недоразумению. Второго обер-камердинера Александра Кайсарова не проинформировали об отмене обидного запрета. Выйдя на службу после отдыха, он, естественно, стал исполнять старую инструкцию. В итоге Петр II разгневался и не приехал к Меншикову в Ораниенбаум на освящение церкви. Вечером 4 сентября, разобравшись в причине конфликта, они помирились.

Но миновали сутки, и Данилыч вдруг оказался в опале. Сработала «мина», заложенная Елизаветой. Проклятый вопрос о честности Остермана преследовал князя постоянно, ибо множились примеры, свидетельствовавшие о высоком авторитете Андрея Ивановича в глазах его августейшего подопечного. Меншиков нервничал, часто вымещал раздражение на окружающих, в том числе и на юном государе. Остерман, конечно, видел, что творится с патроном, пробовал рассеять его напрасную тревогу — увы, безуспешно. Наконец воспитатель не выдержал и утром 5 сентября явился к князю, чтобы расставить все точки над «Ъ». Они разругались вконец, после чего Остерман встретился с императором и предложил выбрать из двух «друзей» кого-то одного. Понятно, что Петр предпочел проститься с Меншиковым.

Десятого сентября опальный вельможа отправился в ссылку. 14 октября в Клину курьер отобрал у Марии Александровны обручальное кольцо. Таким образом, Елизавета Петровна достигла желанной цели. Никто не заподозрил в ней ловкого ниспровергателя «русского Голиафа» даже в ноябре 1727 года, когда Петр II уведомил членов Верховного тайного совета, что в свой срок женится на тетке. Министры отнеслись к демаршу, как и хотелось цесаревне: посчитали его блажью опьяненного вседозволенностью императора и порекомендовали девушке вести себя с ним осторожнее.

Девушка не перечила. Впрочем, торжествовать было рано. Судьба опять преподнесла неприятный сюрприз. Елизавета влюбилась — не в царя, а в гвардейского унтер-офицера, к тому же отца семейства Алексея Яковлевича Шубина. В 1721 году он был зачислен в гвардейский Семеновский полк, с 1724-го служил в его гренадерской роте рядовым, с декабря 1726-го — капралом. 25 октября 1727 года, по-видимому, не без чьей-то протекции, Шубин стал сержантом, перескочив три чина (фурьера, унтер-фендрика, каптенармуса)^[9]. Когда именно они сблизились, источники не уточняют. Возможно, это произошло летом 1727 года, и не исключено, что в присутствии императора. Едва ли Петр II произвел бы скромного капрала сразу в сержанты без заслуг или просьбы кого-то из своего окружения. Кстати, в канонической биографии Елизаветы лето 1727 года отмечено фавором А. Б. Бутурлина и лихими оргиями с участием императора в Петергофе. Ни первое, ни второе не подтверждаются документами (реляциями дипломатов, придворными журналами, деловой перепиской). Бутурлин довольствовался ролью преданного друга, не более того. Не зря современники окрестили Александра Борисовича «рабом» цесаревны. Да и логика той интриги, какую плела «дщерь Петрова», на амуры отвлекаться не позволяла. Риск был почти смертельный, в чем наша героиня вскоре убедилась. Что касается оргий, то с 10 июня по 20 августа Петр II из Санкт-Петербурга не отлучался, а развлекался в основном на Васильевском острове в компании сестры Натальи, тетки и Остермана. Не стоял ли капрал Шубин в карауле и не привлек ли к себе высочайшее внимание каким-либо неординарным поступком?

Как бы то ни было, а цесаревна в него влюбилась по-настоящему. Только потому и отважилась на безрассудство — открыто флиртowała с царем, втайне отдавалась простому гвардейцу. 9 января 1728 года Петр II отправился из Северной столицы в Москву, 4 февраля въехал в Белокаменную, а спустя три недели короновался. В один из дней накануне блестящей церемонии Остерман сообразил, что скрывает Елизавета под маской легкомысленной ветреницы. В ту пору Андрей Иванович, воспитатель царя и вице-канцлер, коротко сошелся с послом Испании Джеймсом Стюартом герцогом де Лириа-и-Херика. Благодаря депешам и дневнику герцога мы знаем, как именно разоблачили Елизавету Петровну.

Догадавшись, что она «лелеет мысль взойти на престол, вышед замуж за царя», Остерман, во-первых, предупредил об опасности Алексея Григорьевича Долгорукова, своего заместителя по воспитательной части и (с 8 февраля 1728 года) члена Верховного тайного совета. Вдвоем они выработали тактику дискредитации принцессы, довольно банальную. Сыну

Долгорукова Ивану, с 11 февраля 1728 года обер-камергеру императора, поручили соблазнить хитрую девицу. На придворном балу 3 марта Долгоруков приударил за цесаревной. Елизавета его ухаживания приняла, но единственно затем, чтобы распалить ревность Петруши. В свой альков настырного кавалера она не впустила, так что незамысловатая затея провалилась. Импульсивный Иван Долгоруков даже разозлился на вице-канцлера, затеявшего авантюру, чуть не рассорившую его с монархом. Отец с трудом сумел успокоить разгневанного сына и усадить подле Остермана, чтобы сообща отыскать новый способ уничтожения Елизаветы. Ничего лучше тотальной слежки не придумали. Она-то и принесла долгожданные плоды.

Ориентировочно в конце июля шпионы доложили о секрете цесаревны Остерману и Долгоруковым, а они немедленно уведомили государя. Тот не поверил, потребовал прямых улик. Что именно продемонстрировали царю, неизвестно, однако он убедился в правоте своих гофмейстеров, и 26 августа 1728 года на именинах великой княжны Натальи Алексеевны над головой дочери Петра Великого разразилась гроза. «На сем празднике все заметили величайшую перемену в обращении царя с принцессою Елисаветою. Прежде он безпрестанно говорил с нею, а теперь не сказал ей ни одного слова и даже ушел не простившись», — записал де Лириа в дневнике. То, что герцог услышал о красавице, повергло его в шок, так что он даже не осмелился доверить обвинения бумаге, назвав их «разными слухами, развеваемыми ее врагами». Зато французский резидент Маньян в реляции от 2 сентября не постеснялся сообщить в Версаль: «Сближение... ея с одним гренадером, зашедшее, как некоторые полагают... слишком далеко, стало лишать ее со дня на день расположения царя, особенно... с тех пор, как она несколько недель тому назад отправилась пешком на богомолье в монастырь... испросить для этого гренадера исцеление от недуга».

Елизавета отлучалась из Москвы с 1 по 16 августа 1728 года в сопровождении «одной дамы и Бутурлина». Может быть, и Петр II в это время инкогнито посетил ту же подмосковную обитель, в 60 верстах от города? 5 сентября принцесса отмечала свое тезоименитство. Петр II приехал только на ужин и, встав из-за стола, тотчас покинул дворец цесаревны. 7 сентября государь с большой свитой умчался из Москвы в деревню — охотой лечить рану, нанесенную лицемерной Елизаветой^{10}. Та отныне должна была забыть о свадебном венце, царской короне, отцовском престоле и абсолютной власти. Начинался двенадцатилетний период опалы.

Глава третья

В ОПАЛЕ

«Красота ея физическая — это чудо, грация ея неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери она хотела быть преемницей престола предпочтительно пред настоящим царем. Но [так] как божественная правда не восхотела этого, то она задумала взойти на трон, вышедши замуж за своего племянника. Но и этого не могла добиться. Во-первых, потому что это противно русской религии... Во-вторых, потому что своим дурным поведением она потеряла благоволение царя. После всего этого теперь она живет, скрывая свои мысли, заискивая у всех вообще, а особенно у старых русских, которые чувствуют себя оскорбленными в своих обычаях» — так отозвался о Елизавете Петровне герцог де Лириа 18 ноября 1728 года. Двумя неделями ранее он же заметил: «От ея честолюбия можно бояться всего. Поэтому думают или выдать ее замуж, или погубить ее, по смерти царя заключив ее в монастырь».

Что ж, цесаревна пожинала то, что посеяла. Бросила вызов общественному мнению и, естественно, проиграла, несмотря на политический талант. Современники, возмущенные наглостью и беспринципностью дочери великого императора, подвергли ее ostracism. От бесстыдницы отвернулись все, кроме самых близких друзей, каковых были единицы. Недаром Елизавета в первой декаде сентября вслед за царским двором сбежала из Москвы, скрывшись от позора в селе Покровском, где и тосковала по утраченному.

По-видимому, тогда принцесса впервые по-настоящему познакомилась с сельским бытом, крестьянскими традициями, «мужицкими» привычками, пристрастилась к простонародной культуре — песням, кухне, манерам, почувствовала себя уютно среди собственных крепостных. Им не было дела до столичных передраг и слухов, репутации госпожи в придворных кругах, их волновали уборка урожая, заготовка дров, хлеба, иных запасов. И если молодая барыня отнеслась к ним с душой, помогала во всём, то почему они должны были чураться отзывчивой хозяйки? Сельчане стали для августейшей сироты надежным тылом и отдушиной. К ним цесаревна приезжала всякий раз, как появлялась возможность, и «гостила» подолгу, узнавая житейскую мудрость от стариков, подпевая занятым монотонной работой бабам, кружась в хороводе с девушками.

Между тем в Кремле решали, как лучше избавиться от беспутной девицы. В середине октября посланник Австрии Карл Франциск Вратислав, заручившись согласием императора Карла VI, предложил без особых проволочек обвенчать фройляйн с принцем Карлом Альбрехтом Бранденбург-Байрейтским и выпроводить из страны, тем более что цесаревну уже сватали за него в июне 1727 года и отказа не услышали. Остерман идею одобрил, однако высочайшей санкции не последовало. Елизавету об этом плане предупредила хорошая знакомая, служившая у голландского резидента. Новость сильно напугала отшельницу. Посчитав инициатором брачного проекта прусского посланника Г. Мардефельда, принцесса откомандировала к нему М. А. Румянцеву — настаивать, чтобы он оставил «такой труд», ибо «Ея Высочество вовсе не думает выходить замуж». Дипломат заверил, что непричастен к матримониальным хлопотам.

Цесаревна переполошилась не напрасно. Осенью 1728 года ей реально светил либо монастырь, либо немецкое захолустье. К счастью, и Остерман, и Долгоруковы, пожалев красавицу, остановились на втором, более мягком варианте — эмиграции посредством замужества. Но, к их удивлению, Петр II проект забраковал. Почему? Гофмейстеры пришли к выводу, что в этом виноват Бутурлин, «раб» Елизаветы и друг императора. Опала, постигшая цесаревну, на него не распространялась. Царь и генерал оказались товарищами по несчастью — страдали от неразделенной любви к одной женщине, что их еще больше сдружило. И, как истинные рыцари, они не опустились до мелкой мести предмету воздыхания. Бутурлин посоветовал не мстить, а государь с ним согласился. Так, похоже, интерпретировали ситуацию вице-канцлер и обер-камергер, потому что приложили максимум усилий, чтобы разлучить Бутурлина с тринадцатилетним Петром. Почти четыре месяца они убеждали тестя Бутурлина М. М. Голицына освободить его из-под своей опеки и дать какое-никакое самостоятельное задание. В апреле Бутурлину доверили передислокацию на Украину трех пехотных полков. В отсутствие соперника Иван Долгоруков нашептал государю что-то нехорошее про «раба» Елизаветы, и Петр II в гневе разжаловал генерала в подполковники, отобрал звезду и ленту ордена Святого Александра Невского и предписал отправиться на Каспий — усмирять горские народы^[111].

Правда, на сей раз Остерман ошибся — Петр II и без Бутурлина не позволил добить цесаревну. Однако ее третировали, унижали, придирались по пустякам, сокращали денежное и материальное содержание, репрессировали друзей и преданных слуг — в общем, делали ее жизнь невыносимой с единственной целью: чтобы она сама попросила об отъезде

в чужие края в качестве чьей-либо невесты. Елизавета стойко сносила унижения, придирки, потери. Только однажды поколебалась — или притворилась, что колеблется. В первые дни декабря 1728 года, когда вынужденное венчание выглядело неминуемым, она попробовала спутать Остерману карты. Цесаревна поинтересовалась у польского посланника Иоганна Лефорта, где сейчас обретается Мориц Саксонский и не собирается ли в Москву. Примерно за полгода до этого внебрачный сын короля Августа II и будущий маршал Франции тоже искал руки прекраснейшей из принцесс. Разумеется, Остерман поручил супруге Лефорта аккуратно разведать, правильно ли он понял намек цесаревны. «Разведка» продлилась до середины марта. К тому времени девушка поняла, что кто-то при дворе покровительствует ей, и на давление вице-канцлера ответила дерзостью.

Де Лириа сообщил в реляции от 3 марта 1729 года: «Поведение принцессы Елисаветы с каждым днем... делается хуже и хуже. Она без стыда делает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных». Опять герцог боится назвать эти «вещи». Чего же не стыдится цесаревна? Публично прогуливаться по Москве под руку с возлюбленным — Алексеем Шубиным. Враги возмущаются, а пресечь скандал не могут, ибо Петр II запретил трогать и тетку, и счастливого соперника. В депеше от 28 апреля Лефорт приписал: «Здесь есть еще гвардейский унтер-офицер, бывший... наперсником великой княжны Елисаветы. Ему готовят теперь поручение в Сибирь». Дипломат выдавал желаемое за действительное: не готовят, а хотели бы готовить, да не смогли.

Вот такой любовный треугольник образовался в России на вершине властной пирамиды. И все страдали: и Петр II, и Елизавета с Шубиным, и Остерман с Долгоруковыми. Ведь согласно завещанию Екатерины I законной наследницей престола являлась Елизавета Петровна. Годовалый голштинский принц Карл Петер Ульрих, сын Анны Петровны, умершей через месяц после его рождения, со дня крещения по протестантскому обряду из списка претендентов выбыл. Так что и Остерман, и Долгоруковы страшились политического воскрешения сущей бестии Елисаветы и лихорадочно искали способ воспрепятствовать ему. Ничего лучше сводничества не придумали: правдами и неправдами заставили царя-подростка обручиться 30 ноября 1729 года с сестрой обер-камергера Екатериной Долгоруковой. Со свадьбой спешили, как на пожар, дабы получить противовес коварной цесаревне: в случае чего можно было провозгласить преемницей Петра II его супругу.

Де Лириа констатировал: государь «сохраняет к принцессе

всегдашнюю любовь». Поэтому Долгоруковы помешали царю прийти к Елизавете на день рождения 18 декабря — увезли охотиться на медведя и вернулись только под утро. А в одну из следующих ночей отрок улизнул из дворца и примчался к цесаревне. Разговор быстро превратился в рев. Каждый рыдал о своем: племянник — о предстоящем постылом браке с нелюбимой, тетка — о всеобщей враждебности к ней. Прощаясь, Петр пообещал вскорости всё «переменить», но исполнить обещание не смог или не успел. Подхватив где-то оспу, юный император умер через полторы недели, в ночь на 19 января. Не искал ли он, разочаровавшийся в 14 лет во всем и всех, собственной гибели, выбегая едва одетым на «страшный холод», общаясь с заболевшими коварным недугом?^{12}

Под утро 19 января 1730 года Верховный тайный совет избрал императрицей вдовствующую курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, двоюродную сестру Елизаветы Петровны, ни по каким уставам и «тестаментам» права на престол не имевшую. Зачем же власти предержащие так мучили царя и княжну? Поразительно, что по-настоящему мудро в 1730 году поступила только Елизавета Петровна. Она прекрасно понимала, что с той репутацией, какую она заработала за последние два года, лучше не претендовать на «корону и империум Всероссийский», хотя закон и защищал ее преимущество. Однако помимо закона существовало общественное мнение...

В январе 1730 года мало кто в Российской империи хотел видеть царицей Елизавету Петровну. Остерману, Долгоруковым и иже с ними не стоило изводить царя очередным брачным проектом. Решили не допускать к власти дочь Петра, согласовали другую, более приемлемую кандидатуру, и довольно... Кстати, три дипломата — австрийский, голштинский, бланкенбургский, накануне рокового дня ходатайствовавшие за принцессу, удостоились у первых лиц государства весьма холодного приема. Зато сама наша героиня не сочла нужным прерывать отдых в деревне и накалять страсти приездом в столицу. В итоге выиграла она. «Верховники» в отсутствие возмутительницы спокойствия затеяли реформу государственного строя. Закончилась попытка скверно: реформаторов разогнали, власть досталась Анне Иоанновне.

Двадцать пятого февраля 1730 года победительница при одобрении внушительной дворянской депутации разорвала «кондиции» — перечень прерогатив, изымаемых у династии в пользу Верховного тайного совета. 28 апреля в Успенском соборе Московского Кремля ее короновали. Но прежде, 14 апреля, Долгоруковых выслали в отдаленные родовые деревни. 21 апреля сержанта Семеновского полка Алексея Шубина вышибли из

гвардии, отправив в отставку в чине гвардейского прапорщика^[13]. Теперь он мог больше времени проводить с возлюбленной.

Французский резидент Маньян в депеше от 23 марта выразил удивление, что Елизавета предпочла не вмешиваться в борьбу и приехала в Москву лишь после избрания Анны Иоанновны, хотя сам же признавал, что «ея присутствие» ничем ей не помогло бы. Значит, горький урок 1728 года не пропал даром — и дочь Петра поняла главное: для успеха в политике таланта мало, важно еще заручиться общественными симпатиями. Проявив зимой 1730 года уважение к мнению соотечественников, отвергавших ее притязания, она сделала первый шаг к политическому возрождению.

А пока под предлогом «лихорадки» принцесса уклонилась от неприятной обязанности участвовать в коронационных торжествах, продолжавшихся до 5 мая. 24 мая двор переехал на всё лето в Измайлово. Цесаревна чередовала официальные мероприятия в свите императрицы с частным досугом в дорогом Покровском, среди друзей и уволенного со службы фаворита. Не тогда ли в селе открылся домашний театр, на сцене которого игрались разные пьесы с аллегориями? Впрочем, уже в августе спектакли прекратились. В Первопрестольную прибыл португальский принц Эммануэль, чтобы посвататься то ли к самой царице, то ли к ее племяннице Анне Леопольдовне. Однако молодой человек, увидев на приеме Елизавету Петровну, сразу влюбился в нее. Анне Иоанновне и без того не нравилась идея Остермана породниться с браганской королевской фамилией, а тут царица и вовсе рассердилась... Вот и пришлось ее двоюродной сестре уехать 15 августа не в облюбованное ею Покровское, а «миль за шестьдесят от Москвы», в знаменитую Александровскую слободу.

Благодаря книге историка Н. С. Строилова «Цесаревна Елисавета Петровна в Александровой слободе и Успенский девичий монастырь» (М., 1874) и поныне считается, что дочь Петра скоротала там большую часть опалы, выпавшей на московский период (1728–1731). Возможно, стоит, взглянув на карту, убедиться, что не очень удобно регулярно мотаться в карете из слободы в Москву и обратно, преодолевая по 100 верст в одном направлении. До Троице-Сергиевой лавры гораздо ближе, между тем паломничество в обитель было для двора целым событием. Так что вряд ли Елизавета Петровна посещала слободу часто и наездами — скорее, редко, зато на длительный срок, от месяца и больше, чтобы не только распорядиться по хозяйству, но и в Успенском девичьем монастыре побывать, и помещиков-соседей навестить. Благо в двух верстах от слободы, в усадьбе Крутце, доживал свой век опальный И. И. Бутурлин,

бывший поклонник Анны Петровны, а в десяти верстах, в селе Балакиреве, постоянно отдыхал другой соратник отца — его кабинет-секретарь А. В. Макаров.

Не в кабинете ли у кого-то из них за неспешной беседой возле шкафа с книгами возникла у цесаревны мысль изучить политическую историю европейских стран двух последних веков, чтобы проанализировать заграничный опыт государственного управления, обнаружить причины прочности одних и зыбкости других монархий, вывести формулу оптимального политического поведения? Ведь активное пополнение Елизаветой собственной библиотеки политико-исторической литературой началось как раз на рубеже 1720—1730-х годов. Впрочем, осенью 1730-го даже при наличии вышеозначенного намерения заняться его исполнением цесаревне вряд ли удалось — потребовалось защищать от внешней угрозы тихую «семейную» идиллию с Шубиным.

К покровской затворнице вспылал страстью Густав Бирон, брат аннинского фаворита. Ориентировочно с середины октября курляндец повел атаку на даму сердца. По меткому выражению Лефорта, он «мозолил глаза» цесаревне, навязчиво ухаживал. Елизавета изворачивалась, как могла, сознавая уязвимость — и свою, и особенно Шубина. Как ни балансировала она между «можно» и «нельзя», неуступчивость в главном вопросе привела-таки в декабре к разлуке с сердечным другом. Эрнст Иоганн вспомнил, что прапорщик всего лишь де-факто в отставке, а официально его «абшид» не оформлен. Молодому человеку без проволочек вручили предписание выехать в Ревель, в Дерптский гарнизонный полк. Куда деваться — Шубин отбыл к новому месту службы. Густав Бирон возобновил осаду, но, похоже, быстро прекратил ее. Елизавету спасла мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, сестра императрицы, встревоженная чрезмерным вниманием братьев Биронов к цесаревне. Заподозрив, что под видом любовной интриги скрывается политическая, ведущаяся в ущерб ее дочери Анне Леопольдовне, она, видимо, пожаловалась царице. Государыня ради сестры одернула фаворита, тот приструнил младшего брата. Елизавета вздохнула с облегчением — правда, ненадолго, ибо одного чичисбея сменил другой, шурин Бирона камергер Трейден. В июле 1731 года, подкараулив цесаревну на прогулке в лесу под Покровским, он предстал перед ней с пистолетом в руке, обещая застрелиться, если не удостоится взаимности. Девушка, по словам Маньяна, «не одобрила его смелости».

Велик соблазн связать с этими приключениями ту манеру поведения, с помощью которой Елизавета станет защищаться от придирок императрицы:

лучше казаться распутной, нежели нелояльной. Три нашумевшие опалы 1731 года тому наверняка поспособствовали.

Утром 19 мая арестовали сенатора и подполковника гвардии Александра Ивановича Румянцева — за прямоту: генерал по-солдатски грубо отклонил предложение Анны Иоанновны возглавить Камер-коллегию. Сенат тут же на экстренном заседании вынес ему смертный приговор, милостиво замененный разжалованием и ссылкой в деревню. Уже 24 мая Румянцевы покинули столицу.

Вторым пострадал Ягужинский. Честолюбие генерал-прокурора и обер-шталмейстера простиралось до планов превращения Сената в высший орган управления. Граф, видевший себя первым министром, естественно, вступил в конфликт с обер-камергером Э. И. Бироном и обер-гофмаршалом Р. Г. Левенвольде. Этот дуэт в пику Павлу Ивановичу пролоббировал учреждение 18 октября 1731 года «для порядочного отправления всех государственных дел» Кабинета министров из трех персон — канцлера Г. И. Головкина, вице-канцлера А. И. Остермана, тайного советника А. М. Черкасского. Сенат мгновенно утратил шанс обрести статус руководящей инстанции. Остерман был нужен в триумвирате как профессионал, лучше всех разбиравшийся в международных проблемах. Включение в состав нового органа Черкасского было, вероятно, компенсацией за разорванную весной помолвку Левенвольде с дочерью князя Варварой. Головкина пригласили для равновесия между ними. Если бы у Ягужинского хватило такта и ума, тесть мог бы отстаивать его мнение. Но Павел Иванович взялся за инструктаж без какой-либо деликатности, разгневал старика и в сердцах обругал всю кабинетную затею. Гавриил Иванович пожаловался на зятя царице, та разглядела в «оскорбительной выходке» Ягужинского закамуфлированную оппозиционность и 18 ноября охладила его пыл назначением послом в Берлин. 26 ноября несостоявшийся премьер отправился в Пруссию^{14}.

«Слишком свободные речи» генерал-прокурора, крайне беспокоившие государыню, побудили ее 17 декабря, в преддверии переезда в Петербург, велеть всем подданным еще раз поклясться в верности ей, а также тому, кого она объявит наследником. Переприсяга свидетельствовала о примечательной тенденции, наметившейся в российском общественном мнении: подданные разочаровывались в собственной избраннице, ибо она окружила себя советниками-немцами, к ним прислушивалась в первую очередь, их жаловала прежде всего, через них управляла империей, а соотечественников боялась, ожидая от них подвоха в духе «кондиций», которые полтора года назад собственноручно

разодрала.

Русские терпели. Однако обида накапливалась, и сильнее всего она была у ветеранов Петровской эпохи. Императрица чувствовала, что симпатии общества постепенно обращаются в сторону той, которую не так давно все презирали, цесаревны Елизаветы Петровны. И для того имелись основания. Во-первых, в январе 1730 года дочь Петра промолчала, продемонстрировав, что умеет извлекать уроки из совершенных ошибок. Во-вторых, в течение года красавица отбивалась от приставаний ловеласов, не предавая возлюбленного, с которым ее разлучили, что, очевидно, опять же противоречило прежним негативным оценкам. Репутация цесаревны медленно, но верно выправлялась. Анна Иоанновна понимала, чего недоговаривают несдержанные на язык критики, потому и решила еще раз связать соотечественников словом, запамятовав, что аналогичная клятва, данная «верховникам», соблюдалась менее недели: 20 февраля ее дали, 25-го нарушили.

Третий скандал был связан с именем президента Военной коллегии Василием Владимировичем Долгоруковым. 19 декабря императрице донесли, что во время присяги в церкви фельдмаршал над кем-то подсмеивался — скорее всего, над инициаторами церемонии. Донесли на него немцы — майоры-преображенцы принц Людвиг Гессен-Гомбургский и Иоганн (Иван) Альбрехт. Царица была взбешена. Не мешкая, арестовали и фельдмаршала, и офицеров свиты, внимавших его «шутке». Судили всех в Кабинете министров 22 декабря. Сиятельный шутник получил камеру в Шлиссельбургской крепости, благодарные слушатели — разжалование и ссылку. На следующий день на кнут и каторгу обрекли капитана гвардии Юрия Долгорукова, племянника фельдмаршала, гвардейского прапорщика Алексея Барятинского и служителя Елизаветы Петровны Егора Столетова за «зломысленное намерение» «к повреждению государственного общего покоя». Что под этим подразумевалось — заговор, разговоры? Зато разоблачение тройцы позволило императрице 22 декабря распорядиться о присылке из Ревеля в Санкт-Петербург Алексея Шубина, «хотя по розыску других к ним причастников каких не явилось».

Спустя пять дней прапорщика арестовали. При обыске ничего предосудительного в его бумагах и вещах не нашли. В последний день 1731 года он был доставлен на берега Невы, а спустя девять дней ему объявили высочайшую волю: «Шубина за всякия лести... послать в Сибирь», и уже под вечер конвой с арестантом двинулся в путь. Создается впечатление, что ниточку от Василия Долгорукова к Алексею Шубину протянули умышленно. Очень уж вовремя подоспел извет поручика Степана

Крюковского на племянника фельдмаршала. И если жестокость к Долгоруковым объясняется местью фельдмаршалу за конституционную активность в 1730 году, то заключение невинного любовника Елизаветы «в самый отдаленной от Tobолска город или острог» под крепкий надзор без права переписки есть не что иное, как признание царицей своего бессилия перед соперницей. Шубину досталось испытать то, что Анна Иоанновна мечтала, но так и не рискнула сотворить с Елизаветой. Опасаясь навлечь на себя всеобщую ненависть, она отыгралась на возлюбленном ненавистной кузины, тем самым больно уязвив ее.

Впрочем, как ни старалась императрица заставить Шубина врасплох, утечка информации имела место, и курьер цесаревны примчался в Ревель раньше поручика фон Трейдена. Алексей Яковлевич успел избавиться от компрометирующих материалов и припрятать кое-какие драгоценности. Тем не менее Сибири конечно же не избежал. В далеком краю он протомился около десяти лет, пока другой нарочный, уже посланный императрицей Елизаветой Петровной, не отыскал его и не возвратил в Петербург.

Восьмого января 1732 года Анна Иоанновна навсегда простилась с Москвой и 16-го обосновалась в Санкт-Петербурге. Цесаревна, опередившая ее на 11 дней, скорее всего, виделась с Шубиным в те четыре дня, что оставались до вручения градоначальнику Бурхарду Кристофу Миниху августейшего предписания об отправке прапорщика в Сибирь. Почти сразу же Елизавета сообщила о своем прибытии в Северную столицу в письме Э. И. Бирону. Судя по всему, между ними уже возникли особые отношения, предвещавшие взаимовыгодный политический союз. Похоже, Елизавета первой завела речь о примирении в отчаянной надежде с помощью царицыного фаворита спасти возлюбленного от расправы. Бирон откликнулся, ибо разглядел в набирающей политической вес принцессе гаранта личной безопасности и политического выживания на случай какой-либо неблагоприятной конъюнктуры — и не ошибся. Правда, Шубина обер-камергер не защитил (видимо, даже не пытался, ведая о степени августейшего негодования), зато впоследствии неоднократно исполнял миссию елизаветинского адвоката при императрице и отводил от цесаревны «громы и молнии», исходившие от Анны Иоанновны^{15}.

Глава четвертая

ГОДЫ ОЖИДАНИЯ

В Москве Елизавета Петровна проживала в Китай-городе, на Ильинке, в доме, некогда принадлежавшем роду старомосковских дворян Шеиных. В Петербурге она облюбовала квартал на задворках Миллионной улицы, напротив Красного канала и Царицына луга (ныне Марсово поле). В двух дворцах братьев Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных поселилась сама, обслуживающий персонал разместила в доме барона В. П. Поспелова. Со стороны Миллионной с резиденцией цесаревны соседствовали владения графа Саввы Лукича Рагузинского-Владиславича, со стороны Мойки — осиротевший двор А. И. Румянцева.

В историографии принято рассматривать восемь петербургских лет Елизаветы (1732–1740) как период беспросветной опалы и перманентной угрозы очутиться в монастыре или где похуже. Это не совсем правильно. В отличие от предыдущего четырехлетия эти два прошли вполне безмятежно. Анна Иоанновна при всем желании покуситься с двоюродной сестрицей поделаться ничем не могла. Растущая популярность соперницы мешала нейтрализовать ее, как Шубина, простым росчерком пера. Прибегать к клевете не советовал ей Бирон, считая, что бить надо наверняка при наличии прямых улик заговорщической деятельности цесаревны. Однако та, к досаде императрицы, вела себя на редкость верноподданнически и не давала повода к серьезным подозрениям.

Несколько раз царица цеплялась к ней из-за какой-то мелочи. 17 апреля 1735 года она велела шефу Тайной канцелярии А. И. Ушакову нагрянуть с обыском на квартиру Ивана Петрова, регента певчих Елизаветы, и хорошенько расспросить его, чем они занимаются. Очевидно, государыня от кого-то услышала о театральных забавах при «малом дворе» и подумала, что без политических намеков на сцене не обходится. Потому и ворвался Ушаков с подчиненными на рассвете 18 апреля в жилище Петрова на Греческой улице. Не застав хозяина, опечатали найденные бумаги и послали команду на Смольный двор, куда Петров уехал в свите цесаревны. Регент просидел под караулом три недели, до 9 мая. Среди его нотных тетрадей, писем и книг попало два сомнительных листка — воспевание анонимного лица, возведенного «на престол Россиския державы», и отрывок из пьесы с упоминанием некой принцессы Лавры. Следствие выяснило, что воспевание посвящено Анне Иоанновне, а принцесса Лавра

«во образи богини» — героиня пьесы, то ли сочиненной, то ли списанной откуда-то еще в Москве бывшей фрейлиной Маврой Егоровной Шепелевой, по мужу Шуваловой.

Примечателен факт отправки этих листков на экспертизу новгородскому архиепископу Феофану Прокоповичу. Тем самым императрица подчеркивала собственную беспристрастность. Глава Синода счел оба документа невразумительными и требующими доследования. В итоге надежды на громкий процесс не оправдались, и государыне пришлось ждать иной okazji, чтобы обвинить кузину. Как ни странно, «оказия» давно существовала, причем прямо под самым носом царицы. Ушакова надлежало направить не на Греческую улицу, а на набережную Красного канала, чтобы изучить содержимое книжных шкафов в кабинете цесаревны. Там скрывалась подлинная сенсация: «веселая» принцесса штудировала историю европейских монархий! С какой целью? Готовится опробовать опыт Вильгельма III Оранского или Жуана IV Браганского по законному свержению «законных» государей соответственно в Англии в 1688 году и в Португалии в 1640-м? Сотня-другая фолиантов о прошлом Британии, Франции и Испании — чем не улика? Ибо как-то иначе убедительно обосновать присутствие подобной коллекции в доме потенциальной конкурентки невозможно^{16}.

Вряд ли Елизавета Петровна хранила это книжное собрание не на виду, в потаенной комнате. Но даже если и так, о нем всё равно многие знали: книги кем-то покупались в московских и петербургских лавках, привозились из-за границы, презентовались или брались на время. И никто не шепнул императрице, где надо искать. Это были в основном образованные люди и не низкого ранга, понимавшие, что к чему: к примеру, глава канцелярии Академии наук и первый библиотекарь страны Иван Данилович Шумахер или миссис Рондо, супруга британского резидента в России.

Джейн Рондо быстро сблизилась с обаятельной цесаревной. В письме в Англию близкой подруге ею составлен такой портрет Елизаветы: «Дочь Петра I — красавица. Она очень бела. У нея не слишком темные волосы, большие и живые голубые глаза, прекрасные зубы и хорошенький рот. Она расположена к полноте, но очень мила и танцует так хорошо, как я еще никогда не видывала. Она говорит по-французски, по-немецки, по-итальянски, чрезвычайно веселаго характера. Вообще разговаривает и обходится со всеми вежливо. Но ненавидит придворныя церемонии». Письмо не датировано, но, судя по контексту, относится ко второй половине 1732 года. В портрете пока нет ничего выбивающегося из привычного

образа легкомысленной и ветреной цесаревны, кроме одного — владения итальянским языком. Какая нужда пробудила к нему интерес у Елизаветы, которую вроде бы ничто не связывало с Италией и итальянцами? Да и в России той поры о них знали разве что по газетам, шедеврам архитектуры, редким вояжерам и артистам первой гастролировавшей труппы комедии дель арте, дебютировавшей в Москве в феврале 1731 года. Едва ли увлечение театром заставило цесаревну засесть за итальянскую грамматику. Незамысловатые пьесы переводились, пение предпочитали слушать на языке оригинала.

Ради чего же стоило посвятить немало часов зубрежке вокабул? Ради истории Италии. В библиотеке Елизаветы книг о прошлом апеннинских стран не имелось — французские авторы обошли стороной эту тему. Цесаревна поневоле «засветилась» перед Шумахером. 8 октября 1734 года ее камер-юнкер Михаил Воронцов расписался за выданную ему французскую книгу «Государя Италии по старым хроникам». Ни до, ни после в здание Кунсткамеры от нее никто не являлся. Освоив азы немодного тогда в России итальянского языка, Елизавета заполняла пробел в знаниях чтением трудов итальянских историков. Правда, в совершенстве цесаревна итальянским не владела. Один из иностранцев, служивший у кого-то из Минихов, в брошюре, опубликованной в Гамбурге в 1748 году, подтверждая изящность французского и немецкого Елизаветы, прибавил: «Она понимает по-италиански, но не могу сказать, говорит ли тем языком». То есть дочь Петра читала по-итальянски и в какой-то степени воспринимала устную речь, но сама пользоваться этим языком при общении избегала.

Похоже, леди Рондо в 1732 году приняла за знание языка удачное вплетение в речь Елизаветы нескольких недавно выученных итальянских оборотов. Со временем англичанка лучше разобралась в младшей по возрасту «подруге», чему содействовали их регулярные встречи, описанные в корреспонденции: «Принцесса делает мне честь, принимая мои частые визиты, и иногда даже посылает за мной. Говоря откровенно, я ее уважаю и сердце мое чувствует к ней привязанность. С своей же стороны она смотрит на мои посещения как на удовольствие, а не как на церемонию. Своим приветливым и кротким обращением она нечувствительно внушает к себе любовь и уважение. В обществе она выказывает непритворную веселость и некоторый род насмешливости, которая, по-видимому, занимают весь ум ея. Но в частной жизни она говорит так умно и рассуждает так основательно, что всё прочее в ея поведении есть, без сомнения, не что иное, как притворство. Она, однако, кажется,

искреннюю... Одним словом, она — милое создание. И хотя я нахожу, что в настоящее время престол занят достойною особою, но нельзя не желать, чтобы впоследствии он перешел к ней».

Пример леди Рондо показателен. Безусловную сторонницу Анны Иоанновны Елизавета превратила в свою союзницу и подругу — та не только не выдала секрет цесаревны императрице, но и в процитированном письме, отправленном в Англию «не с обыкновенным курьером», а с кем-то из друзей, не проболталась, какие «умные» и «основательные» предметы они обсуждали. Кстати, темы аналогичных бесед с императрицей тайну не составляли. Сойдясь на почве рукоделия в покоях жены Бирона, мадам Рондо и Анна Иоанновна судачили о многом, в том числе «об Англии и, в особенности, обо всём, что касается королевы». Можно полагать, гостеприимная хозяйка дворца у Красного канала тоже расспрашивала резидентшу о ее стране и, в частности, о том, как получилось, что королевством правят не главы Ганноверской династии, а простые эсквайры.

Похоже, молчание Шумахера и иных персон тоже обусловлено симпатией к дочери Петра Великого. Даже генерал-фельдцейхмейстер принц Людвиг Гессен-Гомбургский, чей донос сгубил фельдмаршала и президента Военной коллегии князя В. В. Долгорукова, также попал под очарование Елизаветы Петровны, несмотря на весьма успешную карьеру в России и покровительство государыни. Завершила политическую метаморфозу сына немецкого ландграфа женитьба 23 января 1738 года на Анастасии Ивановне Кантемир, дочери фельдмаршала И. Ю. Трубецкого, вдове молдавского господаря Д. К. Кантемира и... подруге опальной цесаревны.

Чтобы понять, как в эпоху бироновщины относился к Елизавете Петровне высший слой русского общества, достаточно взглянуть на состав первого правительства после ее прихода к власти. Все русские выдвиженцы Анны Иоанновны сохранили занимаемые посты: А. И. Ушаков (Тайная канцелярия), Н. Ф. Головин (Адмиралтейская коллегия), А. М. Черкасский (Иностранная коллегия), Н. Ю. Трубецкой (генерал-прокурор Сената), И. Ю. Трубецкой (Юстиц-коллегия), И. В. Одоевский (Вотчинная коллегия), М. Я. Волков (Коллегия экономии, Мастерская и Оружейная палаты), А. Л. Нарышкин (Канцелярия от строений), Ф. В. Сухово-Кобылин (Ямская канцелярия), Я. Н. Кропоткин (Сыскной приказ), А. М. Маслов (Судный приказ), Ф. А. Лопухин (Канцелярия конфискации). Не были отправлены в отставку даже креатуры Анны Леопольдовны генерал-полицмейстер Ф. В. Наумов и президент Камер-коллегии Г. М. Кисловский. Значит, в лояльности всех перечисленных лиц дочь Петра не сомневалась. Те, в ком

она сомневалась (Я. П. Шаховской, И. И. Неплюев), были подвергнуты проверке. Тех же, чья враждебность была очевидна (М. Г. Головкина, А. Я. Яковлева, И. Н. Тимирязева), по решению суда отправили в Сибирь^{17}.

Исторические изыскания цесаревны, завоевание новых приверженцев среди знати, гвардейцев, чиновничества, в промышленных и коммерческих кругах, предотвращение провокаций и интриг подозрительной Анны Иоанновны протекали на фоне ежедневной рутины управления маленьким хозяйством. Елизавета Петровна зарекомендовала себя как рачительная «экономка». Деньги тратила на подарки, платья, застолья и прочие представительские цели, но и о нуждах своих придворных никогда не забывала. Выдач из казны и прибыли дворцовых вотчин вполне хватало. Так, одним из первых распоряжений в Петербурге, 21 января 1732 года, цесаревна предписала гоф-интенданту Н. А. Возжинскому обеспечить необходимыми припасами московский штат служителей, подготовиться к свадьбе мундшенка Е. Ю. Бахтеева, выдать пять рублей камер-юнкеру Г. И. Бутакову на покупку фуража для двух его лошадей.

В историографии сложилось немало легенд о тогдашних соратниках Елизаветы, почему-то негативного плана: мол, цесаревна давала приют либо бедным родственникам, либо распутникам, либо пройдохам-прихлебателям. Василий Чулков, Карл Сиверс, Никита Возжинский, Пимен Лялин, Николай Чоглоков, Георг Штроус — всех записали в любовники Елизаветы, как будто по-другому в ту эпоху выбиться из «грязи в князи» было невозможно. Между тем цесаревна с ее «простонародными» манерами могла разглядеть в кучере, поваре или лакее человека. Отсюда и забота о них, и чины с наградами после общей победы. Карьера, к примеру, Василия Ивановича Чулкова довольно заурядна. Началась она со службы лакеем цесаревны. В лакеи брали даже обыкновенных крестьян из дворцовых сел. 6 сентября 1731 года Чулков поднялся до камердинера и отвечал с тех пор за сохранность гардероба госпожи (с 1742 года в звании гардеробмейстера, с 1751-го — камергера императрицы).

Георг Андреас Штроус был взят ко двору принцессы в качестве музыканта 1 октября 1735 года, причем прежде чем зачислить иноземца в штат с окладом в 60 рублей и хлебным и дровяным рационами, назначили трехмесячный испытательный срок. Тем же путем попал в официальную платежную ведомость лекарь Андре Верре — помощник состоявшего при цесаревне лейб-медика Иоганна Германа (Жана Армана) Лестока. 1 июня 1736 года к новичку согласились присмотреться, 10 марта 1737-го поставили на шестидесятирублевое довольствие. Знаменитый метрдотель Елизаветы Петровны Иоганн Фридрих Фукс начинал карьеру в 1720 году

кухмистром Меншикова, через три года перевелся к царскому двору мундкохом, с 1726 по 1733 год служил кухмистром у Елизаветы Петровны, Петра Алексеевича, Натальи Алексеевны, затем уехал в Польшу, а с 1 января 1735-го вновь приступил к обязанностям кухмистра «малого двора».

Игнатий Кириллович Полтавцев в 1732 году из певчих стал камердинером и помощником Чулкова, лакей Федор Иванович Печерин в 1735-м сделался мундшенком, Карл Ефимович Сиверс, тоже из лакеев, к 1737 году дослужился до кофишенков. Гоффурьерами принцессы уже в 1732 году значились Пимен Васильевич Лялин и Петр Иванович Гагин. (Между прочим, мифические фавориты Елизаветы Лялин, Чулков и Гагин были женаты.) Тут же обретался сын Алексея Шубина Иван — в пажах, а затем в камер-пажах. Никита Андреевич Возжинский, из семьи царского кучера, всю жизнь провел при дворе: в 1708 году, лет десяти, был пристроен мальчиком на побегушках ко двору Петра Великого, в 1724-м повышен до мундшенка императрицы Екатерины Алексеевны, с 1727-го состоял при цесаревне Елизавете, которая 2 января 1731 года произвела расторопного разносчика напитков и холодных закусок в завхозы, а по воцарении пожаловала в камергеры и сделала заведующим царской коллекцией драгоценностей и мастерской при ней.

Благословляли и наставляли Елизавету Петровну два духовных отца: до 1735 года — Константин Федорович Шаргородский, с весны 1736-го — Федор Яковлевич Дубянский, священник из малороссийского села Понурницы и зять предшественника.

В высшую мужскую свиту цесаревны входили камергеры Алексей Полозов, Яков Балк и камер-юнкеры братья Александр и Петр Шуваловы, Михаил Воронцов, Григорий Петрово-Соловово. Женская свита состояла из фрейлин Анны Скавронской, сестер Гендриковых — Агафьи (до брака с Г. А. Петрово-Соловово), Марии и Марфы, Мавры Шепелевой (до брака с П. И. Шуваловым) и нескольких камер-юнгфер, главной среди которых была Елизавета Ивановна Францен — не по должности, а по влиянию на госпожу. Именно ее спустя три десятилетия Н. И. Панин в шутку назвал «министром иностранных дел» Елизаветы Петровны. Родную сестру «министра» Марию Ивановну, в замужестве Крузе, зачислили в штат 5 октября 1736 года без какого-либо звания, зато с жалованьем в 50 рублей^{18}.

О центральном персонаже молодой компании Алексее Григорьевиче Разумовском от тех времен сведений совсем мало. Традиционно, со ссылкой на дневник малороссийского генерального подскарбия Я. Марковича, зафиксировавшего 6 января 1731 года проезд через украинский

Глухов полковника Федора Степановича Вишневого, считается, что молодой казак Розум с хутора Лемешки тогда же попал ко двору Анны Иоанновны, чего автор записок не утверждает. Возможно, «черкасец» и ехал в обозе штаб-офицера, только до высочайшего двора так и не добрался. По крайней мере, его имя не фигурирует в списках певчих императрицы ни за апрель и декабрь 1731 года, ни за апрель 1733-го, ни в более поздних. Правда, там фигурирует «тенорист» Антон Григорьев, уволенный в феврале 1733 года. Но вряд ли клерки Придворной конторы допустили такую ошибку, к тому же не единожды.

Благодаря придворному штату цесаревны, датированному 20 апреля 1734 года, известно, что Разумовский («Алексей Григорьев») был недавно принят «басистом» в основной состав певчих (отнесен к тем, коим «учинены вновь оклады»). По возрасту (25 лет) он не соответствовал категории «малых певчих», но для «больших» получил оклад невысокий — 40 рублей. Очевидно, какое-то время до того (вряд ли больше года) он числился «закомплектным». Где же он обретался между весной 1731 года и весной 1733-го, если не при дворе? Вероятно, в одной из частных капелл. Точно не у царевны Прасковьи Ивановны. Задержался в доме у Вишневого? Угодил в особняк Левенвольде или к кому-то еще?.. [\[19\]](#)

Между прочим, с мая 1732 года по январь 1733-го в Санкт-Петербурге находился генеральный хорунжий Николай Ханенко. В ожидании резолюции по своему делу украинский гость сдружился с певчими Елизаветы Петровны. Часто приезжал к ним, к духовнику К. Ф. Шаргородскому. Они весело коротали вечерние часы в обществе слепого бандуриста Григория Михайловича Любистока, регента («уставщика») Ивана Петрова, а подчас и кого-то из братьев Шуваловых, «спевали» песни и напивались до упаду. Несколько раз хорунжий обедал с полковником Вишневым. Но за восемь месяцев пребывания на берегах Невы он Разумовского не заметил, а хлебосольный Федор Степанович за столом отчего-то ни разу не похвастался самородком с Черниговщины.

Когда казак преобразился в фавориты, остается гадать, но произошло это не ранее 1734 года и не позднее 1737-го. Судя по бумагам М. И. Воронцова, изданным П. И. Бартеневым, к концу 1737 года «милостивый государь А. Г.» уже похитил сердце хозяйки «хора честного вспевального», хотя по-прежнему занимал должность певчего. Явно не без помощи «хора» он, по сведениям Ханенко, пристрастился к «Ивашке Хмельницкому». Почему же цесаревна влюбилась в одного из своих пьяниц-басов? Не потому ли, что очень уж казак напоминал гренадера Шубина? Ведь в 1732 году ей пришлось пережить душевный кризис. И утешало цесаревну тогда

разве что присутствие рядом одиннадцатилетнего Ивана Шубина, сына угнанного в Сибирь прапорщика, ставшего ее воспитанником. За год она немного оправилась, постепенно привыкла к потере, и вдруг судьба преподнесла ей странный сюрприз — знакомство с «копией» возлюбленного. А дальше не без колебаний и сомнений началось сближение...

К 1740 году союз казака и цесаревны оформился, как теперь говорят, в гражданский брак. Они делили печали и радости полуопального бытия, вместе подняли на ноги приемного сына. Своих детей, увы, не завели. Похоже, проблема была не в физиологии, а в политике: Елизавета Петровна готовилась возобновить борьбу за власть ^{20}.

Глава пятая

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ

С 1737 года политическая ситуация в Российской империи постоянно ухудшалась, причем внутренний кризис накладывался на внешнеполитический. Патологический страх Анны Иоанновны перед оппозицией и, как следствие, неоправданно жестокая реакция на каждый ропот или даже скептический отклик подтачивали единство страны. Нарастал процесс отчуждения между обществом и главой государства, на подданных не опирающимся, отстаивающим в первую очередь интересы собственной «группы поддержки», состоящей преимущественно из иностранцев. Война с Турцией под лозунгом пересмотра унижительных условий Прутского мира 1713 года обернулась западней. Покорение в 1736 году Азова и Крыма, в 1737-м Очакова парадоксально не приближало, а отдаляло день триумфа. Причина крылась в международной обстановке, оказавшейся неблагоприятной для России. Союзные державы либо дистанцировались от конфликта (Англия, Голландия), либо запросили неприемлемую цену за помощь (Австрия), либо выжидали, рассчитывая примкнуть к победителю (Пруссия, Швеция). Откровенно протурецкую позицию заняла Франция. Сплоховал и Остерман на Немировском конгрессе (август — сентябрь 1737 года): султан, получив требования передачи России всего Причерноморья от Кубани до Днестра и предоставления независимости Молдавии и Валахии, естественно, отверг их.

Впрочем, может, Остерман и не виноват, если претензии России были санкционированы Бироном — в угоду фельдмаршалу Миниху, грезившему о великих завоеваниях. Уже кампания 1738 года развеяла эти грезы. Днестровский поход закончился бесславно. Обескровленная в Крыму и под Очаковым русская армия не справилась с задачей освобождения православных народов от османского ига. Между тем весной в Швеции выборы в риксдаг выиграла партия, настроенная антироссийски. Угроза войны на два фронта возросла неимоверно. И в столь критический момент кому-то в Петербурге понадобилось вконец испортить отношения с северным соседом. В ночь на 6 июня 1739 года отрядом русских военных в окрестностях силезского Бреслава был убит шведский майор и агент Малкольм Синклер, возвращавшийся с важными документами из Стамбула в Стокгольм. Что бы Синклер ни вез, нападение на дипломатического

курьера не стоило того, ибо гибель соотечественника возмутила всё шведское общество. В Стокгольме мгновенно нарушилось хрупкое равновесие между «ястребами» и «голубями», и правительство, возглавляемое Карлом Гилленбургом, обрело полномочия на разрыв с Россией.

Русско-шведскую войну предотвратили успех Миниха при Ставучанах 17 августа, падение Хотина 19 августа и Ясс 3 сентября и поспешное, на опережение, подписание в Белграде 7 сентября 1739 года мирного трактата с Турцией, минимально удовлетворившего Кабинет министров приобретением Азова с окрестностями. Императрица избежала катастрофы, которая разразилась бы вслед за вручением шведским посланником Эриком Нолькеном ноты об объявлении войны. Подданные, и без того раздраженные репрессивной политикой, не простили бы ни государыне, ни членам ее правительства необходимости драться с целой враждебной коалицией. Всем было ясно, что грозную Анну Иоанновну на троне должна была сменить Елизавета Петровна, но вот о том, кто мог выступить организатором дворцового переворота, едва ли кто-то догадывался. Обер-камергер Бирон, в 1737 году на ландтаге прибалтийского дворянства избранный герцогом Курляндским, решил сделать ставку на перспективную принцессу, отколовшись от обанкротившейся «немецкой» камарильи, впутавшей монархиню в турецкую авантюру, и за несколько лет превратился в надежного политического партнера дочери Петра. Он единственный сумел бы на пике народного негодования, вызванного дипломатическим крахом Остермана, Миниха и иже с ними, убедить Анну Иоанновну отречься от трона в пользу цесаревны. И он великолепно реализовал бы комбинацию, рожденную во дворце на набережной Красного канала, если бы не Остерман^[21].

Похоже, вице-канцлер вовремя понял, каковы могут быть последствия убийства Синклера, и не замедлил проинформировать о них императрицу. Убийц — капитана Кутлера, поручика Левицкого и четырех нижних чинов — Остерман предлагал колесовать, но в итоге они отделались ссылкой в Сибирь. (Оттуда всех вызволила... императрица Елизавета Петровна, спрятав вместе с семьями в Казани и обеспечив всем необходимым, от денежных компенсаций до врачебной помощи, сменив фамилии и повысив в чинах: Туркеля — до подполковника, Ликевича — до майора, прочих — до прапорщиков.) Ущерб от их «услуги» Остерман нейтрализовал, срочно откомандировав в Турцию советника канцелярии Карла Каниони с инструкциями для французского дипломата маркиза Луи Вильнева, уполномоченного Россией подписать с османами мир.

Шестнадцатого декабря 1739 года в Санкт-Петербург приехал посол Франции маркиз Жак Иоахим Шетарди. Хотя кризис миновал, в придворных кругах по-прежнему царила тревожная атмосфера. Маркиз считал, что война с турками, «истощившая страну», «предоставление главных должностей иностранцам», выдвижение в наследницы Анны Леопольдовны «побудили некоторыя из значительнейших русских фамилий искать наиболее подходящих средств, чтобы освободиться от ига чужеземцев и ввести в России при помощи революции новую форму правления». Шетарди писал: «Князья Долгоруковы, Нарышкины и Голицыны составили с этой целью неудавшийся заговор, пытаясь возбудить всеобщее волнение и заставить взяться за оружие подданных... рассчитывая на поддержку со стороны Швеции, они хотели... устранить царицу, принцессу Анну и супруга ея, принца Вольфенбюттельскаго, равно как и всю семью герцога Курляндскаго, истребить, кроме того, немцев или прогнать их из страны... Согласно этому невыполненному замыслу принцесса Елизавета должна была быть провозглашена императрицей... Виновники заговора, вынужденные пытками сознаться в своих преступлениях, были казнены в Новгороде... Рассказывают также и о другом заговоре в Москве. Несомненно, что в империи замечается сильное брожение».

Бедные Долгоруковы — Василий Лукич, Иван Алексеевич, Сергей и Иван Григорьевичи — безвинно сложили головы на эшафоте 8 ноября 1739 года. Формально всех казнили за так называемое подложное завещание Петра II, прочитанное в государыни последнюю царскую невесту Екатерину Долгорукову. В действительности царица и Остерман, напуганные затишьем перед бурей, били наугад, исходя из рассуждения, что Долгоруковы и Голицыны, мутившие воду в 1730-м, могут это делать и теперь. Семена Кирилловича Нарышкина, проживавшего во Франции, обвинили в соучастии — на всякий случай^[22].

Ни Елизавету Петровну, ни кого-то из ее придворных не засудили — они вели себя примерно. На Бирона не пала даже тень подозрения. Тем не менее «немецкая» партия как будто прозрела. Той же осенью на первый план выдвинулся Артемий Петрович Волынский, ставший кабинет-министром 3 апреля 1738 года по протекции Бирона. За полтора года галантный сановник сумел настолько понравиться Анне Иоанновне, что именно ему в октябре или ноябре 1739-го была доверена подготовка программы реформ, отвечавшей чаяниям российского дворянства. Артемий Петрович с энтузиазмом взялся за работу и... обрек себя на плаху. Новый выдвиженец государыни торопился с проектом, за пару месяцев привлек к

консультациям десятки чиновников высокого ранга, от сенаторов до личного секретаря императрицы.

Между тем Бирон почувствовал в бывшем протезе конкурента. В конце февраля — первой декаде марта обер-камергер пожаловался Анне Иоанновне на дерзость ее нового любимца, припомнив и взбучку, устроенную тем поэту Третьяковскому. Императрица при посредничестве Остермана постаралась развеять дурные мысли фаворита. Повторно Бирон атаковал в первые дни апреля, натравив на Волынского секретаря Военной коллегии Андрея Яковлева, который обвинил бывшего патрона в казнокрадстве.

Донос Яковлева впечатлил государыню. 4 апреля Артемий Петрович угодил в опалу, 13 апреля — под домашний арест. На основании показаний слуги Василия Кубанца, что его хозяин стремился стать «первым человеком в государстве», подобием императора, Волынского и его конфидентов осудили на смерть. Императрица помиловала четверых участников кружка. Самому Артемию Волынскому, архитектору Петру Еропкину и горному инженеру Андрею Хруцову 27 июня 1740 года отрубили головы^[23].

В общем, первая дуэль «русской» и «немецкой» партий не выявила победителя. Правительство Анны Иоанновны устояло, но лишилось реформатора, способного вернуть доверие русского дворянства к власти. Долгоруковы и Волынский пали жертвами этого поединка. Следующий начался, когда политическая конъюнктура в империи существенно изменилась в связи с рождением племянницей императрицы 12 августа 1740 года мальчика, названного при крещении Иваном.

Брак Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского, заключенный 3 июля 1739 года, являлся чисто политическим. Несмотря на шесть лет знакомства, племянница императрицы не питала к супругу сердечной склонности. Их свели вместе ради недопущения к престолу Елизаветы Петровны, в наивном уповании на то, что рождение мальчика снизит общественный кредит доверия цесаревне. Однако светлая голова дочери Петра и на сие отыскала противоядие: императору Иоанну, коли взойдет на трон в малолетстве, потребуется регент. Им станет Бирон, который немного погодя, ссылаясь на возраст царя, передаст бразды правления Елизавете.

Правда, у герцога этот план энтузиазма не вызвал — показался неисполнимым и крайне опасным лично для него. Тем не менее, поколебавшись, Бирон с ним согласился и, когда пробил час, не замедлил взяться за его реализацию, вдохновленный авторитетом тайной союзницы. Как они общались и почему мнительная Анна Иоанновна не разоблачила

козни дуэта? Разумеется, контактировали заочно, при посредничестве придворного врача Иоганна Германа Лестока. Очевидно, Бирон убедил императрицу в наличии у него какой-то хронической болезни, в лечении которой лучше всех разбирался доктор цесаревны. Потому Анна и не обращала внимания на периодические консультации тет-а-тет своего возлюбленного с эскулапом. Возможно, и в августе, и в сентябре 1740 года ни герцог, ни Елизавета не воспринимали вариант с новорожденным младенцем как приоритетный, ведь на пути к трону стояла Анна Иоанновна. Над тем, каким образом добиться отречения двоюродной сестры от престола, цесаревна и размышляла в ту пору. Сколько бы продлился поиск решения, неизвестно, но внезапно нужда в нем отпала.

Пятого октября в обед припадок подагры уложил императрицу в постель. Ее самочувствие ухудшалось на глазах, и находившийся рядом Бирон осознал, что время для претворения в жизнь домашней заготовки цесаревны пришло. Напрасно историки уверяют, что герцога в регенты толкало властолюбие. Архивные дела зафиксировали поразительное признание обер-камергера, произнесенное в те дни: «...ежели оное регентство... примет, то здесь в ненависти будет». Если курляндец сознавал, что добром предприятие не кончится, то зачем так упорствовал, продираясь напролом к цели? Не оттого ли, что имел за спиной напарницу, которой и предназначался главный приз — царская корона? Конечный выигрыш самого Бирона выглядел бы не столь впечатляюще: статус главы правительства...

События развивались стремительно. Около двух часов дня герцог позвал в предпочивальню Летнего дворца Б. К. Миниха, Р. Г. Левенвольде, кабинет-министров А. М. Черкасского и А. П. Бестужева-Рюмина, в августе занявшего место Волынского. Быстро обсудил с квартетом «опасные симптомы» болезни государыни и отсутствие «распоряжения о престолонаследии». Кто-то из сановников заикнулся о правах Анны Леопольдовны. Бирон в ответ сообщил о намерении монархини завещать скипетр маленькому внучатому племяннику, с чем никто не осмелился спорить. Далее возник вопрос о регентстве. Герцог предложил посоветоваться с Остерманом.

К вице-канцлеру на Береговую набережную поехали Миних, Черкасский и Бестужев. Андрей Иванович рекомендовал им хорошо всё обдумать. Нейтралитет «души Кабинета» побудил двух его коллег проявить активность. На обратной дороге Черкасский и Бестужев условились хлопотать за Бирона. Миних, сидевший в другой карете, узнал о том уже в Летнем дворце, как и обер-гофмаршал Левенвольде, дворца не

покидавший. Возражений от них не последовало. Сообща они уговорили герцога. Затем поодиночке переманили в свой стан А. И. Ушакова, Н. Ю. Трубецкого, А. Б. Куракина, Н. Ф. Головина и многих других. Доводы были просты: кандидатура Анны Леопольдовны плоха из-за ее отца-тирана, который может примчаться в Россию и манипулировать дочерью; Антон Ульрих инфантилен, недалек и всецело зависим от «диспозиции венского двора». Ближе к ночи партия герцога Курляндского заметно расширилась. Манифест о провозглашении младенца наследником написал за ночь Остерман. Черкасский, Бестужев, Бреверн, Трубецкой и Яковлев уединились в кабинете, чтобы составить «определение» о регентстве.

Работа была завершена под утро. Сочинение вышло на редкость странным. Внешне оно мало отличалось от аналогичных уставов о прерогативах регента, но две статьи не вписывались в традиционный стандарт. Первая гласила: «...ежели... наследники, как великий князь Иоанн, так и братья ево, преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент... по общему... согласию в российскую империю сукцессора избрать и утвердить. И... имеет оный... сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был...» Во второй говорилось: «...ежели б такая обстоятельства... случились, что он правление регентское необходимо снизложить пожелает, то мы на оное снизложение ему всемилостивейше соизволяем, и в таком случае ему, регенту, с общаго совету и согласия... учредить такое правление, которое б в пользу нашей империи... до вышеписанных наследника нашего уреченных лет продолжится могло».

Не парадокс ли — Бирон рвется в опекуны и тут же настаивает на праве, во-первых, «снизложить» непосильное бремя власти, во-вторых, реорганизовать ее под расплывчатым предлогом «ненадежного наследства». И кого он утвердит «сукцессором», если не Елизавету Петровну? Себя? А кто предвидел всеобщую ненависть к Бирону-регенту — не он ли сам? Обер-камергер столь высоко не метил, прекрасно понимая, что не процарствует и дня... Похоже, Анна Иоанновна, прочитав 6 октября удивительный опус, подумала именно о том, что герцог мечтает о короне, и подписала только манифест, а проект устава о регентстве отложила в сторону. Другой, наверное, сдался бы, только не Бирон. Пока за стенами Зимнего дворца дипломаты (Шетарди, Мардефельд) прочили в председатели регентского совета Анну Леопольдовну, герцог Курляндский 11 октября всеми правдами и неправдами склонил петербургскую знать к

подписанию челобитной на высочайшее имя с просьбой одобрить документ. Царица не откликнулась и на нее. Тогда по приказу обер-камергера начался сбор подписей всего генералитета и штаб-офицерских чинов. Эта новость произвела должное впечатление на императрицу, и 16 октября на «определении» появился долгожданный августейший автограф.

Спустя сутки в десятом часу вечера Анна Иоанновна скончалась. Следующим утром петербуржцев уведомили о новом императоре и его опекуне. И в тот же день слух о существовании стовора между регентом и цесаревной разлетелся по городу. Шетарди по горячим следам отрапортовал в Версаль, что «некоторые лица» вдруг припомнили «склонность, сдерживаемую только ревностью царицы... которую герцог Курляндский чувствовал к принцессе Елизавете», и намекали на скорую узурпацию им престола через породнение с красавицей. Француз предположил, что Бирон сам обвенчается с цесаревной. Манштейн, адъютант фельдмаршала Миниха, в мемуарах «просватал» дочь Петра за старшего сына герцога. Английский посланник Финч в депеше от 1 ноября был осторожнее — сообщил в Лондон о «посильных услугах», оказанных обер-камергером Елизавете в прошлое царствование, и о нынешних стараниях «привлечь ее на свою сторону, зная, что она очень популярна и любима».

Под «некоторыми лицами» французский маркиз подразумевал конечно же Остермана. Умница вице-канцлер, естественно, разгадал игру цесаревны, с неординарным талантом которой столкнулся еще в 1728 году. По прошествии двенадцати лет Андрей Иванович по-прежнему считал ее хитрой бестией, однако бить правдой, как раньше, уже не мог, вот и преломил истину через собственную призму. Мол, Бирон сдружился с Елизаветой не для общего блага, а из личных корыстных интересов, цесаревна будет лишь ширмой для деспота: не ее он посадит на трон, а сядет сам. Очень сильный политический ход, поднявший в ружье многих приверженцев... Анны Леопольдовны. Два штаб-офицера незамедлительно развернули агитацию: подполковник Любим Пустошкин из Ревизион-коллегии — среди статских коллег, поручик Преображенского полка Петр Ханыков — между гвардейцами. 23 октября оба угодили в казематы Петропавловской крепости, а оттуда — в застенок и на дыбу.

Увы, Елизавета Петровна недооценила народную ненависть к герцогу. За стремление соблюсти приличия, выдержать паузу, прежде чем обнародовать манифест о «ненадежном наследстве» Иоанна Антоновича, пришлось заплатить дорого. Карту Остермана надлежало крыть как можно скорее собственным козырем. Бирону стоило бы пообещать — пусть

неофициально, в частных беседах с рядом уважаемых персон — по истечении одного-двух месяцев вручить скипетр любимице публики, причем без каких-либо преференций для себя. Дуэт же предпочел ответить намеками. Цесаревна в своих апартаментах водрузила на видном месте большой портрет родного племянника Карла Петера Ульриха Гольштейн-Готторпского. Регент при свидетелях пригрозил Анне Леопольдовне, что при необходимости отошлет ее и супруга в Германию и «выпишет в Россию» герцога Голштинского. Реверансы в адрес юного внука Петра Великого в лучшем случае вызвали в обществе недоумение. То, что по «тестаменту» Екатерины I в очереди на трон следующей за племянником-протестантом стоит его православная тетка-цесаревна, сообразили, видно, единицы.

Между тем Бирон, обжегшись на молоке, дул на воду. В конце октября в Тайную канцелярию угодили, помимо явных заговорщиков Пустошкина и Ханыкова, и просто «несогласные»: Андрей Яковлев (тот самый, писавший под диктовку Бестужева, Трубецкого, Черкасского и Бреверна устав о регентстве), адъютант принца Брауншвейгского Петр Грамотин, секретарь Анны Леопольдовны Михаил Семенов, офицер-семеновец Иван Путятин, офицер-преображенец Михаил Аргамаков. Роптавших сторонников Елизаветы тоже забирали под караул — но лишь затем, чтобы, слегка пожурив, отпустить. Необоснованные аресты в ближайшем окружении родителей императора возмущали всех, а их самих, похоже, ввергли в отчаяние. Скорее всего, именно с отчаяния Анна Леопольдовна одобрила экспромт Миниха, предложившего ей 8 ноября ближайшей же ночью «освободить Россию... от тирании пагубного регентства».

Фельдмаршал, как обычно, не задумывался о последствиях своих импровизаций. По мнению Манштейна, полководец решился на авантюру от обиды на Бирона, не пожаловавшего соратнику чин генералиссимуса. Так или иначе, вечером того же дня импульсивный герой Очакова и покоритель Крыма отужинал в покоях регента, после чего в Зимнем дворце сформировал из караула преображенцев отряд и повел его по Миллионной улице назад, к Летнему саду. Летний дворец также охраняли преображенцы, несколько не симпатизировавшие курляндцу. Тем не менее адъютант фельдмаршала Манштейн слухавил, объявив о приближении конвоя принцессы Анны, едущей к Бирону. Однополчане расступились, и отряд беспрепятственно проник в резиденцию регента, отыскал его в спальне и арестовал.

Утром 9 ноября 1740 года Петербург ликовал, прослышав о подвиге Миниха. Регентшей стала Анна Леопольдовна, а чин генералиссимуса

получил... ее муж. Фельдмаршала же удостоили ранга первого министра, специально учрежденного по сему поводу. Впрочем, избавитель России от Бирона быстро обнаружил, что глава правительства он лишь на бумаге, реально же ему подчиняется только военное ведомство, а по-настоящему правит империей Остерман. Тщеславие не позволило удовольствоваться этим. Миних пытался сопротивляться, пробовал влиять и на внешнюю политику страны, но 28 января 1741 года Анна Леопольдовна законом разграничила компетенцию министров, вверив первому единственно «военный департамент». Подобного оскорбления гордый Миних не перенес и демонстративно подал в отставку, которая 3 марта не менее демонстративно была принята.

Остерман торжествовал, но совсем недолго. Генерал-адмирал — с этим громким чином Андрей Иванович в ноябре 1740 года возглавил российский «корабль» — постепенно впал в пессимизм, к лету совсем сник, к осени и вовсе всерьез подумывал покинуть Россию. Чем обусловлена такая метаморфоза? Даже тревожные сигналы от англичан и пруссаков об угрозе Анне Леопольдовне, исходившей от Елизаветы Петровны, не взбудрили бывалого политика и изворотливого царедворца. На предупреждения друзей-дипломатов лидер Кабинета министров реагировал вяло и никакой существенной помощи матери императора, помимо дежурных предостережений о нелояльности цесаревны, не оказал. Зато удивил всех опекой робкого и скромного Антона Ульриха. Окружение принцессы Анны тут же засудачило о далекоидущем плане генерал-адмирала — пристроить в регенты генералиссимуса...

Между тем поведение Остермана объяснялось просто. Он понял, что в октябре 1740 года совершил роковую оплошность — столкнул лбами Анну Леопольдовну и Бирона, полагая, что первая, сокрушив второго, обретет популярность, как минимум сравнимую с елизаветинской. Однако падение герцога ничуть не возвысило авторитет Анны в глазах русских подданных как благородного, так и «подлого» сословия. Общество по-прежнему благоволило к цесаревне, и та от акции Миниха ничего не потеряла, кроме возможности прийти к власти с соблюдением законной процедуры. Гвардейцы в любой момент с радостью повторили бы свой поход на Зимний дворец ради возведения на престол своего кумира. Остерману оставалось только удивляться, что они до сих пор не получили подобного приказа, и со страхом ждали его, ибо он сознавал, что дочь Петра не простит ему низложения Бирона, ведь теперь ей нельзя было избежать штурма императорской резиденции. Сближением с Антоном Ульрихом Остерман продемонстрировал, что отныне цесаревне не враг и не станет ни

словом, ни делом помогать Анне Леопольдовне.

Вообще-то Андрей Иванович имел шанс заслужить полное прощение — если бы убедил мать императора не цепляться за власть, а проявить добрую волю и согласовать с «сестрицей» способ мирной передачи престола. Увы, генерал-адмирал не рискнул обсудить с регентшей щекотливую тему. В итоге она отыскала менее дальновидного советчика — Михаила Гавриловича Головкина, преемника Остермана на посту вице-канцлера. Отечественная историография вылепила из принцессы Анны образ ленивой, неряшливой, наивной правительницы, ничего не предпринявшей для нейтрализации главной соперницы. Почти два века читателю внушали данный тезис. Между тем всезнающие критики не удосужились перечислить те меры, коими так опрометчиво пренебрегла правительница. Судя по контексту их ироничных сентенций, это арест Елизаветы Петровны или, по крайней мере, Лестока с выбиванием у него показаний, нужных для громкого политического процесса. Никаких других альтернатив не приводится.

Но задумаемся, что случилось бы, распорядись Анна Леопольдовна об аресте цесаревны или хотя бы ее врача весной — летом 1741 года. Гвардия воспрепятствовала бы расправе со своей любимицей, и, возможно, уже на закате того же дня под караулом очутились бы всё брауншвейгское семейство и министры-немцы. Так что вариант с арестом не годился, и регентша не питала иллюзий на сей счет, о чем свидетельствуют реляции английского посланника Эдварда Финча. С ним консультировались и генерал-адмирал, и родители императора и пришли к достаточно здравому решению: не суетиться, выжидать, не давая цесаревне поводов к возмущению. Авось она и не возжелает завладеть престолом...

Когда в августе 1741 года стало ясно, что их надежда не оправдывается, Остерман многозначительно промолчал. Зато не испугался новый вице-канцлер. Головкин посоветовал великой княгине, как не допустить Елизавету к трону. Но то, что осенью 1739-го могло спасти партию Анны Иоанновны, спустя два года безнадежно опоздало. Михаил Гаврилович реанимировал мысль Остермана о формировании правительства, отстаивающего интересы русского дворянства. 17 сентября Анна Леопольдовна пожаловала в сенаторы астраханского губернатора М. М. Голицына, воронежского губернатора Г. А. Урусова, армейского генерал-майора П. С. Салтыкова, камергера А. М. Пушкина, заместителя генерал-полицмейстера Я. П. Шаховского, сосланного в Кизляр бывшего главного судью Судного приказа А. Д. Голицына; обер-прокурором назначила своего камергера И. А. Брылкина. Поздним вечером 16 октября к ним

присоединился возвращенный из ссылки А. П. Бестужев-Рюмин в качестве кандидата на пост министра иностранных дел вместо Остермана.

Наконец, 2, 3 и 4 ноября 1741 года на квартире у Остермана Черкасский, Головкин и новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич рассмотрели реальность провозглашения Анны Леопольдовны императрицей. Причем вице-канцлер напомнил коллегам о пункте из «определения» о регентстве о «ненадежном наследстве»: «...в духовной де содержатся такие вещи... чтоб бывший регент обще с Сенатом и генералитетом избрал наследника». Разъехались, отложив решение на потом. Остерман, кстати, призывал для упрочения позиций брауншвейгской династии провести нечто вроде Земского собора или Учредительного собрания. Заметим, рекомендации генерал-адмирала были выгодны именно Елизавете Петровне, ибо «земство» выбрало бы «дщерь Петрову».

Да, Михаил Гаврилович указал правильный вектор, однако желающих пойти за ним не наблюдалось. Бестужев, поблагодарив за прощение, подсиживать Остермана не спешил, а шесть новых сенаторов, если верить Шетарди, почему-то были «недовольны своим назначением» — с ними, видите ли, «совсем не посоветовались». Конечно, для французского маркиза, союзника Елизаветы, новость о пополнении Сената была не из приятных, и приуменьшить ее общественный резонанс ему, естественно, хотелось. Тем не менее доля истины в ней, наверное, есть: каждый из шестерки почел бы за счастье быть сенатором, возведи его в этот ранг Елизавета Петровна, а вот принять почетное звание от принцессы Анны побаивался из-за риска прослыть противником цесаревны.

Что ж, Головкин споткнулся о то, что Остерман понял априори. Русское общество хотело видеть во главе государства Елизавету, а Анне Леопольдовне если и сочувствовало, то не до такой степени, чтобы предпочесть ее дочери Петра. Попыткой переиграть тетушку мать императора лишь ускорила неминуемый финал, и без того неоправданно отсроченный. Без пяти минут царица целый год медлила подобрать принадлежавшую ей корону. Почему? Неужели трусила, как считают большинство историков? Разумеется, нет. Этот год понадобился Елизавете для решения проблемы, созданной бравым Минихом. Фельдмаршал грубо разломал механизм легального воцарения настоящей наследницы престола. Теперь надлежало найти ему эквивалент.

Елизавета Петровна считала крайне важным соблюсти законность собственного прихода к власти для предотвращения или хотя бы минимизации ущерба от каких-либо эксцессов в будущем. Оттого и позаботилась о сооружении не менее надежной гарантии своему

правлению, чем юридическая. Подсказку отыскала в личной библиотеке, среди книг, посвященных английской Славной революции: в ноябре 1688 года голландцы по приглашению англичан вторглись в Британию для помощи в свержении короля-тирана Якова II, насаждавшего в протестантской стране католические порядки. Революционным лидером являлся зять монарха, штатгальтер Голландской республики Вильгельм Оранский, которого в январе 1689 года парламент провозгласил королем. А что, если в 1741 году шведы по приглашению дочери Петра Великого вторгнутся в Россию для помощи в свержении Анны Леопольдовны? Оставалось утрясти еще один вопрос: кто профинансирует военную акцию шведов? Франция!

Четырнадцатого ноября 1740 года Шетарди приехал во дворец у Красного канала с визитом вежливости, однако цесаревна не смогла принять его. На следующий день к маркизу с извинениями пожаловал Лесток. Исполнив формальности, доктор затеял странный разговор: пожалел Бирона, обругал Миниха, после чего намекнул хозяину, что «принцесса лишилась всего с опалой регента» и не прочь при содействии заграницы отомстить обидчикам герцога. В исторической науке доминирует версия о Шетарди как инициаторе дворцового переворота в пользу Елизаветы Петровны. На деле откровения Лестока посла насторожили, он счел их провокацией и выпроводил гостя, ничего не ответив. Передумал лишь через месяц, когда, во-первых, прослышал, что лейб-медик нагрянул с теми же разговорами к шведскому посланнику Эрику Нолькену; во-вторых, побеседовал на Рождество с обер-гофмаршалом Левенвольде, который от имени цесаревны посетовал на невнимательность француза к дочери Петра Великого.

Уже 26 декабря Шетарди встретился с Елизаветой Петровной, а 2 января 1741 года стороны заключили пакт о сотрудничестве. Франция и Швеция обязались помочь цесаревне завладеть отеческим престолом. Предусматривалось, что Швеция повоюет, Франция оплатит, а благодарная Елизавета после воцарения возместит все убытки. Затем Нолькен попросил цесаревну подписать официальное обращение к августейшему «брату», королю Фредрику I, «об оказании мне помощи» (территории, аннексированные Россией в 1721 году, в нем не фигурировали). Елизавета Петровна, несомненно, знала, что точно так же поступили семь знатных английских лордов в июне 1688 года, призывая Оранского. Но то — лорды, не чета цесаревне. Она от подписания обращения уклонилась и более полугода морочила головы двум компаньонам, надеявшимся все-таки получить ее автограф на сенсационном документе. Елизавета притворялась

страшной трусихой, изворачивалась на редкость изобретательно, чтобы и союзников не разочаровать, и в объект для шантажа не превратиться. В конце концов выиграла она, а не кардинал Флёрис или канцлер Гилленбург, первые министры Франции и Швеции. 24 июля северная соседка объявила России войну, 8 августа секретарь шведского посольства в Петербурге Карл Лагерфлихт (Нолькен в июне отправился на родину) вручил Остерману официальное уведомление о разрыве дипломатических отношений.

Но русская армия, при всем уважении к цесаревне, не собиралась быть битой и 23 августа разгромила при Вильманстранде шведские войска, а гарнизон крепости принудила к капитуляции. Спустя два дня генеральс-адъютант фельдмаршала Ласси Б. И. Кампенгаузен привез весть о победе в столицу. Народ и двор искренне возрадовались, а Елизавета Петровна расстроилась, осознав, что повторить английский сценарий в России не получится. Но еще около двух месяцев она уповала на чудо, осыпала Шетарди упреками за нерасторопность Стокгольма с публикацией манифеста, провозглашавшего целью войны защиту прав потомков Петра Великого, за отсутствие в «освободительных» войсках ее племянника, голштинского герцога. Бедный маркиз успокаивал ее и обещал скорое возобновление шведского наступления. Цесаревне поневоле приходилось верить и ждать. Ждала бы как минимум до конца кампании, если бы не активность Головкина. Назначение шести сенаторов и реабилитация Бестужева стали для нее холодным душем. Елизавета Петровна собралась и в считанные дни наметила третий сценарий легитимного свержения Анны Леопольдовны.

Устав о регентстве никто не отменял, статья о «ненадежном наследстве» из документа не была исключена. Ее специально сформулировали туманно, оставив широкий простор для толкования. Головкин неспроста к ней приглядывался. За истекший год события развивались так, что точно соответствовали ее смыслу. Опала регента, отставка первого министра, царь-младенец, война со Швецией... Ну кто будет спорить, что в империи «ненадежное наследство»? Посему регент вправе «по общему согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить». В октябре 1741 года регентша Анна Леопольдовна по внушению вице-канцлера примеряла на себя мантию «сукцессора». Елизавета Петровна была мудрее, она назвала бы «сукцессором» того, на кого указывало завещание императрицы Екатерины I, которое тоже никем не отменялось.

Но прежде надо стать регентшей, то есть отстранить от власти двоюродную племянницу. Как это совершить не наобум, подобно Миниху, а

наверняка, без риска неудачи и кровопролития? Во-первых, требуется подготовить к акции ту часть гвардейцев, которая будет занимать Зимний дворец. Во-вторых, в решающий момент взять под контроль дворцовые караулы для организованной, а не стихийной, чреватой ссорами и стычками смены постов. Вторая задача решилась легко. В Семеновском полку цесаревна давно присмотрела толкового и дисциплинированного офицера — капитан-поручика Ивана Никифоровича Рудакова. Его и предполагалось назначить командиром роты охраны в главную ночь. Гвардейские полки дежурили в царской резиденции по очереди: четыре дня преображенцы, по три — семеновцы и измайловцы. Интересно, что 15 августа, через неделю после начала войны, Рудакова зачислили в сводный отряд гвардии из 1200 человек, отправленный в армию фельдмаршала Ласси, а на следующий день из списка командированных вычеркнули, вписав капитан-поручика Вадковского. Можно догадаться, чью волю исполнили полковые «штапы» и кому реально подчинялась гвардия летом 1741 года.

Ударная группа сколачивалась в Преображенском полку. С середины октября дюжина нижних чинов под руководством Юрия Грюнштейна выявляла среди однополчан тех, кому доверяли другие солдаты. Из них вербовали агитаторов, готовых по отмашке цесаревны проникновенным словом увлечь товарищей за собой. Так как времени на раскачку рот будет мало — меньше суток, — Елизавета придумала, как вызвать у гвардейцев волну негодования. 25 октября из Финляндии в столицу вернулись тысяча пехотинцев и две сотни кавалеристов из гвардейских полков. Почему бы генералиссимусу не отрядить новый отряд гвардейцев в зимний поход? И с минимальным запасом провианта!

Ясно, что отец императора подобное не подпишет. Нужен тот, кто от имени главнокомандующего объявит по четырем полкам возмутительный ордер. Принц Людвиг Гессен-Гомбургский, с 1740 года шеф измайловцев, заместитель Антона Ульриха по гвардии... Цесаревна узнала мнение генерал-фельдцейхмейстера лично или через посредницу, супругу принца Анастасию Ивановну. Он согласился сыграть уготованную ему роль, но при условии, что будет издан высочайший приказ, хотя бы в общих чертах совпадающий с тем, о чем предстояло уведомить полки. Елизавета обратилась к фельдмаршалу Петру Петровичу Ласси, как раз находившемуся в Санкт-Петербурге. Естественно, командующий армией исполнил просьбу дочери Петра Великого.

Между тем Лесток по-прежнему встречался с Шетарди и уже ни о чем, кроме денег, не просил. Он прекратил маскировать участвовавшие визиты к французскому дипломату, дразня сторонников Анны Леопольдовны. Те

поддались на уловку, сосредоточили главное внимание на лейб-медике и потому не мешали цесаревне завершать подготовку к главному мероприятию.

В исторических трудах день 23 ноября 1741 года неизменно подается как поворотный. Мол, угроза Анны Леопольдовны арестовать Лестока испугала Елизавету и та наконец приступила к решительным действиям. Тем вечером беседа между ними действительно состоялась и проходила на повышенных тонах. Правительница укоряла «сестрицу» за подозрительную дружбу с Шетарди, страшила узилищем для лейб-медика. Ну и что? Всё равно А. И. Ушаков не заключил бы под стражу соратника цесаревны. Механизм изоляции брауншвейгцев был запущен несколькими часами ранее пререканий на куртаге.

Еще днем адъютанты фельдмаршала Ласси явились в канцелярию Кабинета министров и усадили клерков за оформление «всеподданнейшего представления» об откомандировании в Выборг «ис полков лейб-гвардии... двух тысяч редовых» с месячным рационом продовольствия и фуража. По окончании работы офицеры отнесли белой экземпляр командующему, который поспешил на прием к регентше. Анна Леопольдовна ознакомилась с бумагой и начертала на полях: «Быть по сему. Анна». Из дворца Ласси либо лично отвез документ принцу Гессен-Гомбургскому, либо отправил с порученцем.

На следующее утро принц Людвиг разослал вестовых по полкам, приглашая к себе дежурных командиров. Тогда же дежурный майор Степан Федорович Апраксин отдал распоряжение по Семеновскому полку: «...завтрешнего числа на караул в Зимней Его Императорского Величества дом» определены «капитан-порутчик Рудаков, порутчик князь Несвижской, подпорутчики, при гранодерах Пуцин, при мушкетерах Протопопов, прапорщик Приклонской...»

Двадцать четвертое ноября — первый день охраны царской резиденции семеновцами. Возглавлял наряд капитан Петр Васильевич Чаадаев. Смена начиналась всегда в семь утра и продолжалась ровно сутки. Но если семеновцу подменить преобращенца в ночь на 24-е было невозможно, неловко, то семеновцу пропустить вперед однополчанина в ночь на 25-е очень легко. Похоже, Рудаков обладал более высоким авторитетом, чем Чаадаев, и его приказ сдать пост солдату другого гвардейского полка любой семеновец выполнил бы безоговорочно.

Ближе к полудню 24 ноября гвардейские штаб-офицеры съехались к Гессен-Гомбургскому, чтобы услышать: «Его Императорское Высочество... герцог Брауншвейг Люнебургски соизволил объявить, чтоб все чины были к

походу во всякой готовности. Того ради донести господам афицерам, [чтоб] в ротах своих изволили приказать ундер-афицерам, салдатам и другим чинам, дабы оные х походу были во всякой готовности. А для того походу заготовить на людей правянту, сухарей, на две недели. И когда тот поход объявлен будет, тоб никто в неисправности к тому походу не мог отговариватца...»

Итак, по одному распоряжению в поход должны выступить две тысячи гвардейцев с месячным рационом, по другому — «все чины» с двухнедельным запасом провизии. И к тому же неизвестно, когда будет объявлен поход. Как должны отреагировать гвардейцы? Безусловно, возроптать. Вот тут и потребуются агитаторы для преобразования недовольства в праведный гнев и «всякую готовность» отомстить самодуру-генералиссимусу, совсем не заботящемуся о подчиненных. Как мы знаем, «агитбригада» сформировалась в Преображенском полку, а потому и брожение переросло в выступление только у преображенцев. Стоило в полковой канцелярии записать под номером пятым процитированное повеление, команда Юрия Грюнштейна мгновенно приступила к склонению сослуживцев к восстанию в пользу дочери Петра, тоже много пострадавшей от таких же, как отец императора, немцев. К вечеру цель была достигнута: на импровизированном митинге в недавно построенной полковой слободе за Литейной улицей отпраздновавшие новоселье гренадеры и часть мушкетеров с воодушевлением проголосовали за возведение цесаревны на престол. Потом избрали депутацию, немедленно отправившуюся в район Красного канала.

Тем временем Елизавета Петровна, постоянно отслеживая вести из преображенских казарм, дважды отсылала Лестока к Шетарди. Проживал посол в доме А. Р. Брюса на углу Миллионной и Большой Луговой улиц, напротив Зимнего дворца. Во время второго визита, поздним вечером, по ходу дискуссии о финансировании и дате низложения регентши (маркиз порекомендовал 11 или 12 января 1742 года) врач расхаживал по комнате и периодически останавливался возле окна. Около полуночи, в очередной раз выглянув наружу, гость вдруг быстро откланялся и покинул квартиру. Шетарди, на другой день описавший эту встречу в реляции, вряд ли догадывался, зачем все-таки приезжало к нему «доверенное лицо» с одобрением того, что никто и не думал исполнять. Но смысл посещения становится ясен, если предположить, что доктор не столько беседовал с Шетарди, сколько ожидал условного сигнала из Зимнего дворца о замене Чаадаева Рудаковым. Едва часы пробили полночь, Лесток устремился на набережную Красного канала. О намерении гостя французского посла в

полуночный час связаться с «лазутчиками» из царского дворца обмолвился в своей краткой истории дома Романовых (1767) пастор А. Ф. Бюшинг, встречавшийся со многими участниками и очевидцами событий.

Между тем во дворце близ Царицына луга Елизавета Петровна успела и пообщаться с семью гвардейскими депутатами, и якобы неохотно смириться с волей преображенцев, и приказать заложить сани, чтобы мчаться к преображенским «светлицам». Не хватало лишь Лестока. С приездом эскулапа нервное напряжение спало. Все готовы, пора начинать. Хрестоматийные легенды (о двух изображениях на выбор — монахини и царицы, о данной перед иконами клятве упразднить смертную казнь) — не миф, а преднамеренный вымысел участников событий. Накануне судьбоносной ночи никто никого не пугал и с Богом не торговался, молитвы же имели место, как обычно в таких случаях.

В первом часу пополуночи цесаревна, Лесток, музыкант Христофор Шварц, камер-юнкер Михаил Воронцов в сопровождении солдат устремились к казармам Преображенского полка. По прибытии Елизавету окружила толпа вооруженных людей, рвущихся поквитаться со всеми супостатами. Их надлежало успокоить и убедить разойтись по домам, ибо число счастливых, которым доведется идти с дочерью Петра, стоило ограничить тремя сотнями — ими управлять легче, чем тысячей, да и для осуществления задуманного предприятия не требовалось многолюдство. Можно подивиться предусмотрительности Елизаветы: она лично возглавила акцию, рассчитала оптимальный размер штурмовой группы, придумала, как никого не обидеть при формировании отряда. Полк имел 16 фузелерных рот, одну гренадерскую и одну бомбардирскую (в последней числилось менее сотни штыков). Именно grenадеры составили три четверти преторианского отряда. Наконец, дочь Петра позаботилась и о том, чтобы остудить пыл своих сторонников: призвала обойтись без жестоких расправ и кровопролития, поклялась на кресте умереть за каждого и услышала ответные клятвы солдат.

Во втором часу ночи колонна гвардейцев тронулась в путь к «Невской першпективе». По дороге разослали небольшие команды для ареста приверженцев брауншвейгской четы — Головкина, Остермана, Левенвольде, генерал-кригскомиссара флота Лопухина, президента Коммерц-коллегии Менгдена и... Миниха, виновника опалы Бирона. С Невского основная группа свернула на Большую Луговую улицу и мимо Адмиралтейского луга через две-три минуты вышла к южному крыльцу Зимнего дворца. Хотя Шетарди и доносил в Париж, что отряд никуда не сворачивал, дошагав по проспекту вплоть до валов и рвов Адмиралтейства,

метрдотель посла в письме дочери поведал, что его самого в два часа ночи отвлек от разбора диппочты шум за окнами и даже стук в них — это двигались гренадеры во главе с Елизаветой Петровной. Но если бы гвардейцы приблизились к цели со стороны Адмиралтейства, француз вряд ли что-либо услышал бы. Преображенцы спустились к царской резиденции именно по Большой Луговой, свернули налево и через четверть часа взошли на дворцовое крыльцо, что и увидел осмелевший иноземец, подошедший к окну с двумя пистолетами в руках.

Похоже, Рудаков в ту пору прохаживался возле часовых и, узрев в темноте людей в мундирах, тотчас велел подчиненным не преграждать им проход внутрь дворца. Посты повсюду просто удваивались, а сменялись разве что на главном маршруте, ведущем к спальне Анны Леопольдовны. Тут распорядился сам капитан-поручик; Несвицкий, Пущин, Протопопов и Приклонский командовали на второстепенных направлениях. Спальня располагалась на втором этаже. В ней застали и правительницу с мужем, и годовалого императора, и его крошечную сестренку. Регентша так и не сообразила, что лучший вариант урегулирования династического кризиса — добровольное отречение от власти в пользу двоюродной тетки, и в итоге обрекла и себя, и родных на годы мытарств в ссылке, а первенца — на мучительное взросление в Шлиссельбургской крепости и гибель в 23 года от рук охранников.

Впрочем, пока Елизавета Петровна надеялась уладить и эту проблему не в ущерб чьей-либо свободе. Арестантов отвезли в санях не в Петропавловскую крепость, а во дворец у Красного канала, куда чуть позже вернулась и сама героиня дня. Здесь она принимала поздравления и от сановников, и от гвардии, и от гарнизонных полков, и от разночинного народа, запрудившего набережную, близлежащие переулки и большую часть Миллионной улицы. Ликование петербуржцев описал в мемуарах Яков Петрович Шаховской. Даже по прошествии четверти века, на седьмом десятке, князь живо помнил мельчайшие детали исторического момента: стужу, огни костров, разожженных для согрева, шеренги солдат, бутылки вина, страшную тесноту и здравицы в честь «нашей матушки императрицы Елисавет Петровны»^{24}.

Но дочь Петра Великого брала власть как регентша, а не императрица. Всё надлежало оформить законным порядком. Отсюда и два манифеста, до сих пор изумляющие историков. Первый, от 25 ноября, констатировал ущербность государственного управления при младенце-императоре, осуществлявшегося «через разные персоны и разными образами» и ввергавшего страну в хаос нескончаемых «беспокойств» и «разорений».

Иными словами, манифест признавал политическую систему, учрежденную в октябре 1740 года, «ненадежным наследством». Опираясь на право регента «изобрать и утвердить» «сукцессора» и уйти в отставку, Елизавета Петровна обнародовала 28 ноября второй манифест, коим упразднила дискредитированную структуру и «изобрала» нового «сукцессора», введя в действие завещание Екатерины I. По нему правом короноваться в Москве обладал герцог Гольштейн-Готторпский Карл Петер Ульрих, сын цесаревны Анны Петровны. Однако в документе имелось примечание, запрещающее передавать трон наследнику, «которой не греческого закона или кто уже другую корону имеет». В ноябре 1741 года племянник Елизаветы был протестантом, да и корону — герцогскую — тоже имел, следовательно, преемником быть не мог. Чье имя стояло в завещании следующим? Цесаревны Елизаветы Петровны, с 25 ноября 1741 года регентши Российской империи, православной, не имевшей короны, то есть соответствовавшей всем условиям «тестаментата». Посему 28 ноября она и преобразилась в законную российскую императрицу^{25}.

И Шетарди, и гостивший в Санкт-Петербурге с июля 1741 года брат Антона Ульриха Людвиг Эрнст Брауншвейгский, и его секретарь Мартин Хенекен в депешах и дневнике отметили самоотверженность командира караула, безвестного «офицера», «капитана», не покорившегося грубой силе гренадеров и угодившего под арест. Между тем утром 25 ноября С. Ф. Апраксин назвал тех, кто заступал на караул в Зимний дворец утром 26-го. Как ни странно, в нарушение обычного порядка один из предыдущей пятерки задержался в царских палатах, а именно Иван Никифорович Рудаков. Мало того, он вновь, вне очереди, заступил на дежурство в качестве командира караула 5 декабря, а потом 16-го, причем во второй раз заменив уже вышедшего на службу капитан-поручика Цызырева. Разумеется, в день рождения Елизаветы Петровны, 18 декабря, без Рудакова тоже не обошлись. Правда, оскорблять недоверием измайловцев не рискнули, и они, по обыкновению, отстояли положенные три дня (17, 18, 19 декабря). Рудаков на праздник курировал караулы негласно, командуя утром, когда знатные особы съезжались для поздравления государыни, третьей ротой Семеновского полка, неспешно собиравшей по дворцовым помещениям знамена, а вечером, во время бала и фейерверка, — сводным противопожарным отрядом из ста человек.

Иван Никифорович Рудаков регулярно возглавлял дворцовую охрану в чине капитан-поручика, а затем капитана. Императрица умышленно не присваивала штаб-офицеру более высокий ранг, чтобы тот не утратил право на командование караулами. По старости на покой его уволили армейским

полковником 20 сентября 1755 года, а 25 декабря повысили до бригадира и назначили пенсию в размере оклада гвардейского капитана. Присягнув в новом звании 2 января 1756 года, Иван Никифорович отправился на родину, под Брянск, в сельцо Перико-во Карачевского уезда^{26}.

Часть вторая

ИМПЕРАТРИЦА



Глава первая

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В два часа пополудни 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна «при радостном восклицании... народа» переехала из резиденции у Красного канала в Зимний дворец. Здесь был обнародован первый манифест о принятии ею отцовского престола и отслужен благодарственный молебен. Новая хозяйка дворца приняла поздравления и произвела первое награждение — Анастасии Ивановны Гессен-Гомбургской орденом Святой Екатерины (нетрудно догадаться, за какие заслуги). На следующий день начались будни, а с ними возникла и задача формирования эффективной структуры власти.

Если прежде реорганизация правительства (Верховного тайного совета, Кабинета министров) зависела от придворных интриг, столкновения амбиций, то теперь всё решали интересы дела, как бы непривычно ни звучало это утверждение. Чтобы убедиться в его правоте, достаточно непредвзято рассмотреть сенатскую реформу, объявленную 12 декабря. Императрица не просто восстановила систему центрального управления, существовавшую при ее бабушке, а наметила контуры поэтапной трансформации старой системы в новую, дотоле еще не опробованную в России, а возможно, и в Европе.

Что такое Сенат Петра I? Аналог политбюро партии большевиков при Ленине: можно свободно обсуждать проблемы, но в духе генерального курса, который исповедует вождь, а выход за его рамки чреват наказанием. Сенат Елизаветы Петровны можно сравнить с тем же политбюро, но периода середины 1920-х годов, когда решения принимались большинством голосов, а мнение лидера минимально сковывало младших коллег. Кстати, лидером елизаветинского Сената являлась вовсе не царица, а один из членов (с конца 1740-х годов — Петр Иванович Шувалов), и функции органа были не совещательные, а распорядительные. Более того, сенаторы самостоятельно решали любые вопросы экономического характера и... только экономического. В этом ключевое отличие елизаветинского Сената от петровского: он не был универсален, а являл собой один из блоков властной пирамиды. Сфера его компетенции строго ограничивалась российским хозяйством — финансами, налогами, кадрами младшего и среднего звена, учетом земель, торговлей, мануфактурами, распределением ресурсов под те или иные проекты.

Другие сферы — военную, морскую, дипломатическую, полицейскую, государственной безопасности, медицинскую и культурную — предполагалось сгруппировать в особый блок, подчиненный напрямую императрице. В декабрьском указе его формирование было лишь намечено — из подчинения Сенату выведена Иностранная коллегия. В середине декабря 1741 года появился и зародыш будущего квазипарламента — Императорского совета: совещание членов Иностранной коллегии с привлечением двух посторонних персон — адмирала Н. Ф. Головина и обер-штаб-лейб-медика А. Б. Куракина. Наконец, документ декларировал возрождение существовавшего в 1704–1727 годах императорского Кабинета — личной канцелярии государыни во главе с кабинет-секретарем Иваном Антоновичем Черкасовым. Елизаветинский Кабинет отличался от петровского тем, что не был ограничен налаживанием делопроизводства, а мог брать на себя самые разные функции — и фельдъегерской службы, и банковской конторы, и следственного комитета, и даже научно-исследовательского центра.

Новая властная модель возникла быстро. Императорский совет отпочковался от Иностранной коллегии уже в январе 1742 года. Прения устраивались не в апартаментах внешнеполитического ведомства, а либо в царском дворце, либо на дому у одного из министров. Приглашались от восьми до двадцати особ по соизволению императрицы. Повестка дня обыкновенно касалась международных отношений. Внутренние дела дебатировались в ином формате — на межведомственных совещаниях. Каждую дискуссию венчал протокол, фиксирующий окончательный вердикт, подписанный всеми участниками и подносившийся государыне для сведения или «апробации». В подобном полуофициальном статусе орган просуществовал 14 лет и был узаконен в марте 1756 года под названием Конференции при высочайшем дворе.

Практика еженедельных встреч Елизаветы Петровны с президентами Военной, Адмиралтейской, Иностранной коллегий, Тайной, Медицинской и Генерал-полицмейстерской канцелярий вошла в обычай тоже в 1742 году. Кроме них этой привилегии удостоились генерал-прокурор Сената (куратор экономического блока) и обер-прокурор Синода. Государыня выводила «силовые» ведомства из-под контроля сенаторов с крайней осторожностью. На первых порах мера выглядела как временная, необходимая для оперативного управления на период войны со Швецией. Даже о переключении на себя Иностранной коллегии дочь Петра известила публику двусмысленной фразой. «Мнение свое... доносить нам на апробацию нашу» предписывалось не самой коллегии, а заседавшей в ее

рамках «по иностранным делам конференции». Тем самым создавалась возможность для маневра: царица могла как подтвердить, так и опровергнуть факт вывода иностранных дел из-под опеки Сената.

Поскольку сенаторы не возроптали во всеуслышание, императрица продолжила в том же духе. 29 ноября 1743 года «свободу» — опять же завуалированно — обрела Тайная канцелярия. Елизавета Петровна запретила А. И. Ушакову рассылать «известия и справки» в Сенат, Синод, ее собственный Кабинет без высочайшей санкции.

Первого мая 1746 года очередь дошла до Главной полиции, которую царица избавила от «повелительных указов» Сената, ссылаясь на то, что Петр Великий лично написал инструкцию для первого генерал-полицмейстера А. М. Девиера, а посему и «пополнения» к ней тоже должны исходить от монархини, а не от сенаторов. Боевые коллегии — Военная и Адмиралтейская — формально вышли из-под сенатского контроля 5 августа 1747 года, когда государыня воспретила отсылать копии секретных указов в Сенат и «прочия места». Медицинская канцелярия перешла в подчинение дочери Петра не менее оригинально. 6 декабря 1748 года в указе о назначении Германа Каау-Бургава лейб-медиком и директором канцелярии появился постскрипtum: «Он в единственном нашем ведении состоять и прямо от наших повеленей зависеть имеет». О какой из двух его ипостасей — лейб-медика или директора — шла речь? Трактуй, как хочешь... Аналогичный неоднозначный постскрипtum содержался и в указе от 8 марта 1754 года о пожаловании в лейб-медики Павла Кондоиди, с октября 1753-го занимавшего пост директора Медицинской канцелярии.

Наконец, 12 января 1755 года Елизавета Петровна сформировала орган управления Императорским Московским университетом из двух кураторов, который впоследствии могла преобразовать в коллегию. Но создание системы народного образования не было завершено, а потому Иван Иванович Шувалов, фактический «министр культуры» с 1750 года, официально числился университетским куратором^{27}.

Сенат потерял влияние на центральные ведомства государства, зато обзавелся правом в рамках действующего законодательства, и даже используя пробелы в нем, управлять всей экономикой империи без оглядки на царицу. Ему напрямую подчинялись: коллегии — Камер- (сбор налогов), Штатс- (бюджет), Коммерц- (контроль над внешней торговлей), Берг- (курурование разработки недр и литейного производства), Мануфактур- (руководство предприятиями легкой промышленности), Вотчинная (учет земель), Юстиц- (судопроизводство), Ревизион- (инспекции), Экономии

(церковное имущество); несколько канцелярий (Ямская, Монетная, Конфискации, от строений), контор (Раскольническая, Соляная, Герольдмейстерская) и приказов (Судный, Сыскной, Сибирский). Из перечня видно, что забот у сенаторов вполне хватало и после изъятия из их ведения шести престижных коллегий.

Между тем благодаря описанной реформе Елизавета Петровна добилась максимальной оптимизации системы государственного управления за счет колоссальной экономии времени. За повседневную рутину отныне отвечал Сенат, плюсы и минусы международной конъюнктуры взвешивал Императорский совет, Кабинет наводил справки, вел всю переписку императрицы, выполнял разные деликатные миссии и смело брался за рискованные экономические эксперименты, на которые сенаторы не отваживались или просто не верили в их успех. В итоге государыня могла, не отвлекаясь, целиком сосредоточиться на обдумывании проблем первостепенных, важных или спорных, то есть заняться любимым делом, о котором мечтала в юности и ради которого рвалась к престолу еще в 1727 году.

Отметим: бал, охота или светская болтовня — вовсе не помеха размышлениям. Оригинальная идея всегда приходит в голову неожиданно, и подсказать ее может что угодно. Не случайно в правление дочери Петра рамки свободы слова раздвинулись как никогда. В отличие от Анны Иоанновны Елизавета Петровна не боялась критики, потому что в тирадах скептика нет-нет да и проскальзывало какое-нибудь рациональное зерно, а чья-либо строптивость свидетельствовала о том, что предварительные расчеты государственных мужей нуждаются в корректировке.

Два десятка книг из библиотеки Елизаветы освещали историю Франции, из них больше половины подробно разбирали правление двух королей XVII века — Людовика XIII и Людовика XIV. Несомненно, наша героиня сравнивала их. А кого же сочла достойным подражания? Нет, не «короля-солнце», а его отца! Она обратила внимание на эффективность тандема пассивного монарха и активного первого министра. Второго все боялись, ненавидели и желали погубить, первого же презирали, жалели и... не трогали. На Людовика XIII, терпимого к протестантам, никто не покушался, хотя два предыдущих короля были пронзены кинжалами католиков. Грозу от Людовика отвел на себя Ришелье, которого пытались убить несчетное количество раз. Не правда ли, министр-«громоотвод» — неплохое «лекарство» против интриг дипломатов, потенциальных наследников и партийных фанатиков?

И для России вполне пригодное! Причем кандидата на роль русского

Ришелье Елизавета подыскала заранее. Эрнст Иоганн Бирон справился бы с ней блестяще, кабы дуэту сопутствовала удача. Но импровизация Миниха спутала все карты. Конечно, по восшествии на престол царица амнистировала герцога, вернула из Сибири, поселила с семьей в Ярославле за казенный счет, позаботилась об охране и обслуживающем персонале. Вот только реабилитировать даже не пробовала — слишком ненавидели курляндца в русском обществе. Даже проживание в столицах ему не рекомендовалось ради собственной же безопасности.

В общем, Елизавета Петровна огляделась вокруг в поисках подходящей кандидатуры и остановила взор на Алексее Петровиче Бестужева-Рюмине, 12 декабря 1741 года пожаловав его в вице-канцлеры. «Испытательный срок» длился до декабря 1742-го. Именно тогда Иоганн Лесток, первый лейб-медик императрицы, вдруг обнаружил, что встречи государыни с Бестужевым участились, как и высочайшие резолюции, солидарные с мнением нового министра иностранных дел (канцлер А. М. Черкасский скончался 4 ноября 1742 года).

Лесток, годом ранее хлопотавший за Бестужева, возмутился неблагодарностью вице-канцлера и открыто осудил бывшего протезе. Личный конфликт стремительно приобрел черты межпартийного, ибо доктор питал слабость к Франции, а дипломат — к Англии. Елизавета Петровна не преминула воспользоваться распрей, направив ее в конструктивное русло. В Императорском совете они заспорили об условиях мира со Швецией, поневоле расколов членов собрания на тех, кто выступал за серьезные уступки (друзья Лестока), и тех, кто был против (друзья Бестужева). К лету 1743 года формирование двух фракций — профранцузской и проанглийской — завершилось, а вместе с ним завершилось и становление политической системы дочери Петра Великого.

Дипломатический корпус и придворная среда заглотнули наживку императрицы — поверили во всемогущество Бестужева; одни принялись валить упрямого старика, другие защищать. Посланники Франции, Швеции и Пруссии содействовали Пестоку, а английский, голландский, австрийский, саксонский и датский дипломаты — Бестужеву. Семейства Трубецких, Румянцевых, Голицыных, Долгоруковых сочувствовали лейб-медику. Бутурлины, Апраксины, Юсуповы, Одоевские, Куракины, Чернышевы симпатизировали вице-канцлеру. Хотя отечественные источники (записки Шаховского, Нащокина, Неплюева, Ханенко) о фракционной борьбе не распространяются (один М. М. Щербатов вспомнил, что Бестужев и Апраксин «сочинили партию при дворе, противную» Н. Ю. Трубецкому), реляции иностранцев (француза д'Альона,

пруссаков Мардефельда и Финкенштейна, англичан Уича, Тираули и Гиндфорда, саксонца Петцольда) с лихвой восполняют молчание россиян. Судя по ним, всех волновал единственный вопрос: прочны ли позиции Бестужева, устоит ли он? Так продолжалось до опалы министра в феврале 1758 года.

Но та же корреспонденция свидетельствует и о другом: мнением самой императрицы интересовались мало, ибо царило убеждение, что Бестужеву нетрудно «заставить государыню всё исполнить, что ему угодно, и всякий, кто преуспеть хочет в делах, через него действовать должен» (Финкенштейн), «что в империи нет человека, о котором императрица имела бы более высокое мнение» (лорд Тираули). Иными словами, повторилась история с Ришелье. Для изменения внешней политики России нужно убрать первого министра, а не императрицу! Она — флюгер, куда министр «подует», туда и повернется. В итоге Елизавета Петровна достигла того, чего хотела: превратившись из мишени в арбитра, разом нейтрализовала подавляющее большинство заговоров против себя как внутри страны, так и извне^{28}.

Правда, сообщения дипломатов сыграли злую шутку с ней самой. Первые биографы государыни черпали сведения прежде всего из откровений иноземцев, а те единодушно признали главу империи легкомысленной, ленивой, нерадивой и неспособной к систематическому труду. Екатерина II, М. М. Щербатов и иже с ними, близко не знавшие дочь Петра, подтвердили мнение дипломатов. Так сообщая и заложили традицию характеризовать третью русскую императрицу капризной барыней на троне. Между тем есть документы, сей аттестации противоречащие, а именно «Дневник докладов Коллегии Иностранных дел» за 1742–1754 годы и переписка соратников императрицы. Они отразили подлинное отношение Елизаветы Петровны к государственным делам. Оказывается, она регулярно прочитывала важнейшую корреспонденцию, которую Бестужев и другие «силовики» либо подавали сами на приемах, либо пересылали через кабинет-секретаря Черкасова. В случае надобности императрица реагировала мгновенно, делая распоряжения либо устно, непосредственно во время аудиенции, либо через Черкасова и его помощников.

Корреспонденцию она не просто пробежала глазами, а внимательно изучала, взяв за правило подписывать проект важного акта не сразу, а как минимум на следующее утро, на свежую голову. Встреч с соратниками несколько не избегала, наоборот, часто сама вызывала их к себе. Проходили эти аудиенции по-деловому. Докладчик всегда имел право на возражения, которые императрица не всегда отвергала. Обычное их время — десятый-

одиннадцатый час утра. Красочно описанные застолья до рассвета — всего лишь еще один миф.

Режим дня императрицы легко установить по журналу дежурных генерал-адъютантов и приказам по гренадерской роте Преображенского полка (с 31 декабря 1741 года — Лейб-компани). В журнале фиксировалось время, когда били зорю и прекращался проезд мимо дворца любых экипажей, в приказах — график перемещения пикетов у высочайших покоев. По их свидетельству, Елизавета просыпалась не около полудня, как обычно пишут, а часов в восемь утра. Спать ложилась по-разному: и сразу после полуночи, и часа в два ночи. Почивала и днем, от двух до пяти пополудни. Именно тогда солдаты перегораживали тумбами с веревками Миллионную улицу у крыльца Зимнего дворца и у валов Адмиралтейства, дабы громыхание карет и колясок не мешало послеобеденному отдыху государыни. В ночную пору поступали так же.

Впрочем, оригинальность стиля управления дочери Петра не ограничивается вышеизложенным. Она же придумала, как ставить на высокие должности особ «никакой породы» без особого недовольства знати. Если хундордных, но грамотных людей подолгу держать временно исполняющими обязанности, то окружающие постепенно привыкнут к положению, какое те занимают, и спокойнее воспримут их официальное утверждение в должности. В крайнем случае можно, не утверждая, де-факто сохранять за человеком административные полномочия. Списки президентов и главных командиров коллегий и канцелярий, губернаторов Елизаветинской эпохи поражают обилием лакун между правлением официальных глав учреждений и территорий. Объясняется данный феномен не ленью царицы, а нормой: пока пост президента (губернатора) или вице-президента (вице-губернатора) вакантен, дела вершит один из старших членов коллегии в ранге коллежского советника или губернаторского товарища, а то и просто асессора.

В том, что это был излюбленный метод Елизаветы Петровны, можно убедиться, подсчитав, сколько официальных и фактических командиров руководило при ней тремя главными коллегиями — Военной, Адмиралтейской, Иностранной. Вот список по первой из них: президент В. В. Долгоруков (1741–1746), первоприсутствующий С. Ф. Апраксин (1746–1756), первоприсутствующий П. С. Сумароков (1756–1759), первоприсутствующий В. И. Суворов (1759–1760), первоприсутствующий С. Ю. Караулов (апрель— май 1760), первоприсутствующий И. И. Костюрин (май — август 1760), президент Н. Ю. Трубецкой (1760–1761). Лишь один руководитель Адмиралтейств-коллегии, Н. Ф. Головин (1732–

1744), всё время был в статусе президента, затем на правах рядового члена ею командовал князь М. А. Белосельский, которому в сентябре 1747 года присвоили чин генерал-кригскомиссара флота, еще в конце правления Анны Иоанновны приравненный к вице-президентскому. В апреле 1749 года, будучи «над флотом главным командиром», коллегия возглавил, не являясь ее членом, адмирал М. М. Голицын, и только год спустя императрица назначила его президентом.

В ведомстве иностранных дел тоже не обошлось без коллизий. Вначале всё шло обычным порядком: канцлер А. М. Черкасский (1740–1742), после него — вице-канцлер (с июля 1744 года — канцлер) Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. И вдруг в июле 1756 года при здравствующем канцлере бразды правления де-факто были отданы вице-канцлеру М. И. Воронцову, который продолжал председательствовать в коллегии до 1761 года (с ноября 1758-го в ранге канцлера), а Бестужев полтора года, вплоть до ареста в феврале 1758-го, являлся таким зицпредседателем^{29}.

Подобная система имела один недостаток — она провоцировала честолюбцев в штаб-офицерских чинах, опираясь на принцип коллегиальности управления, явочным порядком отстранять от власти министров из числа генералитета. Первым на дерзкую акцию отважился асессор Коммерц-коллегии Алексей Алексеевич Красовский. В молодости подьячий в разных канцеляриях и коллегиях, по воцарении Анны Иоанновны он удостоился покровительства князя А. М. Черкасского, секретарствовал при нем, затем служил в Соляной конторе, с 1739 года — в Коммерц-коллегии, в 1740-м — в Сенате, с февраля 1741-го — вновь в Коммерц-коллегии. Тогда же ему пожаловали чин коллежского асессора. Несколько лет он работал в московской конторе Коммерц-коллегии. В феврале 1745 года Красовский переехал в Санкт-Петербург в статусе члена коллегии — и почти сразу принялся возражать, часто и подчас неоправданно, своим непосредственным шефам — президенту князю Б. Г. Юсупову и вице-президенту Я. М. Евреинову.

Императрице, похоже, импонировала оппозиционность протее Черкасского, раз асессора никто не одергивал, а руководящий дуэт стоически терпел безудержную критику из уст младшего товарища. Однако Красовский, видно, истолковал августейшее молчание как карт-бланш и осмелился на оттеснение руководителей коллегии от реальных дел. Предлогом для атаки на них стало дело браковщиков пеньки и льна Моисея Зетилова и Алексея Веленина, надзиравших за качеством товара в столичном порту. Те совсем рассорились с купцами, как российскими, так и иностранными, экспортировавшими ценящуюся за морем продукцию

через Санкт-Петербург. Негоцианты пожаловались Юсупову и Евреинову, грозя перевести торговлю в другие порты. Президент решил удовлетворить просьбу купечества и 8 июня 1748 года поставил вопрос об увольнении нерадивых браковщиков на голосование. Неожиданно Красовский опротестовал предложение князя и был поддержан советниками С. П. Долгоруковым и И. И. Раушертом. Оставшись в меньшинстве, Юсупов и Евреинов подали апелляцию в Сенат, который обязал коллегия еще раз обсудить степень вины Зетилова и Веленина. 22 июня 1748 года всё повторилось, и только отсутствие на заседании Раушера позволило победить точке зрения руководства коллегии, при равенстве голосов имевшего преимущество.

Впрочем, поражение не остудило пыл Красовского. Он оформил протокол неудачного заседания, внес в документ «разсуждения» не участвовавшего в нем Раушера, вдобавок с нарушением регламента — у себя дома и без ведома секретаря коллегии. В итоге возникла необходимость третьего голосования. Юсупов с Евреиновым узнали об этом 11 июля и, не имея сил перебороть настырного асессора, поспешили доложить о коллизии императрице. Интриганство Красовского возмутило государыню до крайности, и 16 июля она повелела уволить двух плутов-браковщиков и предприимчивого асессора. Судьба Красовского — он три года просидел в кадровом резерве и в июне 1751-го получил полную отставку без обыкновенного повышения в чине — послужила для многих уроком. По крайней мере, более никто не осмеливался развязывать в какой-либо коллегии открытую фракционную борьбу, хотя критика в адрес начальства по-прежнему не возбранялась и даже поощрялась. И яркое тому подтверждение — судьба Василия Васильевича Неронова, неуживчивого советника Конюшенной и Монетной канцелярий, не стеснявшегося публично обличать, а порой и оскорблять главных командиров П. С. Сумарокова и И. А. Шлаттера. Те пробовали найти на него управу, но без особого успеха. Елизавета Петровна фрондера в обиду не давала, а в августе 1760 года и вовсе щедро наградила, назначив астраханским губернатором.

Другой правдолюб Яков Петрович Шаховской и его товарищ по несчастью Иван Иванович Неплюев тоже едва не угодили в опалу, запятнав себя дружбой с врагами Елизаветы Петровны: первый сблизился с М. Г. Головкиным, второй поддерживал отношения с Остерманом. Последний приложил все усилия, чтобы его приятель был назначен в напарники к Ушакову, в очередь с ним допрашивал Волынского и других арестантов и старался, чтобы глава Тайной канцелярии пытками и шантажом не

принудил кого-либо из них к клевете на недругов Бирона.

Неплюеву и Шаховскому повезло — за обоих перед Елизаветой вступился Н. Ю. Трубецкой. Однако если Ивану Ивановичу досталась почетная ссылка — командование Оренбургской экспедицией, то расставаться с Яковом Петровичем императрица не спешила. Причина тому — репутация князя как кристально честного, неподкупного и искреннего человека. А она крайне нуждалась в таком.

В последний день 1741 года по ходатайству генерал-прокурора Елизавета Петровна назначила Шаховского обер-прокурором Синода, вначале без права прямого доклада. Прежде чем пожаловать князю эту привилегию, государыня устроила ему экзамен, причем очень жестокий: повелела проводить в ссылку Остермана, Левенвольде, Миниха, Менгдена, Яковлева, Тимирязева и... его прежнего патрона Головкина. Гражданская казнь над ними была совершена утром 18 января 1742 года, а на следующую ночь Шаховской всех отправил — строго по инструкции, не переусердствовав, выслуживаясь перед новой властью, за что вскоре и удостоился права, которым обладали «силовики» и генерал-прокурор: отныне он мог лично докладывать государыне о настроениях высшего духовенства и ситуации в Церкви. Тем самым Яков Петрович сделался министром по особым поручениям. Первой его миссией стало ограждение набожной императрицы от ошибок во взаимоотношениях с православными архиереями, второй, в 1753 году — минимизация воровства при снабжении амуницией и продовольствием армии, готовившейся к войне с Пруссией, третьей, в 1760-м — недопущение абсолютного господства в Сенате П. И. Шувалова. И во всех трех случаях честный вельможа полностью оправдал высочайшее доверие^{30}.

Глава вторая

АБОСКИЙ МИР

Первой и самой важной внешнеполитической проблемой, которую предстояло урегулировать Елизавете Петровне после восшествия на престол, несомненно, являлась Русско-шведская война. Несмотря на серьезное поражение при Вильманстранде, Стокгольм по-прежнему надеялся добиться пересмотра Ништадтского трактата (1721). Хотя население Швеции тяготилось войной, дипломатическая и финансовая помощь Франции, заинтересованной в отвлечении России от разгоравшегося на континенте конфликта из-за австрийского наследства, возможность заключения новых союзов, в первую очередь с Данией, политическая нестабильность в Петербурге и по-прежнему вполне боеспособные армия и флот позволяли шведскому правительству рассчитывать на успех. Немалую долю оптимизма ему прибавляло и знание о тесных контактах, даже дружбе французского посла при русском дворе маркиза Шетарди с новой русской императрицей.

Посему нет ничего удивительного в том, что, когда отпущенный из плена капитан Дидрон привез с берегов Невы новость о дворцовом перевороте и желании русских начать мирные переговоры, шведский двор 11 января 1742 года через Шетарди уведомил царицу о своих требованиях, поддержанных французским королем: ради мира Россия должна пойти на территориальные уступки — как минимум отдать Выборг и Кексгольм. Елизавета, естественно, данный неприемлемый ультиматум отклонила^[31].

Однако отказ означал продолжение военных действий. Между тем ситуация складывалась тупиковая. Чтобы быстро и без потерь положить конец войне, Елизавете надлежало, во-первых, как-то нейтрализовать дипломатическое преимущество шведов, продемонстрировав им неэффективность упования на альянс с франко-прусским лагерем; во-вторых, превратить соперника из равного в военном отношении в более слабого, причем не просто победить врага в очередном сражении, а начисто деморализовать его, обратить все ресурсы, собранные против России — человеческие, технические, денежные, — в ничто и тем самым убедить шведский сенат, возглавляемый канцлером К. Гилленбургом, в бесперспективности продолжения войны и предпочтительности подписания мира с русскими на условиях статус-кво. Утопичная на первый

взгляд задача, как выяснилось, имела решение. Императрица обнаружила заложенную в шведской военной машине спасительную «мину» и в нужный момент «взорвала» ее.

Двадцать первого февраля 1742 года Елизавета Петровна распорядилась прекратить перемирие и через неделю возобновить боевые операции, «дабы оной неприятель к прямому желаемаго мира склонению принужден быть мог». Правда, в указах главнокомандующему Петру Петровичу Ласси и командирам трех корпусов русской армии (Джеймсу Кейту в Выборге, Виллиму Фермору в Кексгольме и Христиану Киндерману в Олонце) речь шла о ведении боев местного значения — «поисках» малыми отрядами в приграничной зоне. Царица сознательно создавала впечатление отсутствия у нее конкретного плана на летнюю кампанию, чтобы никто из ее ближайших друзей (Шетарди, Лесток и др.) вольно или невольно не предупредил о нем шведов.

Костяк шведского войска под командованием генерала Карла Левенгаупта состоял из финской (10 полков) и шведской (15 полков) частей. Причем боевой настрой солдат двух наций вовсе не отличался единообразием. Если шведы, пусть и не очень рьяно, мечтали о пересмотре Ништадтского трактата, то финны стремились поскорее вернуться к мирной жизни. На их чаяния и откликнулась российская государыня, намереваясь всемерно поощрять миролюбие финских нижних чинов, автоматически выводя из строя почти половину неприятельского войска и одновременно ослабляя решимость другой его части отчаянно сражаться с русскими. Граф Левенгаупт, памятуя о Вильманстранде, едва ли рискнул бы посылать солдат, охваченных недовольством, на неминуемое поражение. Так что медленная ретирада вглубь Финского княжества и сдача без боя, по крайней мере, Фридрихсгама практически гарантировались. Было очевидно, что новость о легком взятии противником неплохо укрепленного города вызовет в Стокгольме шок и растерянность, которые при получении еще одного известия — об успехе русского оружия в генеральной битве двух флотов — моментально обернутся поголовным разочарованием в политике Гилленбурга. Победить на море царица поручила петровскому «птенцу», советнику Адмиралтейской коллегии Захару Даниловичу Мишукову, 15 февраля 1742 года высочайше пожалованному в вице-адмиралы и назначенному «во флоте командиром». После его успеха канцлер Швеции поневоле согласится с дипломатической инициативой Елизаветы — заключить мирный договор на основе довоенного статус-кво. Впрочем, чтобы Гилленбург не попробовал торпедировать августейший план, тот хранился в строжайшей тайне, судя по всему, даже от Ласси, и

активно маскировался выказываемой императрицей готовностью к любым консультациям со шведами — и напрямую, и через посредников^{32}.

Итак, 25 февраля 1742 года обер-квартирмейстер Шрейдер поспешил из Выборга к Левенгаупту с сообщением о прекращении перемирия. Выслушав курьера, главнокомандующий тут же откомандировал к русскому коллеге парламентаря полковника Лагеркранца в сопровождении капитана де Крепи. 4 марта Ласси отослал обоих в Москву, где они через Шетарди проинформировали русский двор о просьбе шведов продлить перемирие. Елизавета Петровна ответила 8 марта — но не Левенгаупту, а Ласси: «... поступки Ваши, как во отправлении сюда присланного от шведской армии полковника Лагеркранца с шеваляером Крепием, так и в не поступлении на предложенное перемирие всемилоостивейше апробуя, подтверждаем Вам прежней наш о произведени[и] над неприятелем воинских действий и поисков Вам данной указ, яко чрез ревностное оных под Божиским благословением продолжение неприятель иногда к прямой к миру склонности приведен быть может». Государыня фактически санкционировала осуществление важной составляющей генерального замысла — похода на Фридрихсгам, о чем, бесспорно, заранее условилась с фельдмаршалом.

Ласси понял намек правильно. 13 марта нарочный привез пакет в Петербург. Вечером того же дня командующий собрал генералитет и предложил открыть кампанию общим наступлением на Фридрихсгам. Идея была одобрена. А спустя пять дней произошло второе ключевое событие — императрица подписала проект обращения к финской нации:

«Мы при продолжении противу воли нашей... сей кровопролительной войны... запотребно быть рассудили... всем герцогства Финляндского чинам и обывателям чрез сию нашу декларацию и манифест известно учинить...

...ежели они при сей войне себя в тихости и в покое содержат, с своей стороны в военных действиях и произведениях никакого участия не восприимут, ни к каким против нас и войска нашего неприятельским поступкам себя не употребят и ни в чем швецкому войску вспоможение не учинят, но намерение свое, чтоб с нами в соседственной дружбе и мире жить, действительными оказательствами засвидетельствуют, то с нашей стороны не токмо оным чинам и обывателям сего Финляндского герцогства ни в чем никакая обида не учинена и все и каждые при совершенном пользовании и владении своего имени покойно и без наимейшаго утеснения оставлены, також де и всякая протекция и защищение им в том от нас показывана быть имеет».

Венчало манифест торжественное обязательство всемерно помочь финнам, если у них возникнет желание освободиться «от швецкаго подданства» и стать независимым государством, «барьерою и средним отделением» между Швецией и Россией^{33}. Содержание декларации било в самую точку, отвечая насущному интересу жителей четырех финских лансгауптманств (провинций) — Кюменегорско-Нейшлотского на юго-востоке, Нюландско-Тавастгустского на юге, Абоского на юго-западе, Эстерботерского на севере. И «обыватели», и «чины» отреагировали на призыв дочери Петра Великого так, как ожидалось (распространением манифеста в Финляндии по своим каналам занимался секретарь Сената Иван Крок). Население было не прочь пособить чем-либо русским войскам, а в финских полках, подчиненных Левенгаупту, заметно возросло число дезертиров. Шведский генерал вдруг понял, что более не располагает боеспособной армией да к тому же местные жители нелояльны к шведам. Разумеется, в подобных обстоятельствах он не имел ни единого шанса отразить продвижение русских к Гельсингфорсу — разве что на какое-то время задержать его арьергардными стычками и артиллерийскими обстрелами в надежде успеть организовать эвакуацию по морю подчиненных ему частей из фрондирующей Финляндии в родную Швецию.

Именно так и произошло, когда 8 июня Ласси, приехавший в Выборг, повел свои полки вперед, прикрыв их с залива галерной флотилией под командованием генерал-лейтенанта В. Я. Левашева. Поздним вечером 28 июня русская армия остановилась на ночлег у предместий Фридрихсгама. Рытье траншей и устройство батарей отложили до утра. Однако незадолго до полуночи в городе вспыхнул пожар, а еще через четверть часа за крепостной стеной прогремел мощный взрыв, и фельдмаршал, не мешкая, выслал на разведку гусаров. Похоже, командующий не сразу поверил рапорту командира отряда, что шведы покинули город, уничтожив пороховой склад. Но офицер не обманывал — защитники крепости словно испарились!

На следующий день Ласси на радостях снарядил в Москву курьера, гвардии капитан-поручика П. И. Панина. 4 июля офицер примчался в старую столицу и сообщил государыне сенсационную весть об овладении без боя важным укрепленным пунктом. Елизавета Петровна спокойно отнеслась к реляции фельдмаршала — та всего лишь подтвердила точность предварительных расчетов. Теперь ей надлежало целиком сосредоточиться на маневрах Кронштадтской эскадры Мишукова. Фельдмаршала же оставалось снабдить последним приказом — об остановке всей армии на ближайшем к Фридрихсгаму речном рубеже, ибо идти по пятам за

Левенгауптом, выдавливая его из княжества, нельзя: шведы непременно сбегут из Финляндии, и та окажется целиком оккупированной русскими, после чего мирное урегулирование конфликта на паритетном принципе будет сорвано. В таком случае царице придется либо безвозмездно вернуть Швеции завоеванный край и тем настроить против себя патриотическую партию, возведшую ее на престол, либо мобилизовать ресурсы государства для затяжной войны (и не только со Швецией) за присоединение Финского княжества к России или по крайней мере международное признание его суверенитета.

Стараясь не допустить такого развития событий, 5 июля 1742 года самодержица повелела главнокомандующему: по достижении реки Кюмень «через ту реку отнюдь не переправляются, но стоять, чиня по оной розъезды, и по сю сторону той реки поиски... как случай допустит, и Вы за благо разсудите. И какие Вы к тому диспозиции воспримете, для нашего известия немедленно нам донести». Кроме того, императрица рекомендовала Петру Петровичу «на берегу моря сделать крепость, которая, как к пресечению рекою к неприятелю с моря коммуникации, так и к немалому помешательству, ежели б неприятель хотел к Вам с моря какия поиски чинить, много служить может», а «при засеке, сделанной в урочище Мендолахте», разместить «пристойную команду, дабы неприятель... как пробрався во оной паки засесть не мог». Вышеперечисленное требовалось для того, «дабы чрез то, как неприятеля болше в страх приведши склонить к желаемому нам миру, так и нашу армию от труднаго далее по так худому пути изнурения свободить». Сознывая, что ее советы могут быть неадекватны реальной ситуации, царица в финале прибавила: «Однако, понеже нам, будучи во отдалении, никаких законов точно предписать не можно, того для всё сие наиболее предаем Вашему доволно нам известному военному искусству, в твердом уповании состоя, что Вы по Вашей к нам верности ничего того, что к нашему аванажу, а к неприятелскому наивяцшему ослаблению служить может, не упустите»^[34].

По-видимому, слова «всё сие» стали роковыми для плана Елизаветы Петровны. Государыня явно не ожидала, что фельдмаршал столь широко истолкует примечание о праве на свободу маневра. Свобода конечно же подразумевалась тактическая, а никак не стратегическая. Иначе зачем было императрице подробно разбирать необходимость остановки, а тем более употреблять категорическое «отнюдь»? Несомненно, Ласси, ознакомившись с высочайшим ордером 10 или 11 июля, сразу же понял, какие именно полномочия обрел. Единственное, о чем он не догадался, так это об истинной причине отправки к нему странного распоряжения.

Фельдмаршал, мало смысливший в геополитике, по привычке заподозрил козни придворных «партизанов»^[3], сочувствующих французам и шведам, и поторопился исправить «ошибку», допущенную в Москве.

К Кюмени русская армия вышла еще вечером 1 июля и попала прямо под огонь нескольких шведских батарей, умело расставленных вдоль правого берега. Укрыв солдат в прибрежной лесной чаще, главнокомандующий выдвинул вперед собственных канониров. Завязалась упорная артиллерийская дуэль, длившаяся около двенадцати часов. Наконец россияне, ослабив интенсивность вражеского огня, сумели взяться за сооружение моста, после чего шведы вдруг быстро снялись с позиции и ретировались вглубь речной дельты ко второму рукаву Кюмени. Путь был открыт, и войска легко преодолели первый водный рубеж. 4 июля Ласси созвал генералитет на консилиум, который постановил до подвоза галерным флотом провианта ничего не предпринимать, за исключением рейдов малыми отрядами в шведском тылу.

Однако уже на следующий день выяснилось, что противник предпочел не оборонять речное устье и отступил к Борго. Русские полки в тот же день без проблем форсировали средний рукав дельты Кюмени и занялись подготовкой переправы через последний, третий. 8 июля Ласси, изумленный «робостью» врага, на очередном совещании предложил своим генералам атаковать Борго и заручился их одобрением. Два дня спустя Кюмень осталась позади. Войска могли устремиться вдогонку за шведами. Но тут в русский лагерь прискакал курьер из Москвы с новым высочайшим указом, и фельдмаршалу пришлось принимать непростое решение. Ему надлежало как минимум провести третий за декаду военный совет — всё-таки нарочный привез бумагу, завизированную монархиней. Тем не менее Ласси — бесспорно, из лучших побуждений — нарушил субординацию, консилиум не собрал, а, опираясь на вердикт военного совещания от 8 июля и оговорку самой царицы, 11-го числа повел подчиненных на запад, к Борго и Гельсингфорсу. Русские войска вошли в Борго в последний день июля. Шведы покинули город в ночь на 30 июля, в который раз удивив российского военачальника нежеланием драться. Судя по всему, полководец так и не понял, что боеспособность неприятельской армии была на корню подорвана пацифизмом финнов, несмотря на неоднократное упоминание в собственных реляциях о их дезертирстве и стремлении «быть в высочайшем подданстве Ея Императорскаго Величества»^[35].

Ослушание Ласси взволновало императрицу до крайности. Плану завершения войны к предстоящей зиме грозило полное фиаско.

Требовалось срочно образумить, переубедить взбунтовавшегося старика, и 18 июля Елизавета Петровна созвала во дворец на экстренную конференцию высших сановников империи: президента Военной коллегии В. В. Долгорукова, фельдмаршала И. Ю. Трубецкого, генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого, канцлера А. М. Черкасского, вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, генералов А. И. Ушакова и Г. П. Чернышева, московского главнокомандующего и губернатора С. А. Салтыкова. На суд вельмож вынесли три депеши фельдмаршала — от 5, 6 и 11 июля, а также именной указ от 5 июля. Увы, Императорский совет даже не пожурил Ласси за самовольство и единодушно поддержал курс на завоевание Финляндии. «Дабы неприятелю не дать ныне никакого поправления и его не ободрить, но, толь паче приводя его в робость, принудить к действительному из Финляндии в Швецию побегу, сколько возможно, старатся за ним следовать к Боргову и, ежели возможность допустит, то и далее к Елзенфорсу», — гласила резолюция участников совещания, которые к тому же особо подчеркнули, что в сложившихся обстоятельствах возвращать русскую армию в свои границы «веема неприлично».

Таким образом, близорукий ультрапатриотизм похоронил надежду на мирное урегулирование русско-шведского конфликта в 1742 году, а молодая императрица пережила горечь первого серьезного поражения на посту главы государства и разочарования в мудрости российской политической элиты. Страна медленно вползала в геополитическую ловушку, никем, кроме царицы, не видимую. И теперь Елизавете предстояло либо вместе со всеми скатиться в пропасть еще более тяжелого военно-дипломатического кризиса, либо в кратчайший срок, до полной оккупации Финляндии войсками Ласси, отыскать лазейку из западни.

Двадцать первого июля императрица, идя навстречу чаяниям большинства, санкционировала захват соседнего княжества. 4 августа авангард русской армии выступил из Борго к Гельсингфорсу. Основные силы возобновили движение на другой день. Накануне отъезда Ласси узнал от русского шпиона, финского мужика Генриха Остберха, что шведы разбили лагерь в семи верстах восточнее Гельсингфорса. Полками в поле (восемнадцатью пехотными и семью кавалерийскими) командовали генерал-лейтенант Буденброк и генерал-майор Дидрон. Левенгаупт со штабом укрылся за городскими стенами, учредив строгий пропускной режим. Дезертирство в девяти финских полках росло день ото дня. Сами шведы до недавнего времени готовились к эвакуации морем на родину, однако некий полковник, прибывший из Стокгольма с пятитысячным подкреплением, именем короля запретил им покидать Финляндию.

Напрашивался резонный вывод: шведы продолжают ретираду сухим путем вокруг Ботнического залива, а, значит, кампания в Финляндии затянется до глубокой осени со всеми вытекающими отсюда трудностями и издержками. Чтобы воспрепятствовать этому, главнокомандующий задумал фланговый маневр к Або. 8 августа на полпути к Гельсингфорсу ему повезло найти крестьянина, показавшего неприметную тропу. Ласси лично отправился на рекогносцировку с двумя ротами конных гренадеров, гусарами и казаками. У кирхи Гелсин они столкнулись с форпостом шведов и после короткой ожесточенной стычки обратили врага в бегство.

Десятого августа, пока группа генерал-лейтенанта Штоффеля исследовала маршрут, другие русские отряды заняли шведский бивуак в семи верстах от Гельсингфорса. Неприятель вновь уклонился от боя — 11 августа лишь обстрелял наступавших из пушек и ретировался. Тем временем основные силы армии Ласси «по сысканной во обход дороге», узкой и заболоченной, в течение суток дошли до Абоского тракта и расквартировались в пяти верстах от Гельсингфорса. Тем самым вариант изматывавшего преследователей отступления противника на север разом пресекался, и среди шведов, очутившихся в окружении, существенно возросла доля желавших поскорее вернуться в Стокгольм. В провинции началась цепная реакция капитуляций крепостей: 9 августа перед отрядом полковника Григория Мещерского сложил оружие распропагандированный гарнизон Нейшлота (232 человека). 21-го к Ласси явилась делегация из Тавастгуста с просьбой принять весь отряд (253 человека) под российское покровительство. Фельдмаршал откомандировал туда с драгунами и казаками полковника Рязанова, который 26 августа взял цитадель под контроль. В лагере под Гельсингфорсом доминировали аналогичные настроения^[36].

Сознавая, что капитуляция неизбежна, шведский главнокомандующий запросил у Ласси перемирия на три или хотя бы две недели для консультации с Гилленбургом. Ласси просьбу отверг, и тогда Левенгаупт вместе с заместителем Буденброком выехал в Стокгольм, доверив практически разложившуюся армию Бускету. Именно ему и довелось исполнить тяжкую миссию. Переговоры через генеральс-адъютанта Бестужева начались 21 августа, а завершились спустя три дня подписанием шведскими уполномоченными полковником Вреде, подполковником Спаре, майором Горном акта о почетной капитуляции: шведам позволялось эвакуироваться морем, финнам — присоединиться к ним или остаться на родине; русские забирали всю артиллерию и припасы.

Бускет, одобрив условия, возвратил документ 25 августа. На другой

день россияне поставили в шведском лагере караулы, а его прежние хозяева занялись погрузкой на суда. Никто из финнов, не успевших дезертировать (7019 человек), не пожелал отправиться на другую сторону Ботнического залива. В течение 26–27 августа они присягнули на верность русской императрице, после чего разошлись по домам. Шведы покинули Гельсингфорс на следующий день. Четыре драгунских полка, не уместившиеся на кораблях, тогда же под охраной гусар генерала Киндермана двинулись на север. 8 сентября под звон колоколов и приветственные крики горожан команда генерал-майора Брюса вошла в столицу княжества — Або. Так была решена главная политическая задача: российская армия молниеносно и почти бескровно выиграла кампанию 1742 года, завоевав Финляндию и вызвав во всей Европе немалое изумление^{37}.

Что касается кампании на море, то она с самого начала не задалась. З. Д. Мишуков, ссылаясь на непогоду, с 6 июня по 15 июля бездействовал, расположившись с эскадрой возле острова Гогланд, затем предпринял несколько робких попыток встретиться с неприятелем, которые были прерваны разными чрезвычайными обстоятельствами — «противными ветрами», поломками на кораблях, штормом, нехваткой пресной воды и т. д. 10 октября, так ничего и не добившись, флот вернулся в Кронштадт. Между тем после конференции министров 18 июля 1742 года события на Балтике практически утратили актуальность^{38}.

Между тем военный триумф Ласси в Финляндии отдал дипломатический. Не учтенный императрицей экспромт фельдмаршала застопорил механизм поочередного выбора наименьшего из двух зол: финнами — между войной и русской оккупацией, Левенгауптом — между поражением и отступлением, Гилленбургом — между бесславным продолжением войны и почетным ее окончанием. Ласси привнес в общую схему новый фактор — занятую русскими Финляндию, и Елизавете Петровне предстояло откорректировать прежний план в соответствии с изменившейся ситуацией. Разоружение шведов при Гельсингфорсе сократило запас имевшегося у нее времени до полутора месяцев. Тем не менее государыня разобралась с головоломкой в срок, и, когда утром 3 сентября 1742 года полковник Павел Стюарт примчался в Москву с рапортом о гельсингфорсской виктории, она уже выбрала из всех вариантов действий наиболее приемлемый.

Несмотря на воинственный настрой общества, ратовавшего за аннексию Финляндии, царица по-прежнему стремилась заключить мир с

северным соседом на паритетных условиях, дабы не породить в Европе страх перед русской угрозой. Возврат Финляндии был неминуем, что сулило дочери Петра как минимум недовольство собственных сторонников, утрату их доверия и поддержки, а в перспективе и возможное отстранение от власти. Ласси, сам того не ведая, загнал государыню в капкан, но та сумела из него вырваться с помощью действовавшей в Швеции формы правления и своих родственных связей с голштинским правящим домом.

Елизавете надлежало компенсировать потерю Финляндии неким эквивалентом, весомым для российской публики и пустым для шведской. Императрица добилась поставленной цели, сыграв на политическом невежестве подданных, не видевших разницы между королем Швеции и российской монархиней. Разница же была принципиальная: если Елизавета Петровна реально правила обширной Российской империей, то Фредрик I только восседал на троне, а руководил королевством канцлер, опиравшийся на партийное большинство в Государственном совете (риксроде), избираемом парламентом (риксдагом). Иначе говоря, Швеция в ту пору де-факто являлась республикой, но в России это понимали единицы, в основном высшие государственные чины. К тому же король к 1742 году не обзавелся наследником, а посему риксдагу надлежало голосованием определить, кто станет кронпринцем.

Таким образом, для Елизаветы складывалась на редкость благоприятная ситуация: шведам можно предложить в обмен на Финляндию избрать в кронпринцы русского ставленника (кого-нибудь из голштинской фамилии). С учетом декоративности королевского поста в Швеции с радостью одобряют подобную рокировку. В России к ней тоже отнесутся хорошо по причине известного и широко распространенного заблуждения: в Швеции займет трон «наш» король! Заартачатся лишь министры, ведавшие об истинном государственном устройстве неприятельской державы. Дочери Петра придется изрядно поработать, чтобы они уразумели выгодность для отечества безвозмездной передачи врагу спорного края. И тут важно не опоздать с оповещением шведского двора о готовности России пожертвовать хотя бы частью княжества. Ведь в Стокгольме могут утвердить в правах иного претендента, мгновенно похоронив надежды на почетный мир. Зато первый же сигнал из Петербурга об уступчивости русского двора в финском вопросе наглухо блокирует процесс избрания наследника на сколь угодно длительный период, после чего русско-шведский диалог, приобретя спокойный характер, завершится, пусть не сразу, подписанием мирного трактата на базе довоенного статус-кво.

Уже 6 сентября 1742 года британский посол Сирил Уич докладывал в Лондон о наличии у русских вышеописанного проекта. Елизавета собиралась пригласить Англию на роль официального посредника, которому предстояло прозондировать реакцию Швеции на идею возврата Финляндии в обмен на избрание кронпринцем кандидата от России. 26 сентября А. М. Черкасский на очередной встрече с британским дипломатом сделал ему осторожное предложение. Уич несколько не возражал, поэтому вскоре курьер повез высочайший рескрипт в Лондон. 24 ноября С. К. Нарышкин, с декабря 1741 года русский посланник в Англии, формально попросил у главы британского кабинета Джона Картерета помощи на переговорах со шведами, и вскоре тот оперативно проинструктировал своего посланника в Стокгольме Мельхиора Гвидекинса.

Второе и более важное поручение императрица доверила голштинскому посланнику при русском дворе Фридриху Бухвальду. Он отправлялся в Швецию якобы затем, чтобы в сотрудничестве с Гвидекинсом и посланником Гольштейн-Готторпа в Стокгольме Пехлином агитировать шведов за русско-голштинского кандидата в кронпринцы — администратора герцогства, любекского епископа Адольфа Фридриха. В действительности же от дипломата требовалось в кульминационный момент «проболтаться» об истинном намерении русской императрицы в отношении Финляндии, внести этим раскол в ряды депутатов риксдага и, отсрочив или сорвав избрание неудобного Петербургу претендента, выиграть время для убеждения приближенных царицы в предпочтительности безвозмездного возвращения княжества шведам^[39].

Бухвальд выехал из Москвы 2 ноября 1742 года, ехал кружным путем через Киль и до Стокгольма добрался 7 февраля 1743-го. Пока голштинец колесил по дорогам Германии, произошли события, наглядно продемонстрировавшие, насколько тяжело будет Елизавете преодолеть упрямство своего окружения. 26 октября шведский риксдаг избрал кронпринцем ее племянника Карла Петера Ульриха в надежде на ответный русский шаг — уступку Финляндии. В канун Рождества три шведских делегата — Николай Бонде, Карл Отто Гамильтон и Карл Фридрих Шеффер — прибыли в Петербург с сенсационной вестью и полномочиями для подписания мира. Однако они напрасно рассчитывали на теплый прием. Вечером 28 декабря в доме адмирала Н. Ф. Головина на Миллионной улице им в присутствии фельдмаршала В. В. Долгорукова, обер-штальмейстера А. Б. Куракина, генерала А. И. Румянцева, вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и советника К. фон Бреверна был зачитан ультиматум: императрица заключит мир, если Финляндия отойдет к России и шведы

заплатят контрибуцию или объявят преемником короля епископа Любекского. Разумеется, оскорбленные делегаты поспешили покинуть российскую столицу.

Елизавета Петровна с министрами-патриотами не спорила, а набралась терпения и при любом удобном случае аккуратно акцентировала внимание соратников на негативных последствиях геополитической жадности в финском вопросе. По прошествии двух месяцев, когда возникла реальная угроза объединения Швеции с Данией, Францией и Пруссией против России, советники царицы стали постепенно смягчать свою позицию. В конце февраля 1743 года они признали право шведов на Эстерботерское лансгауптманство, спустя месяц сократили претензии до двух областей — Кюменегорской и Нюландской. 9 марта русские послы в Або А. И. Румянцев и Л. И. Люберас после консультаций со шведскими дипломатами Э. Нолькеном и Г. Цедеркрейцем осознали необходимость частичного возвращения Финляндии, о чем и доложили на другой день в Петербург. Между тем в Петербурге важность уступок Швеции поняли раньше, чем в финской столице. Согласие императрицы, датированное 9 марта, предварительно одобренное совещанием высших сановников, курьер Петр Писарев привез в Або вечером 13 марта. Столь быстрая смена приоритетов у русских патриотов явно свершилась благодаря настойчивости Елизаветы Петровны.

Судя по всему, февраль оказался критическим месяцем в деле русско-шведского замирения. В Стокгольме после фиаско петербургского вояжа трех комиссаров число сторонников датского кандидата, принца Фридриха, заметно возросло. Депутаты от крестьян едва ли не поголовно желали голосовать за него, как и большинство представителей мещан. Дворяне колебались в выборе между Фридрихом и протеже французов принцем Биркенфельдским. Духовенство многозначительно молчало. 26 февраля датский посланник потребовал от четырех шведских сословий в ближайшие дни произвести, наконец, избрание кронпринца, обещая в случае, если им станет Фридрих, «всегосударственную дацкую помощь... против всех восстающих шведских неприятелей». Ожидалось, что вотирование пройдет на заседании риксдага 1 марта, но в намеченный день депутаты «никакой резолюции учинить не могли», и голосование отложили на неделю-другую. Финал обсуждения обескуражил и датчан, и французов, потративших немало денег на подкуп и агитацию в пользу своих ставленников. Между тем огромные средства пропали даром из-за Бухвальда, который накануне судьбоносного собрания риксдага частным образом уведомил шведов, что российская императрица в принципе не

прочь вернуть им всю Финляндию за избрание королевским преемником Адольфа Фридриха, дяди Карла Петера Ульриха (с ноября 1742 года — российского великого князя Петра Федоровича).

Демарш голштинца вызвал в России большое возмущение, особенно среди яростных патриотов. Елизавете Петровне поневоле пришлось присоединиться к общему хору голосов, порицавших немца, и в беседах с соратниками подчеркивать, что «такого намерения, чтоб Швеции всё в нынешней войне потерянное возратить, у Ея Императорского Величества никогда не бывало». Впрочем, она наверняка заранее предупредила Бухвальда о неизбежности подобной оценки, хотя, по большому счету, именно миссия голштинца спасла план царицы. Ведь откровения дипломата вселили в депутатов риксдага надежду, и 1 марта 1743 года они предпочли отсрочить выборы. Было выиграно время, чтобы доставить в Стокгольм первые сведения о согласии русского правительства на возвращение части Финляндии. Важная новость достигла столицы Швеции 14 марта и мгновенно изменила расклад сил. У шведов появились серьезные основания рассчитывать на успех в переговорах с русскими. В итоге представители дворян, мещан и духовенства охладели к посулам датчан и французов сразу же, депутаты от крестьянства — чуть позже, правда, со скрипом^[40].

А мирный конгресс в Або с той поры протекал уже по вполне конструктивному руслу. В течение апреля — мая 1743 года стороны постепенно нашли взаимоприемлемый компромисс. В ответ на уступку Россией половины княжества Швеция пожертвовала Кюменегорьем. Тогда Петербург попробовал запросить вместо Ньюланда Саволакский район с Нейшлотом. Стокгольм предложил ограничиться Нейшлотом. На том и порешили и 16 июня подписали прелиминарный акт. Спустя неделю шведский риксдаг избрал Адольфа Фридриха кронпринцем Швеции. 28 июня в Або Нолькен и Цедеркрейц вручили российским коллегам Румянцеву и Люберасу утвержденные в Стокгольме условия мира. 2 июля капитан П. А. Румянцев привез это известие в Петербург, а на следующий день оно было обнародовано. Спустя месяц, 7 августа, в Або русская и шведская делегации парафировали окончательный текст мирного трактата. Король Швеции ратифицировал его 15 августа, российская императрица — через четыре дня. Обмен документами между послами состоялся 27 августа 1743 года^[41].

Таким образом, со второй попытки, предусмотрев и нейтрализовав все возможные помехи, Елизавета Петровна вывела империю из войны, причем

с примечательным результатом: смехотворность территориальных приобретений — пограничных крепостей Нейшлота (ныне Савонлинна), Вильманстранда (ныне Лаппеэнранта) и Фридрихсгама (ныне Ха-мина) — компенсировалась существенно возросшим международным авторитетом страны. Никто в Европе не ожидал, что Россия из навязанного ей военного конфликта выйдет столь быстро, достойно и без серьезных потерь, внезапно превратившись из воюющей наравне с другими в единственную на континенте невоюющую великую державу со всеми вытекающими отсюда преимуществами.

Глава третья

ДЕЛО ЛОПУХИНЫХ

С легкой руки саксонского резидента Иоганна Сигизмунда Петцольда в истории закрепилась версия, согласно которой знаменитое дело Лопухиных (правильнее называть его делом маркиза Антонио Ботты) началось с предательства поручиком Бергером подполковника Лопухина с целью избавиться от служебной командировки в далекий Соликамск. Однако следственное дело Лопухиных повествует об иной завязке трагедии.

Семнадцатого июля 1743 года два офицера — Якоб Бергер и Иван Степанович Лопухин — вышли из петербургского трактира Берлиера, после чего старший по званию пригласил младшего к себе домой и там вдруг завел провокационный разговор о характере государыни Елизаветы Петровны да о скором возвращении на трон малолетнего императора Иоанна Антоновича, жившего с родителями под арестом в крепости Динамюнде в Лифляндии. Бергер реагировал на откровения штаб-офицера осторожно, однако, простившись с хозяином, никуда с доносом не поспешил.

Спустя четыре дня они встретились опять, причем на сей раз третьим в их компании был майор Матвей Фалкенберг. Беседа была еще опаснее предыдущей: о том, что «под бабьим правлением находимся», что «управители де государственные нынешние все негодные», что «недолго будет того, что принц Иоанн с престола свержен», что его повторному воцарению поспособствуют бывший австрийский посланник в России маркиз Ботта д'Адорно и прусский король Фридрих II, что «наши де [для защиты царицы] за ружье не примутца». Рассуждал в основном Лопухин. Бергер и Фалкенберг не перебивали подполковника, разве что переспрашивали или изредка поддакивали.

Неизвестно, сознавал ли Иван Степанович, как сильно рискует, высказываясь таким образом в присутствии двух лиц. Похоже, он поверил в надежность Бергера, за истекшие после предыдущего разговора три дня не доложившего о нем властям. Однако тогда беседа шла наедине, и Бергер мог сам решать, как поступить. Теперь же наличие свидетеля вынуждало поручика перестраховаться, и по окончании разговора Бергер не преминул выяснить мнение Фалкенберга. В итоге два офицера предпочли не искушать судьбу, а сообщить куда следует обо всем услышанном, что и

исполнили в тот же день.

Сразу идти в Тайную канцелярию Бергер и Фалкенберг поостереглись, решив прежде посоветоваться с другим влиятельным немцем — Лестоком. А лейб-медик немедленно устроил им аудиенцию у государыни, благо та на сутки за какой-то надобностью вернулась из Петергофа в столицу. Елизавету Петровну их исповедь крайне встревожила: во-первых, упоминанием об активности австрийского дипломата «марки де Бота», который «принцу Иоанну верной слуга и доброжелательной»; во-вторых, странным настойчивым интересом русского подполковника к офицерам-иноземцам, потенциально более благосклонным к принцессе Анне Леопольдовне, чем природные россияне.

Поневоле вспоминалось лето 1742 года, когда гвардейцы каптенармус Парский и капрал Изъедин предупредили царицу об агитации в гвардии в пользу брауншвейгской четы. Прапорщик Петр Квашнин в Преображенском полку, а сержант Иван Сновидов в Измайловском с декабря 1741 года прощупывали сослуживцев, пытались вербовать единомышленников для контрпереворота, но, видно, без особого успеха. Поэтому они решили сменить тактику — из-за нереальности штурма дворца осуществить ночное разбойное нападение: с помощью кого-либо из придворных обойти все караулы, тайно проникнуть в августейшую опочивальню и заколоть спящую императрицу. Помочь согласился камер-лакей Александр Турчанинов. Они продолжали искать «брутов», подбадривая друг друга баснями о наличии групп недовольных, у преображенца в 500 человек, у измайловца — в 60, но за шесть или семь месяцев не наскребли и двух дюжин головорезов. Из-за этого и погорели, ибо Турчанинов, потерявший терпение, сам попробовал кого-нибудь завербовать, неосторожно открылся Парскому и Изъедину, проболтался о товарищах и мгновенно угодил вместе с ними за решетку. Допросы с пристрастием длились всю осень. Императрице не верилось, что перед ней фанатики-одиночки. Тем не менее следователи больше никого не зацепили. 2 декабря 1742 года «на площади позади Кремля» разговорчивому Турчанинову укоротили язык, гвардейцам вырвали ноздри, затем отослали всех к Охотскому морю.

И вот на тебе — новый сюрприз, теперь с офицерами-иностранцами. Не манипулировал ли маркиз Ботта и прошлогодней троицей? В первом порыве Елизавета Петровна тут же продиктовала и подписала указ об аресте Ивана Лопухина и учреждении особой комиссии в составе Ушакова, Н. Ю. Трубецкого и Лестока с прикреплением к ним в качестве секретаря В. И. Демидова из своей личной команды. Впрочем, к моменту отправки

документа по назначению государыня передумала. Судя по всему, предвидя тупик, в который зашло бы расследование по причине отъезда из России в декабре 1742 года главного фигуранта, маркиза Ботты, она взяла короткий тайм-аут, дабы хорошенько поразмыслить над тем, будет ли от громкого процесса хоть какой-то толк.

Императрица затворилась в Петергофе на три дня — с 22 по 24 июля, а в ночь на 25-е приехала в столицу и уже без колебаний распорядилась дать ход бумаге, завизированной ею еще 21 июля. А. И. Ушаков прочитал вердикт около четырех часов утра. Привез пакет из дворца, скорее всего, сам генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой в сопровождении капитана-преображенца Григория Протасова, ибо полчаса спустя они втроем явились на двор Лопухиных и забрали Ивана Степановича, предварительно выставив у ворот караул.

Почему императрица дала делу ход? Во-первых, минимальный шанс на успешное раскрытие настоящего заговора все-таки существовал; во-вторых, даже при неудачной работе комиссии шумное судебное разбирательство с публичными обвинениями в адрес Ботты могло парализовать подготовку переворота неразоблаченными австрийскими агентами, если таковые имелись. Привлечение всеобщего внимания к интригам австрийского посла поневоле побудило бы австрийскую эрцгерцогиню и венгерскую королеву Марию Терезию воздержаться от одобрения каких-либо опасных для Елизаветы Петровны предприятий, как бы ни нуждалась австриячка в восстановлении правления своей верной союзницы Анны Леопольдовны.

В первый день деятельности, 25 июля, комиссия запротоколировала показания Бергера и Фалкенберга от 21-го числа и допросила Ивана Лопухина. Тот сознался и в дерзкой критике государыни, и в сочувствии брауншвейгскому семейству, но не в осведомленности о планах Ботты. Пришлось устроить очную ставку с Бергером и Фалкенбергом, после которой арестант сослался на слова матери: якобы Ботта говаривал ей, что «прежде спокоен не будет, пока принцессе Анне не поможет».

Так впервые в деле всплыло имя Натальи Федоровны Лопухиной, героини второго мифа, связанного с этой историей: о царице, расправившейся с придворной дамой из зависти к ее красоте. Между тем Лопухиной учинили первый допрос не в крепости, а на дому, и только после того, как члены комиссии выяснили, что статс-дама — чуть ли не единственная (кроме Анны Гавриловны Бестужевой-Рюминой), с кем Ботта секретничал на деликатную тему. Названные ее сыном С. В. Лопухин, С. В. Лилиенфельд, И. Путятин, М. Аргамаков и другие лица попали в поле

зрения комиссии в ином качестве — персон, обсуждавших с Лопухиной и Бестужевой откровения маркиза. У них пытались перепроверить признания двух главных свидетельниц или выведать утаенное ими.

Первой, утром 26 июля, с членами тройки встретила Лопухина. С трудом вытянули у женщины скупую правду о визитах австрийского посла: Ботта проговорился ей, что «старание иметь будет, чтоб... принцесе быть по прежнему на росиском престоле»; она же в ответ умоляла, «чтоб они не заварили каши и того не заводили, и в Росии беспокойства не делали, а старался б» исключительно о выезде Анны Леопольдовны за границу. В тот же день во дворце на Красном канале аналогичный экзамен держали привезенные гвардейским поручиком Толмачевым с приморской дачи Бестужева, а из городского особняка — ее дочь Анастасия Павловна Ягужинская. Старшая ни о Ботте, ни о пересудах с Лопухиной ничего стоящего не вспомнила, зато младшая поведала, что, присутствуя при общении матушки с подругой, от них «слышала, что к ним принцеса была милостива, и желали, чтоб ей быть по прежнему, и что марки де Бота говорил о старателстве своем ко вспоможению принцесе у пруского короля, чтоб ей быть по прежнему, Лопухина матери ее сказывала». В тот же вечер Елизавета Петровна, ознакомившись с собранными данными, велела отослать Лопухиных и Бестужеву в Петропавловскую крепость, Ягужинскую поместить под домашний арест, а из Москвы без промедления доставить в Северную столицу Степана Васильевича Лопухина с близкими ему Иваном Путятиным и Михаилом Аргамаковым.

С 27 июля комиссия выжимала информацию о замыслах Ботты двумя способами — у Лопухиных и Бестужевой в крепости увещеваниями и постепенным ужесточением мер воздействия, а у очевидцев опасных разговоров, список которых день от дня ширился, — разовым опросом с использованием в случае нужды очных ставок. 1 августа гвардейские офицеры Никита Коковинский и Иван Кутузов тщательно обыскали дома Лопухиных и Бестужевой, но чего-либо важного в бумагах статс-дам не обнаружили.

Следствие продолжалось около трех недель. Генералы пообщались с Н. Ю. Ржевским и И. Мошковым (27 июля), обер-штер-кригскомиссаром флота А. Е. Зыбиным (28 июля и 1 августа), С. С. Колычевым С. В. Гагариным, «виц-ротмистром» Лилиенфельдом (29 июля), камергером К. Лилиенфельдом (29 и 31 июля), его супругой (29 и 31 июля), П. П. Гагариной и подпоручиком-преображенцем Н. П. Акинфиевым (30 июля), И. Путятиным (8—10 августа), адъютантом-конногвардейцем Л. Камыниным (12 августа), С. В. Лопухиным (14 августа), М. Аргамаковым

(19 августа). Увы, ничего, кроме уже сказанного основными обвиняемыми, эти «собеседования» не выявили.

Аналогичное фиаско потерпела и тактика запугивания трех главных подследственных. А. Г. Бестужева-Рюмина после очной ставки 28 июля с И. С. и Н. Ф. Лопухиными всё-таки призналась, что слышала о намерении Ботты помочь Анне Леопольдовне, но не от него самого, а от Натальи Федоровны. Большого выбить из дам следователи не смогли ни с помощью «экскурсии» в застенки 11 августа, ни подвешиванием на короткое время на дыбу 17 августа. Ключевой вопрос следствия — что именно «марки де Бота... к ползе принцессе производить хотел» — так и остался без ответа.

Кроме двух дам на дыбу угодили отец и сын Лопухины. Степан Васильевич того же 17 августа провисел на ней «десять минут», но так и не вспомнил ни о чем, что могло бы заинтересовать следствие. Хуже пришлось Ивану Степановичу. 29 июля он вынес 11 ударов кнутом, 11 августа — девять, однако ни в чем новом не повинился. Что ж, императрица не зря колебалась три дня. Розыск зашел-таки в тупик, и ей ничего не оставалось, как нанести по возможным заговорщикам превентивный удар.

Кстати, с легкой руки иноземных посланников при русском дворе в истории закрепилось мнение, будто дело Лопухиных возникло в основном потому, что Лесток стремился через обвинение М. П. Бестужева-Рюмина в государственной измене отстранить от руководства внешней политикой России его брата вице-канцлера. Лейб-медик, организуя Бергеру и Фалкенбергу встречу с государыней, наверняка надеялся выжать из okazji максимальную пользу, понимая, насколько просто протянуть ниточку от матери И. С. Лопухина к ее близкой подруге графине Бестужевой-Рюминой, урожденной Головкиной, по первому мужу Ягужинской. Реляции дипломатов сообщают об этом, имея первоисточником конечно же откровения самоуверенного доктора. Однако судя по следственным документам, даже если Лесток и намеревался при дознании злоупотребить властью в личных целях, то царица быстро пресекла подобное развитие событий, велев не отвлекаться от поиска фактов подрывной деятельности маркиза Ботты. Комиссия лишь дважды поинтересовалась степенью осведомленности обер-гофмаршала о замыслах австрийца, оба раза у супруги сановника: 11 августа при ознакомительном посещении застенка, 17-го — в момент «виски» на дыбе. Дама не выдала мужа. Этим и закончилась попытка разоблачения заговора Бестужевых.

А пока Мардефельд, д'Альон, Петцольд и прочие иностранцы сообщали соотечественникам о скором падении вице-канцлера, Елизавета

Петровна не без досады распорядилась 18 августа следствие прекратить, а судебной коллегии, сформированной в тот же день, рассмотреть его материалы и вынести вердикт. О степени раздражения императрицы собранными данными можно судить по собственноручной высочайшей ремарке на докладе комиссии:

«Сие дело мне пришло в память. Когда она Килиенфельтова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставку производить, несмотря на ея болезнь. Понеже, коли они государево здоровье пренебрегали, то плутоф и наипаче желеть не тле чего. Луче, чтоб и век их не злыхать, нежели еще от них плудоф ждать.

А что они запиралися, и ф том верить нелзя, понеже, может быть, они в той надежде были, что толко спросят, а ничего не зделают, то для того и не хотели признатся».

Этот пассаж часто цитируется как яркий пример жестокости дочери Петра Великого, хотя в действительности проблема заключалась в одном: привозить ли в крепость из дома на очную ставку беременную Софью Васильевну Лилиенфельд. Елизавета Петровна явно не желала причинять ей неудобства, но с отчаяния сорвалась и одобрила предложение комиссии. Свидание двух супружеских пар состоялось вечером 18 августа и опять же не открыло ничего важного.

Заседание сорока девяти судей продолжалось с восьми часов утра до четырех вечера 19 августа 1743 года. Работу Тайной канцелярии оценивали десять сенаторов, генерал-прокурор, псковский и суздальский архиепископы, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, принц Гессен-Гомбургский, лейб-медик Лесток, гофмаршал Д. А. Шепелев, десять генерал-лейтенантов, 18 генерал-майоров, четыре майора гвардии. Приговор огласили ожидаемый: И. С., С. В. и Н. Ф. Лопухиных, А. Г. Бестужеву-Рюмину колесовать, И. Мошкова и И. Путятину четвертовать, А. Зыбина, С. В. Лилиенфельд обезглавить, камергера К. Лилиенфельда отставить с лишением чинов и сослать в деревню, гвардейцев «виц-ротмистра» Лилиенфельда, поручиков Н. Акинфиева и С. Колычева перевести в армейские полки соответственно капитаном и подпоручиками, Н. Ржевского высечь плетьюми и сдать в матросы.

Елизавета Петровна утвердила приговор 28 августа, заменив казнь телесными наказаниями и ссылкой в Сибирь. Публичный спектакль состоялся в одиннадцатом часу утра 31 августа перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Секретарь датского посольства Ян Куфут довольно подробно описал церемонию в реляции от 3 сентября: «Прошлой среды была экзекуция находившимся под арестом персонам...

Старой Степан Лопухин, которой генералом-лейтенантом и камергером был, и колесован быть имел, вместо того на эшефоте 15 ударов кнутом получил, и язык у него урезан. После него обе госпожи — обер-гофмаршалша графиня Бестужева и камергерша Лопухина — на эшефот же взведены, и вместо колесования (к чему они осуждены были) каждая из них по 10 ударов кнутом получила, да и у каждой равномерно ж язык урезан. Потом молодой Иван Лопухин, которой подполковником был, на эшафот же взведен и вместо колесования також 15 ударов кнутом получил, и язык у него урезан. Князь Путятин, бывшей в гвардии капитаном, да Иван Мошков, которой еще действительным порутчиком в гвардии ж был, и которых обоих четвертовать приговорено было, вместо того каждой по 20 ударов кнутом получил. Однакож у них обоих языки не резаны. Обер-штер-кригскаμισар от флота Александр Зыбин вместо отсечения головы токмо ординарными плетми на ашафоте штрафован. И камергерша Софья Лилиенфелтова, которой голову отрубить приговорено, также плетми, как скоро она от своего бремя разрешится, наказана будет. По учиненном им наказании тотчас они все в простые русские телеги посажены и в назначенные им в Сибирь места, которые не имянованы, в сылку повезены... А протчие в том же виновные так наказаны, как в манифесте явствует».

Третьего сентября императрица разрешила Софье Лилиенфельд с мужем жить до родов не в крепости, а дома. Спустя почти три месяца, 29 ноября 1743 года, государыня и вовсе избавила женщину от плетей, а 1 июля 1744-го, накануне отъезда супругов в Томск, подтвердила отмену телесного наказания. Это лишний раз свидетельствует, что на громкую расправу она пошла не из жестокости, а по политической необходимости. Репрессия была рассчитана больше на резонанс в Европе, чем на запугивание собственных подданных. Елизавете Петровне требовалось ошеломить и смутить двух монархов, подозреваемых ею в манипулировании Боттой, — королеву Венгрии Марию Терезию и прусского короля Фридриха II, при дворе которого теперь служил маркиз: если они готовили свержение дочери Петра Великого, пусть задумаются, что ей известно, и по зрелом размышлении откажутся от своих планов. Характерна деталь, которая почему-то игнорируется историками: 1 сентября 1743 года по высочайшему соизволению комиссия допросила католического патера Феликса, с июня жившего в Петербурге, на предмет его знакомства — нет, не с Лопухиными и Бестужевыми, а с Боттой. Удовлетворить любопытство следователей священник не смог, и 5 сентября царица велела тотчас выслать его за кордон, что и было исполнено спустя

неделю^[42].

В общем, дипломатический нажим на Австрию и Пруссию был единственным шансом Елизаветы Петровны обезопасить себя от возможного заговора, поддерживаемого из-за границы, и она использовала этот шанс весьма эффективно. Уже 13 августа 1743 года Иностранная коллегия адресовала российскому посланнику в Вене Людовику Ланчинскому рескрипт с приказом потребовать от Австрии «надлежащей и достаточной сатисфакции» за «крайние... труды» маркиза Ботты «о возстановлении... прежнего правления и об опровержении нашего правительства». 20 августа аналогичный документ повезли П. Г. Чернышеву в Берлин, а 3 сентября — всем прочим российским посланникам. Фридрих II сразу открестился от австрийского дипломата, заявил о солидарности с российской стороной и приказал прусскому посланнику в Вене помогать Ланчинскому. А вот Мария Терезия без неопровержимых улик карать Ботту не собиралась. «Экстракт» из следственного дела, посланный королеве, не произвел на нее впечатления. Даже заверения русской императрицы, что «произшедшие допросы всегда не инако, как в собственном нашем присутствии» совершались, а «устрашения и жестокости» не применялись, не переубедили австриячку. Напротив, она рискнула обострить спор с августейшей «сестрой», опубликовав во французском варианте голландской газеты «Амстердам» (1743. 4/15 ноября) тексты отосланных в Берлин рескрипта и отзывной грамоты с пассажами, оправдывающими маркиза. Петербург, нуждаясь в публичной полемике и громком скандале, тут же отреагировал на оплошность Вены. 28 ноября Елизавета Петровна предписала снабдить все заграничные миссии подборкой следственных материалов «для потребного оных употребления», то есть для размещения в печати. Обычай обязывал свободные голландские газеты представить читателям противоположную точку зрения, на чем и сыграл русский двор. Та же газета «Амстердам» обнародовала русское опровержение в двух номерах — от 27 декабря 1743 года/7 января 1744-го и 3/14 января 1744-го. Другие периодические издания откликнулись и того раньше. Так, «Последние новости Амстердама» дали публикацию 23 декабря 3 января и 30 декабря 10 января. Эстафету подхватили журналисты других стран, постепенно раздувая скандал, лепивший из Марии Терезии образ монархини, покровительствующей изменникам и заговорщикам. Почувствовав серьезную угрозу своей репутации, австрийская государыня поспешила признать собственную неправоту.

Девятого февраля 1744 года после нескольких совещаний с министрами королева распорядилась взять маркиза Ботту под домашний

арест и сформировать судебную комиссию в составе президента и вице-президента рейхсгофрата Иоганна Вильгельма Вурмбранда и Антона Исайи Партинга, а также надворных советников канцелярий: австрийской — Иоганна Бернгарда Пелсерна, богемской — Иоганна Христофа Иордана и венгерской — Иоганна Гитнера. Заседания комиссии являлись формальностью, никакого юридического вердикта она не вынесла, перепоручив эту миссию Марии Терезии, а та постановила отправить маркиза в крепость Грац на полгода (Ботта в сопровождении генерал-адъютанта Пикалкеса «на почте отбыл» туда 16 июня 1744 года), после чего запросила мнение русской императрицы о дальнейшей судьбе узника: «вечно несчастливым учинить» или «каким ни есть образом простить»?

Австрийский резидент Николаус Гогенгольц устно сообщил о том вице-канцлеру Бестужеву-Рюмину 6 июля, а официальную ноту подал через неделю вместе с копией верительной грамоты графа Филиппа Иосифа Орсини-Розенберга, которому Мария Терезия поручила на месте уладить затянувшийся конфликт. Розенберг приехал в Москву 17 августа и два месяца ожидал ответа императрицы, вернувшейся в Белокаменную из путешествия по Малороссии лишь 1 октября. Австрийский посол выслушал мнение российской стороны 22 октября. Принятые Марией Терезией меры Елизавету Петровну удовлетворили, но для полного урегулирования ссоры не хватало официального заверения, что опубликованные осенью 1743 года в Голландии документы «в печать попались всеконечно противу воли королевы». Проект декларации прилагался, и Розенберг без колебаний одобрил текст, за ночь переписал и завизировал, а утром доставил бумагу в Иностранную коллегию.

Публичный скандал европейского масштаба воздвиг надежную преграду перед дворцовым заговором — мнимым или реальным, теперь было неважно. Даже если Мария Терезия ранее что-то замышляла, всеобщее внимание к ней и угроза разоблачения вынуждали ее прекратить моральную, финансовую и какую-либо иную поддержку сторонников Анны Леопольдовны в России. А окончательно отвратить венгерскую королеву от идеи реставрации брауншвейгской династии могло налаживание союзнических отношений между венским и петербургским дворами. Прощение Ботты являлось первым шагом на данном пути, и он был сделан. 19 января 1745 года около десяти часов вечера в Хотиловском Яме Елизавета Петровна прочитала адресованное М. И. Воронцову письмо маркиза от 26 декабря с мольбой о протекции перед русской государыней. Ответ — «...не желая Вам никакого зла, Ея Величество жребий Ваш... в благоизволение королевы предать изволила» — царица одобрила 12

февраля, а еще через два дня на куртаге в Зимнем дворце Воронцов вручил официальное послание Ф. И. Розенбергу. 3 марта бумага была доставлена в Вену, после чего опальный маркиз обрел полную свободу.

А вскоре европейские газеты, в том числе «Санкт-Петербургские ведомости» (1745. № 32. 23 апреля), известили читателей о смерти бывшего посла и узника. Так журналисты поспособствовали рождению последнего мифа «дела Ботты» — о двух родственниках и полных тезках, дипломате и военном: один маркиз Антонио Отто Ботта д'Адорно, оконфузившись в России, умер в марте 1745-го; другой, храбро отвоевав в Италии против французов, дослужился до фельдмаршала Австрии и пережил первого почти на 30 лет.

Легенда о двух маркизах Ботта прочно закрепилась в исторической науке и за два века, похоже, не подвергалась сомнению. Между тем существовал только один Антонио Отто Ботта д'Адорно (1688–1774). В дипломатических документах — грамотах, рескриптах, инструкциях — часто фигурирует воинское звание австрийского посла Ботты — фельдмаршал-лейтенант (соответствует чину генерал-лейтенанта российской Табели о рангах). Однако в австрийских списках генералитета он упоминается всего лишь раз с приведением послужного списка: с 3 января 1734 года — генерал-фельдвахтмейстер (генерал-майор), с 25 марта 1735-го — фельдмаршал-лейтенант, с 18 июня 1745-го — фельдцейхмейстер (генерал-аншеф), с 20 июня 1754-го — фельдмаршал Австрии. Таким образом, дипломат и военный — одно и то же лицо. В 1746 году Ботта успешно воевал в Италии в течение всей кампании, но затем попал в эпицентр революционных событий в Генуе, с конфузом покинул город, чем сильно прогневал свою защитницу Марию Терезию. Впрочем, его опала длилась всего два года. В апреле 1749-го маркиз был откомандирован в Брюссель полномочным министром венского двора при губернаторе Австрийских Нидерландов принце Карле Лотарингском. Оттуда в мае 1753 года его перевели во Флоренцию в статусе заместителя императора Священной Римской империи и тосканского герцога Франца I Стефана^[43].

Дело, счастливо закончившееся для дипломата, дорого стоило тем, кому он покровительствовал. Елизавета Петровна искренне хотела выдворить Анну Леопольдовну на родину ее супруга. В два часа ночи 29 ноября 1741 года брауншвейгская чета с детьми в сопровождении конвоя и надзирателя генерала В. Ф. Салтыкова покинула Санкт-Петербург. Под новый, 1742 год арестанты добрались до приграничной Риги, где и застряли из-за следствия над их приверженцами. Возникло много вопросов,

которые могли разъяснить только Анна и Антон Ульрих. За этим занятием и застало их разоблачение Турчанинова, Квашнина и Сновидова. Императрица, естественно, заколебалась: стоит ли отпускать за кордон потенциальных соперников? Потому и предписала 13 декабря 1742 года перевести семейство из Риги в Дюнамюнде («Дюнамюндшанц») под охрану крепостных стен и валов, что Салтыков исполнил 2 января 1743-го.

В момент свидания с Бергером и Фалькенбергом дочь Петра продолжала взвешивать все аргументы за и против эмиграции брауншвейгского семейства. Активность Лопухина предрешила ее выбор. Благодаря Ивану Степановичу Елизавета убедилась, насколько серьезна угроза превращения Анны Леопольдовны, Антона Ульриха и их сына в марионеток, послушных воле европейских кукловодов. Любой монарх мог назвать себя заступником за несчастную фамилию и, усадив в свой обоз, увлечь в крестовый поход против тетки-«узурпаторши». Не Мария Терезия, почти договорившаяся в 1741 году с Анной Леопольдовной о военном союзе, так Фридрих II, тоже в нем нуждавшийся, или Людовик XV, британские премьеры и т. д. Политическая целесообразность не оставляла императрице выхода, и 9 января 1744 года она распорядилась отправить брауншвейгцев во внутренние районы империи, в крепость Ораниенбург (Раненбург, ныне районный центр Липецкой области Чаплыгин). Там Анна Леопольдовна с домочадцами прожила пять месяцев — с 6 марта по 29 августа 1744 года, а затем они были перевезены на север, в Холмогоры^[44].

Глава четвертая

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК

Сразу же по восшествии на престол Елизавете Петровне пришлось определять преемника. Императрица могла бы повременить с объявлением наследника, если бы не завещание Екатерины I, со ссылкой на которое она 28 ноября 1741 года провозгласила себя единственной законной российской самодержицей. Однако в «тестamente» имелся один подвох, своего рода мина замедленного действия. Елизавета Петровна обладала правом на отцовский скипетр до тех пор, пока внук царя-реформатора, ее племянник герцог Гольштейн-Готторпский Карл Петер Ульрих оставался протестантом и владетельным князем («имел корону»). «Дочь Петрова» не преминула этим воспользоваться.

Между тем гарантии, что близкий родственник никогда не примет «греческой» веры и не снимет герцогскую корону, отсутствовали. В итоге его тетушка оказывалась в нестабильном положении: совершив простой религиозный обряд и отказавшись от герцогского титула, он мог лишиться императрицу легитимности и поставить перед жестким выбором — либо отречение, либо превращение в узурпаторшу. Елизавета поспешила заблокировать подобное развитие событий, опираясь на нормативный акт отца — брачный договор 1724 года, позволявший российскому монарху назначить наследником русского трона любого сына цесаревны Анны Петровны и гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха. Ясно, что вступление в силу международного трактата мгновенно сводило на нет потенциальную опасность завещания Екатерины I. Посему нет ничего удивительного, что в конце 1741 года премьер-майор Н. А. Корф помчался с высочайшим вызовом в Киль.

В Голштинии условия трактата исполнили без возражений, невзирая на то, что отправляли в далекую Россию единственного ребенка почившей княжеской четы, с 1739 года владетельного герцога Гольштейн-Готторпа, опекаемого регентом, любекским епископом Адольфом Фридрихом. Воспитатели Карла Петера Ульриха — обер-гофмейстер Брюммер и обер-камергер Берхгольц — быстро собрали отрока в путь и 5 февраля 1742 года прибыли с ним в Санкт-Петербург. Таким образом, брачный контракт сестры, заработав, избавил Елизавету Петровну от сюрпризов в вопросе о преемнике. Вот только, судя по всему, личное знакомство с племянником разочаровало государыню, ибо он мало соответствовал званию будущего

российского императора. Но вновь выручил тот же договор, в котором срок провозглашения наследником выписанного из Германии внука Петра I не конкретизировался. Елизавета могла постоянно оттягивать торжественный момент и, дождавшись удобного случая, уклониться от никому не нужной церемонии, тем более что с поиском иных претендентов на роль преемника затруднений не было — родственников у царицы имелось много, от младенцев брауншвейгского семейства до двоюродных братьев и сестер по материнской линии...

Пауза затянулась на полгода и была внезапно прервана курьером из Стокгольма, привезшим весть, что 26 октября 1742 года шведский сейм избрал герцога Гольштейн-Готторпского кронпринцем Швеции. Канцлер Гилленбург надеялся, что в России оценят шведскую инициативу и согласятся вернуть Финляндию, оккупированную в ходе летней кампании 1742 года. Однако он ошибся. Елизавета Петровна отпустила бы в Стокгольм племянника, если бы его избрали королем, а не кронпринцем. Наследникам престолов по «тестаменту» не запрещалось претендовать на русский венец, то есть отъезд Карла Петера Ульриха в Швецию мог представлять для Елизаветы Петровны огромную опасность, учитывая, что в Стокгольме тогда доминировало французское влияние, априори антироссийское. Французы, воевавшие в ту пору с австрийцами и стремившиеся изолировать Австрию от России, разумеется, постарались бы завладеть умом и сердцем юного и капризного кронпринца, а затем при необходимости убедили бы его сменить веру и помериться силами с теткой.

Дочь Петра Великого, понимая это, в сентябре 1742 года выдвинула другого кандидата в шведские кронпринцы — родного дядю герцога Голштинского по отцу Адольфа Фридриха, о чем, правда, Стокгольм был уведомлен с существенным опозданием. В результате фальстарт шведского риксдага вынудил русскую императрицу играть на опережение. Похоже, ситуация в столице Швеции внимательно отслеживалась русскими агентами. Стоило депутатам окончательно настроиться на одобрение сенсационного вердикта, как шведский капитан Дрентель поскакал к русской границе и 4 ноября достиг московских окраин. Важное сообщение, полученное царицей, не оставляло ей выбора. Герцог Гольштейн-Готторпский конечно же принял бы предложение шведов, а посему Елизавета Петровна поторопилась завершить начатое год назад. 7 ноября 1742 года в церкви Зимнего дворца на Яузе немецкого гостя объявили русским великим князем, затем окрестили по православному обряду и нарекли Петром Федоровичем. Только через неделю французский капитан де Меллиер добрался до Москвы с первым известием об избрании

кронпринца.

Осень 1742 года предопределила воцарение в 1761-м Петра III — бездарного политика, неплохого инженера, имевшего мягкий нрав, но подчас капризно-упрямого. Государыня, сознававшая, чем подобное сочетание чревато для России, попробовала исправить положение. Академику Якобу Штелину она доверила привить молодому великому князю увлечение историей, а с ее помощью пробудить интерес к политике. Обуздать характер племянника тетушка рассчитывала посредством крепкой дружбы или влюбленности. В течение 1743 года императрица со Штелином при содействии Брюммера и Берхгольца пыталась добиться успеха. Но, увы, уроками истории Петр Федорович тяготился, как и прежде, не завел ни дружбы, ни серьезной сердечной привязанности. Елизавете Петровне поневоле пришлось прибегнуть к крайней мере — женить великого князя^[45].

Критерий отбора невесты в сложившейся ситуации был один: девушка должна нравиться жениху; от этого зависели и гармоничность семейной жизни, и, как следствие, сглаживание человеческих недостатков великого князя. Ни о каких политических расчетах в данных обстоятельствах речь идти не могла. Как бы ни расхваливали императрице достоинства претенденток (канцлер Бестужев-Рюмин — саксонской принцессы, а обергофмейстер Брюммер и лейб-медик Лесток — ангальт-цербстской), ее прежде всего интересовало мнение самого великого князя. Очевидно, тот на прямой вопрос тетушки назвал имя Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской, с которой познакомился летом 1739 или 1740 года. Бойкая и непоседливая Фике, как называли ее домашние, по-видимому, произвела впечатление на юного принца. Он не только запомнил «кузину», но и пожелал встретиться с ней вновь. Елизавета Петровна отнеслась к желанию племянника с пониманием и велела Брюммеру послать в Цербст, жене и дочери князя Христиана Августа, приглашение приехать в Россию.

В середине декабря 1743 года курьер покинул Санкт-Петербург, а уже вечером 9 февраля 1744-го в Головинском дворце в Москве состоялись смотрины принцессы. Если до того сомнения и посещали Петра Федоровича, то повторное знакомство их быстро рассеяло. Пятнадцатилетняя Фике его очаровала, а он, в свою очередь, покорила сердце девушки. Императрице тоже приглянулась немецкая гостя — внешностью, живостью натуры, целеустремленностью. Государыню смутил лишь слишком узкий круг интересов юной особы, ограничивавшийся любовными пересудами, драгоценными побрякушками, танцами до упаду да разными забавами, что было обычно для барышни той

эпохи, но недостаточно для будущей великой княгини, особенно если учесть, что от нее ждали благотворного влияния на жениха. Увы, будущая Екатерина Великая в 1744 году нисколько не напоминала ту расчетливую, амбициозную девицу (точь-в-точь Елизавету Петровну образца 1725 года), какой она предстает в своих знаменитых мемуарах.

И российские, и иностранные документы первых полутора лет проживания в России принцессы Фике рисуют прямо противоположный облик: легкомысленной прожигательницы жизни, хотя и не лишенной политических убеждений, которые, как легко догадаться, совпадали с политическими пристрастиями ее матушки Иоганны Елизаветы и матушкиных друзей Брюммера, Берхгольца, Лестока, Мардефельда. Это и немудрено, ведь Фике любила «нежно родственников своих, в особенности наследного принца шведского» Адольфа Фридриха, недавнего опекуна Петра Федоровича. Ради его интересов она не побоялась бы сцепиться с самим Бестужевым.

В общем, девушка нуждалась в наставнике, способном постепенно переключить ее внимание с пустых развлечений на предметы, формирующие настоящее мировоззрение: искусство, науку, литературу и т. п. Умудренного жизненным опытом собеседника-немца, в меру начитанного и рассудительного, Елизавета отыскала легко — пожилого обер-гофмейстера русского двора барона Христиана Вильгельма Миниха, родного брата сосланного в Пелым фельдмаршала. Барон приехал в Россию в 1731 году, служил в Иностранной коллегии и Сухопутном шляхетском корпусе, в канун переворота 1741 года руководил Монетной канцелярией. После ссылки брата он с семьей собирался вернуться на родину. Однако в первую годовщину восшествия на престол государыня сделала полуопального чиновника своим обер-гофмейстером, главным командиром Дворцовой канцелярии и кавалером ордена Андрея Первозванного, а спустя полгода, 20 апреля 1743 года, поручила курировать деятельность московской и Санкт-Петербургской гоф-интендантских контор, ведомств, отвечавших за состояние царских дворцов.

В принципе, пост обер-гофмейстера, будучи номинальным, никак не мог помешать Миниху исполнять новые педагогические обязанности. А вот должности главного командира Дворцовой канцелярии и куратора гоф-интендантских контор требовали прямого участия в управлении огромным дворцовым хозяйством и, естественно, препятствовали бы эффективному общению вельможи с принцессой Ангальт-Цербстской. Поэтому императрица решила снять с барона основную нагрузку — дела Дворцовой канцелярии. Указ о переподчинении структуры статскому советнику Якову

Андреевичу Маслову Елизавета подписала 20 апреля 1744 года, за день до первого публичного выхода Софии Фредерики Августы, выздоровевшей после плеврита, который она подхватила в первой декаде марта. Разумеется, никаких формальных назначений не производилось — они могли бы обидеть княгиню Иоганну Елизавету. Миних стал воспитателем невесты великого князя де-факто, медленно, но верно ненавязчивым общением, советами, поступками пробуждая в немецкой принцессе (ставшей 29 июня 1744 года великой княжной, а 21 августа 1745-го, после свадьбы, великой княгиней Екатериной Алексеевной) любопытство к философии, истории и культуре, как русской, так и мировой^[46].

К несчастью, процесс преобразования легкомысленной девицы в великосветскую даму с широкими познаниями не успел завершиться к ноябрю 1745 года, когда в великокняжеской семье случилась большая ссора. Незадолго до свадьбы юная невеста сцепилась-таки с Бестужевым из-за дяди Адольфа. Кронпринцу Швеции хотелось, чтобы должность администратора гольштейн-готторпского герцогства после него занял верный ему человек — граф Брюммер. Канцлер же рассчитывал, что этот пост займет лояльная России персоне, и даже отыскал такую — принца Августа Голштинского, младшего брата Адольфа Фридриха, полковника голландской армии. 5 февраля 1745 года тот примчался в Санкт-Петербург. Однако легкой победы не получилось. Елизавета Петровна отказалась вмешиваться в дела суверенного государства: администратора назначит герцог, он же российский великий князь. Пожалуйста, боритесь за голос Петра Федоровича!

И борьба началась. Бестужев заблаговременно склонил по дипломатическим каналам Августа III, курфюрста Саксонии и короля Польши, а с января 1745 года еще и викария Священной Римской империи, к досрочному провозглашению молодого немецкого князя совершеннолетним. 17 июня саксонский резидент Петцольд на аудиенции в Петергофе вручил юноше соответствующий диплом. Петр Федорович так обрадовался, что в благодарность согласился утвердить администратором Гольштейн-Готторпа протеже канцлера. Но тут возразила без пяти минут жена, в ту пору, заметим, еще любимая, которой он тоже старался угодить. Конфликт назревал нешуточный. Бестужев через посла в Дании И. А. Корфа раздобыл компромат на Брюммера, надеясь спровоцировать его увольнение, а на великого князя воздействовал доверительными сообщениями о казнокрадстве и шпионстве обер-гофмейстера. Тем не менее эти атаки не привели к успеху. Елизавета Петровна пропустила мимо ушей ужасные истории о злом и порочном наставнике племянника, а сам

Петр Федорович пока больше верил невесте, а не «благодетелю».

К дню венчания «битва за Голштинию» достигла апогея. Опасаясь, как бы она не обернулась бедой, Брюммер выразил готовность уступить, кронпринц Адольф Фридрих с ним согласился, но Екатерина энергично воспротивилась. Брюммер смирился. «Я... ни о чем ином не думаю, как бы только [отсюда] ретироваться... и о своем колеблющемся здоровье рачение иметь... Но я не отстану, не усмотря явственно о будущем не для меня, но для других креатур...» — писал он осенью 1745 года в Германию одной из своих постоянных корреспонденток госпоже Брокдорф. «Креатуре» между тем не помешали бы полезные рекомендации знающих людей относительно того, как парировать интриги хитрого канцлера. Но Иоганна Елизавета после свадьбы дочери возвращалась домой, Брюммера борьба утомила, а Лестока, Мардефельда, д'Альона судьба маленького немецкого герцогства не слишком заботила. Вот и обратилась принцесса накануне бракосочетания за помощью к дяде. А чтобы Бестужев не прочитывал его полезные советы, просила кронпринца прислать ей шифр.

Просьба, увы, припоздала. С 18 июня 1745 года переписка голштинцев перлюстрировалась. По ней Елизавета Петровна знакомилась с тем, как невеста великого князя набиралась политического опыта. Результаты вполне удовлетворяли ее. Нарекания вызвала лишь идея с «цифирью». 23 сентября царица запретила девушке пользоваться шифром при сношениях со Стокгольмом. В конечном счете Бестужев переиграл юную Екатерину. По-видимому, отъезд 28 сентября из Санкт-Петербурга ее матери и увольнение в тот же день камер-юнгферы великой княгини Марии Жуковой, уличенной в вымогательстве у хозяйки драгоценностей и других вещей, выбили красавицу из колеи, и канцлер не упустил момент. Ориентировочно в первой половине октября он привел Петру Федоровичу резоны, переборовшие женское обаяние. Великий князь прислушался к мнению Алексея Петровича и 13 ноября произвел принца Августа в администраторы Гольштейн-Готторпа.

Новость, судя по всему, потрясла Екатерину. Решение мужа она восприняла как предательство. Возможно, между ними существовала договоренность, что без общего согласия Петр назначения не произведет. В итоге великая княгиня пережила сильное разочарование и, к сожалению, ни понять, ни простить супруга, ни, по крайней мере, скрыть раздражение не смогла. Максималистка, она отныне при каждом удобном случае пеняла великому князю за малодушие, бесхарактерность, потакание врагу. Вспыльчивый престолонаследник, естественно, не безмолвствовал. Ссора за ссорой, и через полгода от прежней симпатии и любви почти ничего не

осталось. Воспетый одописцами брак превратился в фикцию, о чем пока мало кто подозревал, ведь на публике великокняжеская чета продолжала изображать идеальную пару. Даже проницательная императрица не сразу обнаружила разлад — не раньше февраля — марта 1746 года.

Часто цитируемая записка Петра Федоровича жене, опубликованная еще Герценом, об обмане и двухнедельном разрыве, о «несчастном муже», которого «Вы никогда не удостаивали этим именем», датируется как раз февралем. Документ свидетельствует не об измене Екатерины, как принято интерпретировать текст, а об усталости автора от бесконечных скандалов. Отсюда и недели ночевки в разных комнатах. Похоже, весной 1746 года Елизавета бросилась спасать то, чего уже не было. Трещина, возникшая в ноябре, за три месяца расширилась до пропасти.

Тем не менее государыня попробовала взять ситуацию под контроль, учредив посты двух обер-гофмейстеров и полностью разгрузив Х. В. Миниха от каких-либо обязанностей, кроме педагогических. 3 мая барон был официально освобожден от руководства гоф-интендантскими конторами (фактически ими уже с 10 марта управлял шеф Канцелярии от строений В. В. Фермор). Параллельно канцлер сочинял инструкцию для официальных воспитателей — Василия Никитича Репнина и Марии Симоновны Чоглоковой. Кстати, Чоглокову, урожденную Гендрикову, служившую цесаревне фрейлиной, прочили в гофмейстерины великой княгини за полгода до этого. Однако Елизавета сочла Екатерину достаточно взрослой и не нуждающейся в присмотре, а потому после отставки 30 сентября 1745 года М. А. Румянцевой другой гувернантки у нее не появилось.

Десятого мая 1746 года канцлер поднес императрице проекты инструкции для Репнина и обращения к Брюммеру и Берхгольцу, намекавшего на необходимость их ухода по собственному желанию. 11 мая подспели «статьи» для Чоглоковой. Все три текста свидетельствуют о стремлении императрицы осуществить кадровую рокировку плавно и поэтапно, а кроме того, обнаруживают ее причину — семейные распри, вызванные недовольством великой княгини политическими симпатиями мужа.

Третий документ обязывал Чоглокову приложить «крайнейшее старание... дражайшее доброе согласие и искреннейшую любовь и брачную поверенность между обоими Императорскими Высочествами... неотменно соблюдать, наималейшей холодности или недоразумению приятным советом и приветствием... предупреждать и препятствовать... чтоб Ея Императорское Высочество с своим супругом всегда с... добрым и

приветливым поступком... угождением... уступлением, любовью, приятностью и горячностью обходилась и... все случаи к некоторой холодности и оскорблению избегать». В пункте четвертом авторы деликатно обозначили источник семейной драмы: «Ея Императорское Высочество... наиразумнейше учинит, когда в здешния государственныя или голштинскаго правления дела и до того касающееся мешаться или комиссии и заступления на себя снимать, наименьше же в публичных и партикулярных делах противную сторону против своего супруга принимать не станет...» Репнину также вскользь порекомендовали беречь супругов от ссор и обременили иной важной задачей — отучить великого князя от забав с лакеями и ребячества, привить охоту к систематическому образованию и полезным занятиям.

Про лакеев разработчик инструкции завел речь не напрасно. Один из них давно и упорно травил душу Петру Федоровичу сказками о славном шведском королевстве и разговорами об утраченном им шансе самому возглавить этот «земной рай», о коварстве и грубости русских, корыстных и бессовестных придворных императрицы и т. д. Камердинер Густав Румберх, в прошлом солдат Карла XII, спустя 30 лет отомстил-таки России за горечь поражения при Полтаве, нанеся удар в уязвимое место — престолонаследник и без того был морально раздавлен раздорами с собственной женой.

Только 23 мая 1746 года Елизавета Петровна узнала о жалобах великого князя: «Да, когда бы шведы меня к себе наперед взяли, то б я большее водность себе имел!» Кто внушил эти мысли Петру Федоровичу, доносчик не уточнил, но императрица сообразила: это был кто-то из слуг. Немедленно последовало высочайшее распоряжение об аресте и высылке из столицы всех любимчиков великого князя. Пострадали камер-лакей Андрей Чернышев, лакеи Александр Долгой, Григорий Леонтьев, Алексей и Петр Чернышевы — их разослали обер-офицерами по провинциальным гарнизонам. Румберха, заподозренного в первую очередь, отвезли в Москву и в конторе Тайной канцелярии вывели правду.

Вечером 23 мая Бестужев представил Репнина Петру Федоровичу, после чего генерал и великий князь посетили кадетский корпус на Васильевском острове. А государыня тем временем отлучилась в Красное Село и Петергоф, чтобы поразмышлять на свежем воздухе о создавшейся ситуации. Вернулась 25 мая явно не в духе. Недаром Христиан Вильгельм Миних на следующее утро предпочел покинуть квартиру в Летнем дворце, куда двор перебрался в апреле из Зимнего, и на недельку уединиться в своей наемной, городской, в особняке У. Сенявина в 1-й линии

Васильевского острова. Похоже, аллеи и фонтаны Петергофа и охотничьи угодья Красного Села не помогли императрице найти решение, и это один из тех редких случаев, когда Елизавета оказалась не в силах рассчитать оптимальный вариант.

В день возвращения царицы Екатерина познакомилась со своей наставницей. Наутро Чоглокова с вещами разместились в отведенных ей покоях.

Еще сутки государыня мучилась поиском средства, способного залечить рану, нанесенную великому князю супругой и шведофилами. Днем 26 мая она осознала тщетность всех попыток, после чего сорвалась — пришла к Екатерине и, не особенно церемонясь, отчитала ее за третирование мужа, эгоистичность, мстительность, жестокость. Гнев обычно уравновешенной тетушки произвел на великую княгиню угнетающее впечатление. Поняв, что навсегда потеряла высочайшее расположение, она в первом порыве чуть не покончила с собой. Хорошо, что вовремя подоспевшая камер-юнгфера Татьяна Константиновна Скороходова отняла у Екатерины нож...

Лето 1746 года — самый трудный период в жизни великой княгини. Екатерина в одночасье превратилась из любимицы императрицы в поднадзорного изгоя. Чоглокова не сводила с подопечной глаз, дабы та, не дай бог, еще как-нибудь не обидела ранимого супруга. По примеру царицы дистанцировался от немецкой принцессы и двор. О примирении с мужем не было и речи. Великая княгиня оказалась бы в полной изоляции, если бы не Миних. Обер-гофмейстер императрицы прежнюю миссию не прервал — наоборот, опала подопечной способствовала ее осуществлению. Ведь до мая 1746 года Екатерина отвлекалась на чтение серьезной литературы урывками, между балами, маскарадами, куртагами, выездами на охоту, прогулками верхом, официальными и частными визитами, общением с подружками, особенно с закадычной — камер-фрейлиной Екатериной Дмитриевной Кантемир. За полгода она лишь изредка брала в руки перо, чтобы черкнуть строчку-другую матери в Цербст (обыкновенно за нее это делал усидчивый Миних). Месяца за два до рокового майского дня наставник хитростью заставил ветреницу познакомиться с творчеством Вольтера, всучив лист, присланный из Германии, — копию письма философа Луизе Ульрике, шведской кронпринцессе, супруге любимого дяди Адольфа Фридриха. Стиль европейской знаменитости Екатерине понравился. «Оное весьма изрядно писано...

Я Вашу Светлость нижайше прошу присылкою его сочиненных книг поспешить», — обратилась она к матери 22 марта 1746 года.

Судя по всему, томики Вольтера подоспели как раз вовремя, летом 1746 года, и затворница поневоле засела за чтение, потихоньку втянулась и уже «не могла от них оторваться». Потом — наверняка по совету барона Миниха — взяла в руки и другие книги: письма маркизы де Севинье, «два огромных тома Барониуса... «Дух законов» Монтескье... «Анналы» Тацита», труды иных ученых мужей разных эпох. Так Екатерина Алексеевна пережила — правда, в более мягкой форме — то же, что и Елизавета Петровна двадцатью годами ранее. Как и дочери Петра, принцессе из Ангальт-Цербста положение отверженной пошло на пользу. Когда через 12 лет, весной 1758-го, опала закончилась, великая княгиня уже была той, какой описала себя в мемуарах: расчетливой, амбициозной, мечтающей о российском престоле^{47}.

Глава пятая

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ

Второго апреля 1743 года Елизавета Петровна подписала указ, запретивший без ее ведома производство морских офицеров в новые чины. Проблема заключалась в неэффективности введенного на флоте 22 ноября 1732 года штатного расписания, согласно которому морская иерархия младших и средних офицерских чинов разом сократилась до трех званий — мичмана, лейтенанта и капитана, приравнивавшихся соответственно к армейским чинам поручика, майора и полковника. Тем самым шкала поощрений существенно сузилась, автоматически снижая заинтересованность кадровых военных в службе. Наличие лишь трех рангов не могло не уязвить честолюбие офицеров, находящихся в равном чине, но командовавших кораблями разных классов. Ухудшение морально-психологического климата, подрывавшее боеспособность двух российских эскадр — Кронштадтской и Ревельской, являлось, несомненно, главной опасностью, которую предстояло нейтрализовать как можно быстрее.

Что именно следовало совершить, царица хорошо знала: восстановить отцовский морской регламент с табелью из восьми чинов (мичман, унтер-лейтенант, лейтенант, капитан-лейтенант, капитаны 3, 2, 1-го рангов, капитан-командор). Однако как реализовать реформу, не настроив против себя большую группу старших офицеров? Задача на первый взгляд трудноразрешимая, ведь на 36 прежних капитанов и 155 лейтенантов не хватит штатных единиц капитан-командора (три в корабельном флоте и одна в галерном), капитана 1-го ранга (семь в корабельном и две в галерном), капитана 2-го ранга (девять в корабельном и две в галерном) и капитана 3-го ранга (14 в корабельном и две в галерном)! Тем не менее императрица нашла выход. Прежде всего требовалось прекратить рост числа морских штаб-офицеров. Указ от 2 апреля 1743 года лишил кого-либо, кроме монарха, права на чинопроизводство. Далее надлежало запастись терпением — дожидаться естественной убыли части капитанов и лейтенантов «аннинского призыва». А чтобы эта политика не спровоцировала возмущение и протесты, ее пришлось замаскировать имитацией тщательного изучения нового штатного расписания.

Шестнадцатого января 1744 года на заседании Сената императрица велела членам Адмиралтейской коллегии подготовить для нее список офицеров, достойных повышения в чины капитан-командора, капитана 1, 2

и 3-го рангов, капитан-лейтенанта и лейтенанта, а также тех, кто по старости или болезни «во флоте быть не способны». Коллегии понадобилось меньше двух месяцев. Уже 10 марта она отрапортовала об исполнении высочайшей воли. Правда, на поданный документ государыня почему-то не отреагировала. Адмиралы около двух лет не осмеливались напомнить ей о списке, а потом вдруг не выдержали и в начале января 1746 года известили главу государства об отсутствии резолюции на важной бумаге. В ответ получили... молчание. Потом они 12 раз при любой okazji обращались к монархине с нижайшими прошениями почтить вниманием их мнение о кадрах — последний раз в августе 1749-го. Но дочь Петра упорно игнорировала их мольбы, хотя и сделала несколько знаковых назначений: 27 июня 1745 года капитан Воин Римский-Корсаков удостоился звания капитан-командора корабельного флота, 19 августа капитан Артемий Толбухин — капитан-командора галерного; 5 сентября 1747-го капитаном 2-го ранга стал лейтенант Никифор Молчанов, а 20 ноября 1749-го — еще семь офицеров, отличившихся в 1741–1742 годах в камчатской экспедиции Витуса Беринга и в 1743-м в войне со шведами.

Между тем члены Адмиралтейской коллегии попробовали достучаться до государыни через канцлера. 29 марта 1748 года М. А. Белосельский, З. Д. Мишуков, А. И. Головин, Б. В. Голицын и В. Я. Римский-Корсаков навестили Бестужева-Рюмина и, жалуясь на «разорение и упадок» флота, попросили замолвить перед царицей слово о снятии запрета на производство в чины морских офицеров. Увы, даже всемогущий Бестужев не смог помочь. Руководство морского ведомства не подозревало, что в вопросе о морском штате Елизавета прислушивалась к «мнению» единственного советника — времени. За истекшие с весны 1743 года семь лет количество штаб-офицеров в корабельном и галерном флоте существенно уменьшилось: пять капитанов и 21 лейтенант скончались, пять капитанов и 31 лейтенант по болезни или старости были аттестованы к отставке, два лейтенанта уволились с морской службы по собственному желанию. Конкуренция за вакансии, предусмотренные петровским регламентом, заметно ослабла, и теперь ничто не мешало государыне утвердить многострадальное адмиралтейское расписание.

Двадцать шестого марта 1750 года императрица при встрече с генерал-прокурором Н. Ю. Трубецким распорядилась «взять в Сенат обратно» документ, внесенный Адмиралтейской коллегией в марте 1744-го, чтобы дополнительно обсудить все спорные моменты с учетом позиции нового главы коллегии адмирала М. М. Голицына. На следующий день И. А. Черкасов отправил «доклад с росписанием адмиралтейским и с

разсмотрением сенатским» в высший орган империи. 2 апреля Сенат при участии членов Адмиралтейств-коллегии приступил к дебатам, затянувшимся на четыре дня. По ходу прений выяснилось, что большинство морских чиновников (М. А. Белосельский, А. И. Головин, В. Я. Римский-Корсаков, Б. В. Голицын, Я. Л. Хитрово и И. Л. Талызин) сомневались в целесообразности введения нового штата. Им возражали члены Сената, а также М. М. Голицын и З. Д. Мишуков. 7 апреля Елизавета Петровна официально назначила адмирала Голицына президентом коллегии. Однако даже поддержка сторонников петровского регламента августейшей особой не смутила и не переубедила их оппонентов — 27 апреля те внесли в Сенат письменный протест против немедленного упразднения капитанов полковничьего и лейтенантов майорского рангов.

Первого мая Сенат отклонил протест, а 4-го Н. Ю. Трубецкой ознакомил с обоими «мнениями» государыню. Размышляла она недели полторы. 16 мая Сенат объявил морскому ведомству высочайшую волю: надо попробовать привести расписание чинов в соответствие с петровским регламентом. Адмиралтейство подчинилось и 31 мая представило свои предложения о персональном распределении штаб-офицеров по новым чинам. 5 и 6 июня сенаторы выслушали проект и полностью согласились с ним. 29 августа очередной доклад о морском штате ушел на высочайшее утверждение, но опять случилась заминка.

По-видимому, императрица, изучив документ и заметив, что справедливого распределения вакансий между штаб-офицерами флота не получается, решила подстраховаться, отложив подписание еще на год. Только 5 сентября 1751-го Елизавета подтвердила сенатский «список о вмещении наличных офицеров в комплектное число» и указ о возведении тринадцати морских офицеров в новые ранги, в том числе капитана 1-го ранга А. И. Полянского в контр-адмиралы, капитана 1-го ранга Д. Кейзера в капитан-командоры корабельного флота, советника И. Братича в капитан-командоры галерного флота^[48].

Благодаря изобретательности Елизаветы Петровны изменение штатного расписания в военно-морском флоте прошло с минимальными потерями. Недовольство фактическим замораживанием чиновпроизводства на восемь лет было, очевидно, меньшим злом в сравнении с раздражением моряков из-за несправедливости распределения должностей среди офицеров равных званий, а тем более с взрывоопасным возмущением массовым «разжалованием» на ранг, а то и на два в случае резкого перехода на новую систему. В итоге высокий моральный дух морского офицерского корпуса России сохранялся на протяжении обоих десятилетий

елизаветинского царствования.

Значительную роль в нейтрализации протестных настроений на флоте сыграл адмирал М. М. Голицын, с пониманием отнесшийся к тому, что императрица затягивала его официальное вступление в должность главы военно-морского ведомства. Осенью 1744 года после отъезда за границу на лечение президента Адмиралтейской коллегии адмирала Н. Ф. Головина Голицын являлся первым кандидатом на практически освободившийся пост. Основанием тому служили хорошее знание морского дела, стаж (служил на флоте с 1703 года), исполнение с 1732 по 1737 год должности флотского генерал-кригскомиссара, по существу заместителя Головина, членство с 1741 года в Сенате. Однако 2 сентября 1744 года императрица через канцлера Бестужева-Рюмина предупредила Голицына, что ему предстоит отправиться послом в Персию, а 16 декабря подписала соответствующий указ, подсластив пилюлю присвоением чина действительного тайного советника. Главным командиром в коллегии с начала бессрочного отпуска адмирала Головина оставался генерал-экипажмейстер (с 1747 года — генерал-кригскомиссар) Михаил Андреевич Белосельский. Ожидалось, что именно Белосельскому после смерти Головина 15 июля 1745-го императрица поручит управление российским флотом. Так оно и вышло, но только де-факто, а не де-юре.

Елизавета Петровна блестяще воспользовалась оказией — вакантностью президентского места в Адмиралтейств-коллегии, превратив Голицына в пример для подражания: раз уж кандидат на главный флотский пост терпеливо ожидает окончания отсрочки назначения, то и его будущим подчиненным грех роптать на задержку с пожалованием в следующие чины. А на то, что Михаил Михайлович рано или поздно возглавит Адмиралтейство, государыня довольно прозрачно намекнула 22 февраля 1746 года, удостоив его единственного на русском флоте чина адмирала — правда, с условием, что «в сию должность вступить ему по возвращении его из нынешняго посолства из Персии». Дипломатическая миссия Голицына завершилась весной 1748 года. Тем не менее адмиралтейские вопросы царица по-прежнему обсуждала с Михаилом Белосельским, а тезка генерал-кригскомиссара продолжал стоически переносить это унижение.

Государыня сознавала абсурдность ситуации, однако час для утверждения нового морского штата, а с ним и нового президента Адмиралтейств-коллегии в 1748 году не пробил. Чтобы еще потянуть время, ей требовалось что-то придумать для ослабления брожения среди военных моряков, терявшихся в догадках, кто же на флоте главный —

адмирал или генерал-кригскомиссар. И дочь Петра придумала: 24 апреля 1749 года «повелеть соизволила иметь» адмиралу Голицыну «над флотом главную команду» без членства в Адмиралтейской коллегии. Князь обрел привилегию руководить российскими эскадрами и верфями, не заседа в коллегии, ибо в ее штате не числился. Подобный маневр дал государыне дополнительный год всеобщего терпения. Когда же в марте 1750-го императрица решилась на введение нового штата, нужда в отдалении адмирала от президентского поста отпала, и менее чем через месяц он получил долгожданное назначение. Возможно, потом царица пожалела о том, ибо ей пришлось отсрочить другие повышения почти на полтора года и заплатить за очередное промедление снижением собственного авторитета у морских офицеров^[49].

Впрочем, «забывчивость» в одном вопросе компенсировалась усердием в других. Хотя преемники Петра Великого и порицаются историками за невнимание к флоту, любимому детищу первого императора, подобные оценки совершенно несправедливы по отношению к Анне Иоанновне и тем более к Елизавете Петровне. Вторая лично курировала все вопросы, связанные с деятельностью двух корабельных эскадр — Кронштадтской и Ревельской (последнюю, упраздненную Анной Иоанновной, она восстановила 13 сентября 1742 года). С окончанием Русско-шведской войны Балтийский флот не сразу вернулся к мирному распорядку. Первые четыре года эскадры неоднократно приводились в боевую готовность: в 1744 году — из-за угрозы войны с Данией, в 1747-м — из-за угрозы войны со Швецией. И каждый раз императрица сама распоряжалась, сколько судов вооружить и к какому сроку, каким запасом продовольствия их обеспечить, а потом строго контролировала исполнение: «Что по сему указу в приготовлении флотов происходить будет, о том подавать нам ведомости на всякую неделю» (из указа от 13 декабря 1746 года).

К счастью, воевать не пришлось до 1757 года. Поэтому ежегодно в учебное плавание выходили до двенадцати линейных кораблей и фрегатов (четыре из Кронштадтской эскадры и восемь из Ревельской). Почему не все? Попробовали в 1743 и 1744 годах. Потолкались в страшной тесноте в традиционных местах учений в Финском заливе — у Рогер-вика и Красной Горки, после чего ретировались в порты опять же с позволения государыни. 25 июля 1744 года она не без влияния Н. Ю. Трубецкого согласилась, что с опекой переборщила, и в будущем рекомендовала ориентироваться на морской регламент, предписывавший совершать учебные походы длительностью три недели.

Тем не менее в 1745 году Елизавета не удержалась от очередного вмешательства в отцовский регламент. 3 июня, вспомнив уроки прошлого года, откорректировала его — отослала учебные отряды из Финской «лужи» на просторы Балтики — в треугольник между островами Готланд, Аландскими и Даго с Эзелем. С того времени и до Семилетней войны мореходные навыки оттачивались именно там, а не рядом с домом. В 1755 году флот настолько освоился с балтийскими ветрами, что было решено отправить особую группу кораблей в Северное и Норвежское моря. С конца июня до середины августа четыре фрегата под командованием Петра Чаплина маневрировали у норвежских берегов, имея ремонтную базу в Копенгагене, а затем благополучно возвратились в Кронштадт. Еще один эксперимент императрица провела в 1746 году — увеличила срок экзерциций с трех до пяти недель, но на следующий год отменила новшество, ибо и без того с учетом погоды и состояния кораблей экспедиции реально продолжались от полутора до двух месяцев, а то и дольше^[50].

Елизаветинским адмиралам не довелось прославиться своими Гангутом, Гренгамом, Чесмой или Калиакрией. В 1742 году Мишуков упустил шанс принудить шведов к баталии, в 1743-м они уклонились от генерального сражения, а в Семилетнюю войну, поскольку Пруссия боевым флотом не располагала, российские корабли довольствовались блокадой побережья, артиллерийской поддержкой сухопутных войск и транспортировкой солдат и припасов. Несмотря на это, верфи в Санкт-Петербурге и Архангельске не простаивали. Мастера строили новые корабли, капитаны регулярно огибали Скандинавский полуостров, чтобы доставить пополнение с Белого моря в Ревель или Кронштадт. Реже, зато торжественнее спускали на воду корабли со стапелей Санкт-Петербургского Адмиралтейства. Дату праздничного мероприятия, естественно, выбирала государыня, которой обязательно рапортовали об окончании строительства всех судов, в том числе и гражданских, например пакетботов.

При Елизавете Петровне завершилось сооружение канала имени Петра Великого в Кронштадте. 30 июля 1752 года императрица лично открыла его. Если верить Екатерине II, он существовал только на бумаге, пока она не распорядилась завершить долгострой — «выстроить огненную мельницу», вычерпывающую воду. Неправда! В крестообразную систему доков ежегодно на зиму вводилось до десяти судов на ремонт, после чего вода откачивалась и рабочие брались за починку. Весной шлюзы отворялись, вода заполняла доки и суда выходили в залив. К лету 1755 года здесь построили первый корабль, восьмидесятипушечный «Святой Павел»,

который «чрез впущенную воду... сам собою поднимался без всякого труда, людям и ему вреда». Церемония его спуска со стапелей была проведена 10 июля 1755 года в присутствии адмирала Голицына.

А вот совсем неожиданный факт: 14 марта 1746 года Елизавета Петровна инициировала замену на флоте пива сбитнем как более полезным для моряков напитком. Насколько обоснованным было это нововведение, пусть судят профессионалы. Можно, конечно, сомневаться и в целесообразности переодевания морских офицеров в форму белого цвета с зеленым прибором, однако она просуществовала полвека и запомнилась современникам и потомкам. В ней Спиридов и Грейг, Чичагов и Ушаков одерживали блестящие победы над турками, шведами и французами. Придумала же ее Елизавета Петровна, побеспокоившись и о знаках различия генералитета, штаб-и обер-офицеров. 28 июня 1745 года на встрече с М. А. Белосельским царица обрисовала, как должен выглядеть мундир, и велела «для лутчего разсмотрения» изготовить три образца — адмиральский, полковничий, лейтенантский. Портные управились за девять дней. 7 июля государыня одобрила их работу, подкорректировав обер-офицерские знаки различия. Первоначально на адмиральскую форму нашили широкий золотой галун по борту кафтана в два ряда, на полковничью — в один, на лейтенантскую — ничего. Елизавета Петровна предложила всё же снабдить мундир младшего командного состава золотой полосой, но наполовину уже^[51].

Русским морякам в царствование Елизаветы Петровны фатально не везло на ситуации, благоприятные для славных подвигов, что воочию демонстрирует эпизод с диверсионной акцией, проведенной в 1751 году, совершенно неизвестный массовому читателю. А начиналась эта история 29 сентября 1744 года в Астрахани, куда из Персии вернулось торговое судно англичанина Ганса Бардевика «Император России». Таможенную команду удивило отсутствие на корабле экспедитора Джона Эльтона. Шкипер Томас Вудро сообщил, что тот задержался в Персии «для купечества». Однако русские матросы Петр Степанов и Федор Иванов поведали, что Эльтон находится в Ленгеруте «при строении карабля персианам... длиною по килю на девяносто футов, и слышно... якобы на нем поставлено будет сорок пушек». 4 марта 1745 года Сенат, узнав о том, предписал переслать важную новость в Иностранную коллегию. Бестужев поблагодарил за предупреждение и обещал принять надлежащие меры. Но время шло, а в Ленгеруте строительство кораблей лишь набирало силу. 7 августа 1746 года сенаторы под влиянием тревожных обращений Адмиралтейской коллегии запросили у канцлера объяснений. Тот в ответ

промолчал. И тогда они решили апеллировать к императрице.

В свою очередь Елизавета Петровна еще 24 апреля распорядилась, чтобы Бестужев поразмышлял, как пресечь ущербную для России англо-персидскую торговлю через Астрахань и Каспийское море. Министр-англоман изо дня в день под разными предлогами откладывал исполнение высочайшего поручения, пока 15 августа государыня не велела ему, во-первых, отменить привилегию англичан на провоз их товаров по Каспию в Иран, во-вторых, совместно с Сенатом организовать уничтожение двух персидских судов «Элтонова строения»^[52]. Понадобился целый год для организации опасной диверсионной операции. Руководил ею российский резидент в Персии Ф. Л. Черкесов, возглавивший миссию после отъезда на родину М. М. Голицына. Ему в подчинение Адмиралтейская коллегия выделила два корабля, приписанных к астраханскому порту, под командованием Михаила Рагозео и Ильи Токмачева. В столице Гилянской провинции Ряц (Решт) рескрипт о «поиске» на Ленгерут был получен 22 декабря 1747 года.

В ту пору в Персии царил полный хаос. Деспотизм шаха Надира спровоцировал цепь восстаний, расшатавших страну. 9 июня 1747 года во время очередного карательного похода против курдов всеми ненавидимый шах был убит заговорщиками в лагере под городом Кучан. Его племянник Али Кули-хан, занявший престол, упустил свой шанс сплотить многонациональную Персию. Пристрастие нового шаха к крепким напиткам и грузинской диаспоре возмутило подданных. Мятеж, вспыхнувший в феврале 1748 года, спустя три месяца увенчался победой брата шаха Ибрагим-мирзы и сердара (наместника) Амира Аслан-хана. Впрочем, сразу после свержения соперника они сцепились друг с другом в борьбе за первенство.

На таком фоне Черкесов и морские офицеры планировали атаку на Ленгерут. Еще до прибытия кораблей в Ряц резидент дважды, в январе и апреле 1748 года, подсылал к Эльтону разведчика, грузина Давыда Беджанова. Лазутчик, «под видом покупки пшена» посетив хозяйство англичанина, разузнал обстановку. К сожалению, выяснилось, что для нападения требуются «две большие лотки, на которых бы можно было в удобное время под видом разбойников в Ленгерут людей послать, и чтоб оные при случае опасности могли, исполня свое дело, прямо в море уехать. А на щерботах того исполнить... невозможно».

Пришлось Рагозео 13 июня вернуться в Астрахань за лодками. Он отыскал две восьмивесельные, но погрузить на галиот «Нонпарель» сумел только одну и 2 или 3 июля отплыл обратно. Губернатор Брылкин взялся

обеспечить доставку в Гилянью второй лодки. Однако обстановка в Ряще резко ухудшилась. 2 июня там расположился наместник антироссийски настроенного Ибрагим-мирзы, и уже через девять дней Черкесов вынужден был переехать в ближайший портовый город Зинзили (Энзели), а 22 сентября из-за угрозы своей безопасности перебрался в Апшерон. Тогда же россияне в шторм потеряли одну лодку. Наступление осени сделало предприятие невозможным. Надежда возобновить его следующей весной исчезла после очередного мятежа. Победа Ибрагим-мирзы над Амиром Аслан-ханом в ноябре 1748 года не уладила страну, а лишь на полгода отсрочила наступление совершенной анархии. Поднявший знамя восстания в Мешехе внук шаха Надира Шарух-мирза опирался на любимцев деда — афганцев, самых боеспособных солдат Персидской державы. В июне 1749 года они легко разгромили армию Ибрагим-мирзы, тем самым уничтожили единство и без того практически раздробленного государства. Власть на местах де-факто захватывали разбойничьи шайки или военные группировки, периодически конфликтовавшие между собой и постоянно грабившие мирное население. Попытка Черкесова вернуться в Гилянью в мае 1749 года не увенчалась успехом. Прожив около месяца «на судне на море против Зинзелей» и так и не отважившись высадиться на берег, 1 июня он отплыл в Астрахань. Его заместитель консул В. И. Копытовский отправился следом через полтора месяца. Последним рейд у Зинзелей покинул корабль Токмачева, эвакуировавший всех пожелавших уехать русских и иностранных коммерсантов.

В итоге петербургскому двору пришлось утешиться тем, что хаос и гражданская война положили — ли конец работам на ленгерутской верфи, а местное население ненавидело кораблестроителя-британца, в апреле 1748 года по воле Али Кули-хана ставшего правителем Ленгерута. Именно это обстоятельство, а не диверсионная акция, помогло через полтора года добиться намеченной цели. Российской дипломатии теперь предстояло натравить на Эльтона кого-то из влиятельных персов. Хаджи-Джеймаль, хозяин Гиляни с лета 1750 года, пожелал завладеть солидной суммой, полученной Эльтоном от Надир-шаха на строительство кораблей. Русский консул Иван Данилов, приехавший в Персию в октябре 1750 года, всемерно поощрял это стремление. Впрочем, Хаджи-Джеймаль не сразу решил атаковать Ленгерут. Удобный предлог появился в марте 1751-го, когда гилянский губернатор узнал о тайной переписке англичанина с губернатором Астрабада и Мазандерана, сердаром Мухаммедом Хасан-ханом Каджарским, с января старавшимся захватить Гилянью.

Полковник Ади-бек с отрядом в тысячу сабель атаковал логово

британца. Оборонявшие его армяне-наемники отказались от сопротивления, и Эльтон поневоле капитулировал без боя. Ади-бек в точности исполнил инструкцию Хаджи-Джеймаля: сжег верфи и недостроенный пятый корабль, разрушил адмиралтейские мастерские, укрепления и дом Эльтона, два корабля и два малых бота перевел в Зинзили, а плененного англичанина 7 апреля привез в Рящ. Позднее Хаджи-Джеймаль расстрелял британца в своем горном имении Фумин^{53}.

В Санкт-Петербурге, еще не ведая об успехе Данилова, собирались воспользоваться распрями между раздробленными персидскими провинциями для уничтожения адмиралтейства Эльтона. 20 июня сержант Анфиноген Семенов выехал из столицы в Астрахань с рескриптом Иностранной коллегии губернатору И. О. Брылкину: без промедления вывести в море два корабля для проведения тайной диверсии против верфей и кораблей Эльтона, а самого англичанина поймать и доставить в Россию.

Нарочный примчался в Астрахань 11 июля. Губернатор послал для проведения операции десятипушечный гекбот «Святой Илья» под командованием мичмана Михаила Рагозо и двенадцатипушечную шняву «Святая Екатерина» под командованием мичмана Ильи Токмачева. В срочном порядке на корабли подобрали по 50 матросов и погрузили вооружение — порох, ядра, картечь из расчета 12 выстрелов на каждое орудие, 100 трехфунтовых гранат, «для зажигания светлых ручных ядер сто», 30 фунтов белой персидской нефти. 27 июля Брылкин вручил Рагозо инструкцию, тождественную коллежскому рескрипту, а на другой день корабли отправились в путь.

Достигнув Ряща 5 сентября, группа обнаружила там свиту консула Данилова, скончавшегося 21 августа, а также убедилась в смерти Эльтона и разорении Ленгерута. Рагозо и Токмачеву, следовательно, предстояло только уничтожить четыре корабля. Они без труда отыскали и в ночь на 18 сентября сожгли два больших корабля, без охраны стоявших на якоре в 12 верстах от Ленгерута. От поиска ботов пришлось отказаться: во-первых, 24 сентября умер Рагозо; во-вторых, идти на Астрабад, куда персы отвели боты, в осеннюю непогоду было рискованно. Токмачев отплыл обратно и 12 октября бросил якорь на рейде у Астрахани.

Астраханский губернатор послал в Петербург солдата Ивана Климова с реляцией об исполнении высочайшего указа. В столицу тот прибыл 12 ноября. Привезенное им сообщение весьма озадачило Бестужева и государыню. Рескрипт от 20 июня обещал морякам хорошее вознаграждение за искоренение в Персии европейского кораблестроения.

Но, очевидно, в Зимнем дворце сожжение двух всеми забытых кораблей подвигом не считали — Токмачев с товарищами почти год надеялся на какое-либо пожалование от царицы, не стесняясь время от времени напоминать о том губернатору. Наконец Брылкин не выдержал и 31 августа 1752 года отписал в Петербург: «Оная команда, ожидая себе сего награждения, непрестанно меня о исходатамствовании указа просит». В руки Бестужева депеша попала 19 сентября. В итоге Елизавета Петровна решила, что при данных обстоятельствах наименьшее зло — удовлетворить чаяния людей, пусть и не слишком рисковавших. 16 ноября она распорядилась повысить в звании на один ранг всех участников ночной «атаки». Кроме того, им полагалась денежная премия: по тысяче рублей Токмачеву и вдове Рагозео, по 150 рублей трем унтер-офицерам, по 100 рублей трем помощникам боцмана, по 50 рублей толмачу и восьми матросам 1-й статьи, по 40 рублей девяти матросам 2-й статьи, по 30 рублей четверем канонирам парусника и 17 солдатам^{54}.

Глава шестая

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ

О том, что Елизавета Петровна первой в истории России отменила смертную казнь, вспоминают часто. Между тем многие авторитетные историки отрицают факт официального изъятия из российского законодательства данной нормы, настаивая лишь на фактическом неисполнении при ней жестоких судебных приговоров, преимущественно по причинам личного характера. Якобы Елизавета Петровна перед тем, как поздним вечером 24 ноября 1741 года отважиться на свержение Анны Леопольдовны, поклялась перед иконами, что не подпишет ни одного смертного приговора, если станет российской императрицей. Мы не можем утверждать, давала или нет дочь Петра Великого накануне судьбоносной ночи какие-то обеты Всевышнему, зато знаем, что в процессе принятия закона об упразднении смертной казни она слишком настойчиво преодолевала сопротивление Сената, чтобы ее упорство объяснялось лишь страхом Божьего наказания или капризом.

В декабре 1741 года Елизавете Петровне пришлось дважды реагировать на обращения сенаторов по вопросу о казни преступников. 15-го числа сановники доложили ей о виновной в детоубийстве вдове камерира Гертруде Гоппие, по окончании суда пожелавшей принять православие. Согласно закону Анны Леопольдовны от 11 марта 1741 года, для казни обрусевших иностранцев, выбравших после суда греческое вероисповедание, требовалась санкция Кабинета министров. Поскольку 12 декабря этот властный орган был ликвидирован, право казнить или миловать данную категорию лиц принадлежало исключительно императрице. Сенат рекомендовал «по правам учинить смертную казнь». Будь царский обет реальностью, Елизавета Петровна должна была проигнорировать рекомендацию и смягчить участь преступницы. Государыня же, поручив Синоду еще раз рассмотреть дело Гертруды Гоппие, тут же аннулировала закон Анны Леопольдовны, предписав отныне, «где таковые впредь явятца, с такими поступать по уложению и по указом». Таким образом, царица разом обрекла на встречу с палачом всех иноверцев, которым весенний акт 1741 года практически гарантировал спасение.

Второй эпизод, опровергающий предположение о царском обете, произошел 31 декабря 1741 года тоже на заседании Сената. Императрице

донесли об украинце Федоре Рогачевском, осужденном на смерть, но заслуживающем снисхождения, о чем активно хлопотали малороссийские мирские и духовные чины, в том числе Генеральная войсковая канцелярия. Опять же легко предугадать решение человека, связанного клятвой перед Богом. Императрица же, прежде чем помиловать Рогачевско-го, запросила мнение Синода и справку, «по каким христианским законам оной... свободен быть имеет»^{55}.

Ответы Елизаветы на сенатские запросы красноречиво свидетельствуют, что отмены смертной казни в России она добивалась вследствие личных убеждений, а не под влиянием мудрых советников или опрометчиво произнесенных клятв. Царица ясно понимала, что в данном вопросе не имеет сторонников среди приближенных и для достижения цели ей придется идти наперекор общественному мнению. Его нужно было если не изменить, то хотя бы перехитрить.

Нуждаясь во времени для изучения ситуации и поиска какой-либо точки опоры, императрица в первые дни правления вела себя крайне осторожно, стараясь соблюсти общепринятую норму суровости. Без минимальной поддержки в обществе она не осмеливалась трогать вековую традицию, предусматривавшую за многие преступления обезглавливание или повешение. Максимум, на что государыня шла, — освобождение от эшафота тех, чья участь по закону зависела от нее (например, заговорщиков группы камер-лакея Турчанинова). На прерогативы других властей, ведомственных и региональных, самодержица благоразумно не покушалась.

Утверждение, что при Елизавете Петровне в России никого не казнили, не соответствует действительности. Пока императрица не придумала, как приступить к реформе, людей, как и раньше, продолжали лишать жизни по приговору суда — впрочем, недолго. Уже в июне — июле 1743 года возникла благоприятная ситуация для нарушения правовой нормы. Но прежде, 11 февраля, императрица провела своеобразную разведку боем: из закона о проведении второй подушной ревизии «всемиловитейше повелела написанныя в том формуляре смертныя казни выключить». Возражений ни от кого не последовало. Очевидно, сенаторы не увидели в казусе ничего серьезного.

Их мнение изменилось сразу же после того, как 2 августа 1743 года дочь Петра запретила фельдмаршалу Ласси казнить солдат, уличенных в мародерстве и убийстве шведов, и предписала донести канцлеру Швеции Гилленбургу, «что Ея Императорское Величество всякия смертныя преступления не натуральною, но политическою смертию наказывать

уоставила». Государыня точно рассчитала момент для атаки на традицию. Многие россияне сочувствовали осужденным соотечественникам и, естественно, приветствовали решение царицы о замене смерти членовредительством (отсечением правой руки, вырезанием ноздрей и ссылкой на каторгу). А вот сенаторов сей прецедент в сочетании с официальным заявлением монархини весьма обеспокоил, и 11 октября те постановили обратиться к ней с настоятельной рекомендацией сохранить смертную казнь, не забыв попутно напомнить о том, насколько часто прибегал к ней Петр Великий. Список подписавшихся под петицией выглядел внушительно: фельдмаршалы В. В. Долгоруков и И. Ю. Трубецкой, генералы Г. П. Чернышев, А. И. Ушаков и И. И. Бахметев, адмирал М. М. Голицын, тайные советники В. Я. Новосильцев и А. Д. Голицын.

Во избежание конфликта с ближайшими соратниками императрица удовлетворилась малым. Обнаружив в сенатском докладе примечание о практике 1726–1728 годов, когда всех осужденных на смерть казнили только с высочайшего позволения, она 10 мая 1744 года начертала на полях: «Таким образом и ноне повелеваю чинить Сенату, и, получа [«краткий экстракт» о каждом], мне объявить». Возрождение правила, действовавшего почти 20 лет назад, фактически означало введение в России моратория на смертную казнь^{56}.

Если у сенаторов и была надежда на оперативное рассмотрение императрицей судебных вердиктов из губерний и госучреждений с утверждением хотя бы нескольких смертных приговоров для острастки, то она рассеялась довольно скоро. Елизавета Петровна умышленно уклонялась от изучения судебных бумаг. Между тем число колодников, осужденных на казнь или ожидавших приговора по «смертным» статьям, росло день ото дня. Соответственно увеличивались затраты на их содержание и охрану, что, естественно, не нравилось сенаторам. К тому же их не могло не раздражать поведение царицы, походившее на саботаж. Дочь Петра конечно же сознавала ненормальность ситуации, но, скорее всего, заранее придумала оригинальный выход из нее.

Ориентировочно летом или осенью 1745 года в беседе с кем-то из придворных или министров она сделала важное признание, предрешившее поражение Сената, ибо ему пришлось выбирать между продолжением давления на императрицу ради восстановления смертной казни и оказанием помощи ей, якобы боявшейся нарушить священный обет, данный в ноябре 1741 года. Всеобщая уверенность в его существовании возникла не на пустом месте. Конечно, царица сама сообщила соратникам о «страшной»

клятве, и постепенно слух о ней распространился по России, а позднее и за границей. «Она поклялась, что не прольется ни капля крови от руки палача во всё время ее правления», — писал гостивший в Санкт-Петербурге летом 1774 года молодой английский баронет Натаниэл Рэксэл в путевых заметках, опубликованных спустя два года. В итоге Елизавета Петровна, солгавшая во имя благого дела, мгновенно урегулировала назревавший кризис, нимало не утратив доверия подданных. Общество всё же согласилось с отказом от смертной казни, ибо слово, данное Господу, безусловно, перевешивало все иные резоны. Отныне государыня не имела морального права подписывать смертные приговоры, и майский закон 1744 года автоматически превратился в закон об отмене смертной казни, по крайней мере, в ее царствование.

Правда, подобное развитие событий не устраивало ни императрицу, ни сенаторов. Одна желала официального узаконения фактической нормы, другие, опасаясь закрепления новой традиции, стремились компенсировать мягкость акта 1744 года каким-либо ужесточением. Оттого раскрытие августейшей «тайны» имело еще одно важное следствие. Сенат взял на себя подготовку и внесение на высочайшую апробацию проекта указа об отмене смертной казни. 17 марта 1746 года, ссылаясь на два обстоятельства — возрастание количества колодников (279 смертников, 151 вечный каторжник, 3579 еще не осужденных) и нехватку рабочих рук на строительстве каменной гавани в Рогервике, — высшая коллегия империи решила рекомендовать государыне не только передислоцировать в эстляндский городок шесть пехотных полков, но и утвердить реальной высшей мерой вместо казни битье кнутом, вырезание ноздрей, клеймение на лбу и щеках литер «В», «О» и «Р» с отправкой на вечную каторгу в Рогервик. Доклад от 28 апреля за подписью восьми сенаторов был вручен кабинет-секретарю И. А. Черкасову 30 апреля.

Елизавета Петровна посчитала данный вариант компромисса, заменявший «натуральную смерть» физическими истязаниями, неприемлемым, однако совсем отвергать его поостереглась. В резолюции от 6 сентября 1746 года она просто указала в Рогервике «ту работу продолжать даже до окончания», для чего распорядилась откомандировать туда четыре пехотных полка столичного гарнизона, никак не отреагировав на положения, отменявшие смертную казнь. Очевидно, императрица предпочла потянуть время, чтобы добиться от сенаторов новых уступок или хотя бы продлить действие более либерального закона от 10 мая 1744 года.

Указ привел сенаторов в недоумение. 13 ноября 1746 года они

постановили повторить попытку.

7 декабря Н. Ю. Трубецкой поднес царице точную копию прежнего доклада. Елизавета вновь не отреагировала. Время шло, а позиция Сената не менялась. В 1750 году курьер дважды — 21 мая и 7 ноября — отвозил в царскую резиденцию правительственные доклады с теми же предложениями без существенных корректировок. Государыня и их оставила без ответа. Лишь 29 марта 1753 года Елизавета Петровна утвердила очередной сенатский доклад от 19 марта с предложениями вместо смертной казни ввести наказание кнутом, вырезание ноздрей и клеймение лица тремя буквами. Примечательно, что нововведение скрыли от общественности. Сенаторы перестраховались и предписали в судебных вердиктах оговаривать, что смертная казнь заменяется вышеперечисленными мерами «до указа»^{57}.

По-видимому, императрица не рискнула дальше медлить с одобрением злополучного проекта по нескольким причинам: во-первых, из-за отсутствия шансов принудить сенаторов к послаблениям в законе; во-вторых, из-за опасений, что они могут больше не обратиться к ней за резолюцией, а затаятся до воцарения капризного и внушаемого Петра Федоровича, после чего акт 1744 года либо заработает, либо будет исправлен. Наконец, Елизавете Петровне хотелось, чтобы общественное мнение воспринимало инициаторами, а значит, и гарантами реформы и самодержицу, и Сенат, для чего надлежало узаконить сенатский проект без проволочек. В противном случае сенаторы — ее союзники поневоле — обретали возможность дистанцироваться от затеи и уже руками императора Петра III восстановить прежний порядок. Похоже, именно этим соображениям мы и обязаны появлению исторической даты — 29 марта 1753 года, когда была официально закреплена отмена смертной казни в России, между прочим, за 33 года до того, как тосканский герцог Леопольд, как традиционно считается, первым в мире на государственном уровне ликвидировал эту меру наказания 19 ноября 1786-го.

Глава седьмая

КАБИНЕТНЫЕ ДЕЛА

Личная канцелярия Елизаветы Петровны превратилась в мощную государственную корпорацию относительно быстро, года за два-три. В 1742 году И. А. Черкасов изворачивался, как мог, чтобы не утонуть в ворохе бумаг. Помогали ему канцелярист Василий Федоров и регистратор из Академии наук, деньги считал канцелярист из Соляной конторы, имелись еще переводчик и шесть курьеров — вот и вся команда, отвечавшая за эффективность документооборота императрицы. В октябре кабинет-секретарь взмолился о создании полноценной секретарской структуры, благо кое-кто из клерков разогнанного Кабинета министров спустя год маялся от безделья.

Елизавета Петровна удовлетворила пожелание Черкасова 7 декабря 1742 года. Пятерых безработных бюрократов — секретаря Якова Бахирева, камерира Афанасия Пташкина, подканцеляристов Андреяна Ушакова, Ефима Степанова, Сергея Кушникова зачислили в штат. Из Сената пригласили опытного обер-секретаря, статского советника Василия Ивановича Демидова, ставшего заместителем Черкасова и... альтер эго самой царицы. Похоже, к Демидову Елизавета присматривалась давно. За 30 лет службы тот многое повидал и многому научился. До 1737 года он секретарствовал в походных канцеляриях и Военной коллегии, оттуда ушел на повышение в Сенат. В челобитной Черкасова о нем не упоминалось, так что наверняка его перевод под крыло кабинет-секретаря был инициирован государыней. Именно ему пришлось играть непростую роль оппонента сенатского большинства, смело возражать «сильным персонам», дабы императрица в качестве третейского судьи улаживала споры в нужную ей сторону, но без ссоры с Сенатом.

К примеру, одной из первоочередных проблем, доставшихся Елизавете Петровне от предшественников, являлось полное расстройство денежной системы Российской империи из-за постоянных войн с турками, шведами, персами, поляками, французами. Страна уже задыхалась от изобилия облегченной медной монеты, наделанной при Петре Великом и Анне Иоанновне ради военных нужд. Наибольший убыток казна терпела от медных пятаков — излюбленного номинала фальшивомонетчиков. К 1742 году в обороте было около четырех миллионов медяков указанного достоинства. Но это еще полбеда. Вал медных денег буквально вымывал

золотой и серебряный запас. Коммерсанты, особенно иностранные, на ярмарках и биржевых площадках обменивали обесценивающуюся медь на драгоценные металлы и вывозили их за рубеж. Нечто подобное наблюдалось при царе Алексее Михайловиче в разгар войны с Польшей за Смоленск и Украину. Тогда инфляцией воспользовалась оппозиция и разразился Медный бунт (1662).

Сто лет спустя экономический кризис тоже мог перерасти в политический. Власти пробовали навести порядок. Однако официальные запреты на ввоз медных денег и вывоз серебряных и золотых помогали мало, как и попытки выйти из порочного круга, предпринимавшиеся министрами Анны Иоанновны. В 1730 и 1731 годах они постановили изъять из обращения медные пятаки и мелкую — меньше полтины — серебряную монету и стали собирать сумму, необходимую для их выкупа. За десять лет хождение мелкой серебряной монеты уменьшили на треть, отсрочив дату прекращения ее приема до 8 декабря 1743 года, а к ликвидации массы медяков за отсутствием средств даже не приступили. Тем временем медная наличность за те же годы усилиями правительства и частных практически удвоилась.

Елизавета Петровна посвятила подготовке урегулирования важнейшей внутривластной проблемы весь 1742 год. Солидная сенатская комиссия изучала архивы сосланных в Сибирь А. И. Остермана, Б. Х. Миниха и М. Г. Головкина в поисках проектов на интересующую государыню тему. Обнаружили немного, в том числе «мнение» П. И. Ягужинского. Несколько «рассуждений» осело в кабинете императрицы: государыня приняла и сохранила все предложения, поданные ей в течение того же года. В июне 1743-го сенатские и кабинетные проекты объединили, после чего вынесли на суд подопечных генерал-прокурора. Сановники полгода рассматривали 11 вариантов предотвращения финансовой катастрофы, добросовестно проанализировали все плюсы и минусы каждого, признав наилучшим «мнение» Ягужинского: в четыре года поэтапно снизить достоинство медной монеты до копейки. Параллельно они обсудили будущее мелких серебряных денег, полностью согласившись с рекомендациями Монетной канцелярии: обмен продлить на два года, переделывая собранное серебро в гривенники, а на третий год позволить податным сословиям оплатить серебряными копейками казенные подати и пошлины. В таком виде законопроект лег на стол дочери Петра весной 1744 года.

Конечно, члены Сената не были профессиональными экономистами. Впрочем, по здравом размышлении вельможи легко заметили бы, что эта

программа действий нуждается в коррективе — пресечении скупки серебра за медь. Но ни сенаторы, ни Монетная канцелярия об этом почему-то не позаботились, и пришлось императрице при посредничестве В. И. Демидова деликатно поправить их. 15 марта 1744 года Елизавета Петровна возобновила обращение мелких серебряных денег, разрешив «впредь до указа» брать ими казенные сборы. А потом на свет появился доклад статского советника Василия Демидова.

Удивительно: скромный сотрудник царской канцелярии рискнул раскритиковать сенатский план финансовой реформы и выдвинуть свой: пятак «разжаловать» сразу до одной копейки; хождение серебряной мелочи запретить, а в уплату налогов и пошлин брать ее не более двух лет. Примечательна реакция государыни: она не приструнила выскочку-автора, а велела сенаторам ознакомиться с его доводами и высказаться по существу. В итоге царица, во-первых, избежала прямого столкновения с авторитетной инстанцией, во-вторых, стала арбитром в споре, чего и добивалась.

Сенаторы отклонили возражения Демидова, хотя уже не настаивали на абсолютной правоте Монетной канцелярии, решив в этом вопросе довериться высочайшей точке зрения. А императрица выбрала компромисс. 11 мая 1744 года на заседании Сената она огласила два августейших вердикта: с 1 августа пять медных копеек считать за четыре, затем ежегодно в три приема убавить еще по копейке (реально номинал снизили до двух копеек в 1746-м и на том процесс заморозили); обращение мелких серебряных денег прекратить, а подати и пошлины ими платить до 1 июня 1746 года. 17 мая 1744 года эти законы с целью экономии средств дополнил указ о введении режима массовых отпусков: пожить в родовых деревнях до двенадцати месяцев в течение одного года могли половина сухопутных младших и старших офицеров и треть дворян из числа моряков и статских чиновников (за полугодовые и годовые отлучки от места службы жалованье не полагалось)^{58}.

Запустив механизм приведения в порядок российской финансовой системы, Елизавета Петровна параллельно позаботилась и о приращении запасов казенного серебра, чему весьма поспособствовал однофамилец заместителя кабинет-секретаря, действительный статский советник Акинфий Никитич Демидов. 8 февраля 1744 года в Москве на приеме у государыни он предложил «быть со всеми заводами, с детьми, мастерами и работными людьми... под ведением в высочайшем Кабинете». Дело в том, что на рудниках демидовского Кольвано-Воскресенского завода на Алтае в залежах медной руды обнаружилось серебро. После долгих лет проб и ошибок саксонские специалисты Филипп Трейгер, Иоганн Михаэль

Юнкганс и Иоганн Самуэль Христиани к осени 1743 года разработали технологию извлечения из медной породы серебряных примесей. Предвидя угрозу национализации стратегического для империи предприятия, «хозяин Урала» инициировал компромисс: Демидовы осваивают алтайское серебро под непосредственным контролем монархини.

Императрица идею одобрила и 24 июля 1744 года объявила хозяйство Демидова неподотчетным никому, кроме нее. К этому времени предусмотрительность Акинфия Никитича вполне оправдалась, ибо в Москву примчался Филипп Трейгер, чтобы лично известить государыню об открытии в тех же владениях Демидова первого в России золотого прииска — Змеиногогорского, и стало понятно, что алтайский комплекс рано или поздно отойдет в собственность казны. Так что заводчик не прогадал, заблаговременно выторговав себе пост директора.

Впрочем, царица не торопилась забирать у именитого промышленника рудники и заводы. Чтобы убедиться, что действительный статский советник не преувеличивал ценность своих алтайских владений, 17 мая 1744 года она откомандировала туда комиссию во главе с бригадиром Андреем Венедиктовичем Беэром, директором Тульского оружейного завода. Беэр в январе — феврале 1745-го проинспектировал Барнаульский и Колывано-Воскресенский заводы, посетил Змеиногогорский рудник и оформил приобретение его государством после того, как в присутствии высоких гостей Юнкганс и Христиани выплавляли из породы три десятка золотников серебра и один золота. В декабре комиссия вернулась в Санкт-Петербург с образцами драгоценных металлов, экспертизу которых провела Монетная канцелярия. Тогда-то удовлетворенная результатами Елизавета Петровна и решила на взятие алтайских заводов в казну, тем более что А. Н. Демидов в августе 1745 года скончался, а два его старших сына, Прокопий и Григорий, оспорили волю отца, завещавшего все предприятия младшему, Никите.

В марте 1746 года царица поручила Самуэлю Христиани де-факто установить государственное управление на обоих предприятиях, что тот и исполнил в августе, к зиме перепрофилировав Барнаульский завод в сереброплавильный. Официально они стали казенными 1 мая 1747 года, а А. В. Беэр их главным командиром. Заметим, будь дочь Петра легкомысленной ветреницей, Колывано-Воскресенский комплекс от частного владельца перекечевал бы не под крыло Кабинета, а в ведение Берг-коллегии. К счастью, императрица неплохо знала, как обстоят дела в горнорудной отрасли. Руководимый из Москвы первый российский серебряный рудник под Нерчинском, да и прочие сибирские казенные

заводы, железные и медные, не радовали реализацией плановых заданий. О соревновании с демидовскими металлургами там даже не мечтали.

Кто-то скажет: хозяина крепкого не имели. Если бы! Звался сей хозяин Берг-коллегия. Ее тяжелую длань чувствовали все управляющие предприятиями на местах, без одобрения сверху не смели сделать и шага, жили по инструкции. Любое экономическое вольнодумство требовалось согласовать с Москвой, где заседала Берг-коллегия. За слушанием следовали проезд столичной комиссии и неминуемый штраф. В центральных регионах кое-как выкручивались: до Москвы-то недалеко, отлучались на недельку-другую, договаривались. Из Сибири за резолюциями не наездишься — и хлопотно, и дорого, и рискованно; проще было соблюдать инструкции.

Несомненно, пример Демидовых и иных частных промышленников показывал, чего не хватало сибирякам — автономии. К сожалению, освободить своих директоров от жесткой опеки и Берг-коллегия, и Сенат не отваживались. К тому же по обычаю, заведенному еще Петром Великим, заводы управлялись коллегиально, старшим и младшими директорами. Посему и довольствовались в среднем 14 фунтами золота и сотней пудов серебра в год, привозимыми из Нерчинска. Но если железные и медные заводы не возбранялось передавать на откуп партикулярным персонам, то в отношении добычи драгоценных металлов эти правила не действовали. Значит, без максимальной автономии было не обойтись. Однако как перестроить мышление сенатского и коллежского начальства? Экспериментом, отвечать за который будет не оно, а кто-то другой...

Колывано-Воскресенский комплекс превратился в такой экспериментальный полигон под эгидой нового хозяина — личной канцелярии императрицы. Формально завод подчинялся Кабинету, фактически обладал полной свободой, завися единственно от Елизаветы Петровны, вовсе не собиравшейся мучить главу предприятия мелочной опекой.

Хотя указ от 1 мая 1747 года в угоду общераспространенной норме и подчеркивал, что любые резолюции надо принимать коллегиально, «со общего согласия и с подписками всех горных афицеров», негласно на встрече с Безром царица даровала ему полную свободу действий, о чем бригадир, в том же году пожалованный в генерал-майоры, проболтался позднее своему помощнику А. И. Порошину: «Я ту речь велел написать, чтоб с [общего] согласия, а я де могу и один для того, что де мне в том государыня поверила». Диктатура Безра до крайности возмущала младших офицеров, членов заводского управления. Жалобы на генерала одна за

одной сыпались в Сенат. Трижды сановники рекомендовали царице отослать на Алтай следственную комиссию. Но Елизавета Петровна не дала сорвать эксперимент, промежуточные итоги которого подвел незадолго до ее смерти преемник И. А. Черкасова кабинет-секретарь А. В. Олсуфьев: в специальном докладе на высочайшее имя значилось, что за 12 лет автономной деятельности заводской администрации Кабинет получил из колыванских недр более 89 пудов золота и почти 2824 пуда серебра (в среднем свыше семи пудов золота и 230 пудов серебра в год), вложил в предприятие 660 тысяч рублей, а чистой прибыли получил 2 653 548 рублей 44 копейки.

Впрочем, еще до того соратники Елизаветы, убедившись в эффективности ее начинания, принялись искать достойного хозяина Нерчинскому руднику. Разрыв с традицией давался с трудом. 26 января 1756 года завод подчинили куратору — главному судье Монетной канцелярии И. Шлаттеру с правом вносить на утверждение Сената кандидатуру главного командира. Пользы от громоздкой системы не было. Признав это, 15 декабря 1760 года сенаторы выбрали, наконец, того, кому не побоялись поручить важное дело, — гвардии капитана Василия Суворова (тезку и однофамильца отца генералиссимуса). 28 мая 1761 года императрица утвердила офицера в должности главного командира Нерчинского серебряного завода^[59].

К тому моменту Кабинет уже курировал несколько диковинных для России проектов, например разведение устриц в Балтийском море или основание винной фактории в Венгрии. 23 ноября 1747 года Елизавета Петровна распорядилась «завезть в наше море устерсы». Эпопея длилась семь лет. Дипломаты долго выясняли, какой из видов моллюсков скорее приживется в русских водах. Остановились на голштинских. В Дании наняли специалиста для поиска нужного грунта у берегов Лифляндии, Эстляндии и Ингерманландии. Летом 1753 года на «лоц-галиоте» датчанин Отто Фридебек проинспектировал гавани от Моонзунда и Пернова на западе до Кронштадта и Фридрихсгама на востоке. Хотя по солености воды и «слискости» земли русская акватория уступала голштинской, тем не менее специалист наметил пять подходящих точек. Но дело застопорилось из-за нежелания датчан продать России сотню бочек устриц. К весне 1755 года переговоры окончательно зашли в тупик, и в августе императрица закрыла проект.

С винной факторией получилось иначе. Дефицит качественных венгерских вин заставил пересмотреть традиционную практику отправки особых команд в Австрию. 6 апреля 1745 года Елизавета Петровна

поручила возвращенному из опалы Ф. С. Вишневному учредить в Венгрии российскую базу по закупке вин, выращиванию винограда и изготовлению токайского из собственного сырья. В сентябре отряд из тридцати пяти человек приехал в винодельческий край. В течение осени и зимы отбирали вино, приглядывались к виноградникам. Следующей весной арендовали три «Винницы», после чего с головой погрузились в науку виноделия. Несколько лет потратили на обучение и завязывание партнерских отношений с мадьярскими виноградарями. Постепенно сумели полностью исключить из поставок в Россию поддельные вина, увеличили количество импортируемого товара и стали производить из своего урожая добрую продукцию.

Генерал Вишневецкий управлял факторией до января 1749 года. После смерти ветерана эстафету принял его сын Гавриил Федорович. Однако толковый хозяин из Вишневецкого-младшего не получился, и в марте 1753-го его сменил премьер-майор Николай Алексеевич Жолобов, до того кабинет-курьер, ездивший в Венгрию за партиями вина. Жолобов наладил эффективную работу русской колонии и возглавлял ее до весны 1764 года^[60].

Да, за многое брался Кабинет, в том числе и за русский фарфор. Не забавы же ради 11 июня 1743 года Елизавета Петровна переподчинила Невский кирпичный завод на Охте И. А. Черкасову. Замахивались на то, что по праву можно считать «проектом века». Секрет «порцелина» пытались разгадать при дворах всех монархов Европы, однако повезло лишь саксонскому курфюрсту Августу II: алхимик И. Ф. Бёттгер пытался открыть философский камень, а открыл мейсенскую марку фарфора. Издавна существовала китайская технология, тщательно оберегаемая от посторонних глаз. Российская же появилась вдруг, как будто из ничего, весной 1747 года. Гений, сотворивший чудо, — Дмитрий Иванович Виноградов, сын священника, родившийся в 1720 году. С двенадцати лет он учился в московской Славяно-греко-латинской академии, в 1736 году был зачислен в университет при Санкт-Петербургской академии наук, но вскоре отправлен постигать химию и горное дело в аудиториях Марбурга и на рудниках Фрейберга. Вернувшись на родину в феврале 1744-го, Виноградов 10 октября удостоился чина маркшейдера (в то время соответствовал армейскому капитан-поручику) с отсрочкой присвоения следующего ранга бергмейстера (армейского капитана) на полгода и был распределен в Олонец, но отправиться к месту службы не успел. 5 ноября 1744 года императрица затребовала молодого человека на Невский кирпичный завод, где мастер Христоф Конрад Гунгер, ученик Бёттгера,

собирался изготовить русский фарфор по мейсенским рецептам. Контракт с саксонцем был подписан 1 февраля 1744 года в Стокгольме, а в начале октября он оказался в Москве. К нему хотели прикомандировать русского помощника, и государыня выбрала Д. И. Виноградова, похоже, по подсказке вице-президента Берг-коллегии В. Райзера, благоволившего к однокашнику своего сына.

Гунгер оказался либо плохим учеником легендарного мастера, либо авантюристом-шарлатаном. Приехав с напарником 6 января 1745 года в Санкт-Петербург, он имитировал творческую активность, однако не то что русский фарфор не изобрел, но и саксонский не повторил. Молодой помощник быстро дистанцировался от него и занялся самостоятельными опытами, на что и обратил внимание зоркий глаз Черкасова. В конце концов кабинет-секретарь иноземца выгнал, а бергмейстеру в ноябре 1746-го доверил руководство фарфоровым предприятием. К тому времени Виноградов разобрался, какие основные компоненты нужны для создания фарфора: глина, кварцевый камень и алебастр. Разыскал и регионы, где добывались наилучшие их образцы, — Гжель, Олонец, Казань. Усидчивый ученый той же осенью приступил к самому сложному — экспериментам по выявлению оптимального состава фарфоровой массы и степени термической обработки. Требовалось перепроверить тысячи вариантов.

Уже в январе 1747 года Виноградов располагал заветной формулой. В том же году Елизавете Петровне преподнесли первую русскую фарфоровую продукцию. Каким же образом русский экспериментатор так стремительно вычислил то, что Бёттгер рассчитывал несколько лет? Официальная историография не любит данного вопроса, предчувствуя неприятный ответ. Не гениальное озарение сократило время поиска, а чья-то подсказка извне — либо из Саксонии, либо из Китая. Главный аргумент, приводимый в защиту русской самобытности, — отсутствие сведений о вывозе в Россию из Пекина или Дрездена секрета изготовления фарфора. Увы, теперь точно установлено: секрет китайского фарфора стал известен в России именно в конце 1746-го — первые месяцы 1747 года.

Кстати, историки уже полвека назад знали об изготовлении в мае 1747 года не фаянсовых или поддельных, а настоящих фарфоровых чашечек на «ценинной» мануфактуре московских купцов Гребенщиковых, поставщиков глины на Невский кирпичный завод. Биограф Виноградова М. А. Безбородов много удивлялся таланту русского самородка Ивана Афанасьевича Гребенщикова, сына преуспевающего «фабрикана», хотя одновременное открытие фарфора сразу в Москве и Санкт-Петербурге должно бы насторожить ученого. Уж не было ли рядом с Виноградовым и

Гребенщиковым еще кого-нибудь сведущего в фарфоровом искусстве?

Кто же он — незначительный герой русской фарфоровой эпопеи? Не талантливый химик или керамист, а разведчик, умудрившийся раскрыть главную тайну Китая и не засветиться. Храбрец действовал не по заданию правительства, а на свой страх и риск. Это был прапорщик Алексей Матвеевич Владыкин, выпускник московской навигацкой школы, в 1732 году с одним из караванов попавший в Среднюю империю и проживший там 14 лет. Он в совершенстве овладел маньчжурским и разговорным «никанским» (китайским) языками, не без помощи своего педагога, учителя второго класса «Годзыганьской» академии Гиоро Дандая завязал полезные знакомства в разных китайских учреждениях. В 1740 году «именным его ханского величества указом» Владыкина допустили к работе с министрами китайского императора. И вдруг ни с того ни с сего 16 апреля 1742 года он огорошил директора очередного, четвертого по счету, российского каравана Ерофея Васильевича Фирсова просьбой забрать его с собой. Почему? Нет ли здесь связи с завершением в 1741 году директором китайской фарфоровой мануфактуры в Цзиндэчжэне Танг Йингом трактата, подробно описывающего процесс фарфорового производства?

Увы, весной 1742 года Владыкин обратился к Фирсову слишком поздно — тот просто не успевал организовать его выезд: за три недели до челобитной отправилась в обратный путь основная часть каравана, сам же директор выехал 20 апреля. Челобитчик явно чего-то испугался и хотел спастись бегством. Вместе с ним возжелал покинуть Поднебесную его закадычный друг со времен учебы в навигацкой школе, переводчик Иван Быков, ссылаясь на пошатнувшееся здоровье. Однако уловки не помогли, и пришлось приятелям томиться в Пекине еще четыре года. К счастью, тревога оказалась ложной — китайцы ни в чем не подозревали россиянина.

Очередной караван прибыл в Пекин 27 ноября 1745 года. Его директор Герасим Кириллович Лебратовский 23 мая 1746-го легко добился от министров богдыхана дозволения Владыкину и Быкову вернуться в Россию. 6 июня караван тронулся в путь. 21 августа пересекли китайско-русскую границу у Кяхты и 6 октября добрались до Иркутска. Хотя караван и застрял на Байкале до 14 декабря, ничто не мешало директору снарядить курьера в Санкт-Петербург с сообщением о фарфоровом секрете.

Мог ли переводчик китайского трибунала ознакомиться с трактатом Танг Йинга и скопировать целиком или выборочно? Никаких данных у нас нет. Сам же Алексей Матвеевич позднее утверждал иное: мол, по приказу Лебратовского он умудрился найти мастера, согласившегося открыть секрет, после чего ученик серебряного дела из иркутского купечества

Андрей Иванович Курсин изготовил фарфор, следуя полученным от китайца инструкциям. Впрочем, нельзя исключать, что признания Владыкина не более чем отговорка, вынужденная или умышленная. Ведь Лебратовский сам мечтал о лаврах первооткрывателя. Не сторговался ли он с Владыкиным: ты мне тайну, я тебе пропуск на родину? Позднее в Санкт-Петербурге шеф каравана хвастал, что заплатил три тысячи рублей за «рецепты и обрасцы обжигальным печам», и представлял Андрея Курсина и его брата Алексея своими подмастерьями.

А от Владыкина Лебратовский избавился очень просто — уступил иркутскому вице-губернатору Лоренцу (Лаврентию) Лангу (именно он в 1731 году взял с собой в Китай молодых гардемарин, а в 1734-м выхлопотал им первый офицерский чин). Лаврентию Лаврентьевичу требовался знаток восточных языков — ожидался приезд с Камчатки японцев, в июне 1745 года подобранных на Курильской гряде русскими промысловиками, принявших православие и переправляемых в Санкт-Петербург. Пять японцев прибыли в Иркутск 15 декабря 1746 года, и Ланг назначил к ним приставом Владыкина. 20 декабря их путешествие продолжилось под охраной прапорщика и пяти солдат. 13 февраля 1747-го миновали Тобольск, 7 апреля достигли столицы.

Лебратовский с китайскими товарами, ненамного опередивший их, увидел берега Невы 30 марта, сразу же навестил Черкасова и отрекомендовал ему братьев Куренных. Кабинет-секретарь тут же отправил обоих на Невский кирпичный завод, в помощь Виноградову. А Владыкин 8 апреля, возможно, познакомился с императрицей, встречавшейся в тот день с его подопечными. Камергер Петр Иванович Шувалов проводил всех на аудиенцию. Затем Сенат подтвердил полномочия Алексея Матвеевича и расквартировал японских гостей поблизости от здания Двенадцати коллегий в доме Соловьевых, где разведчик и прожил почти год.

Между тем вокруг русского фарфора происходили удивительные события. 25 мая 1747 года хозяин одной из суконных мануфактур И. М. Дмитриев принес кабинет-секретарю Черкасову фарфоровую чашку, присланную президентом Московского магистрата Афанасием Кирилловичем Гребенщиковым с заверением, что она изготовлена его сыном по собственной технологии. Поскольку у Гребенщикова-младшего не было никаких специальных познаний в области химии и горного дела, а лишь длительный опыт работы с гжельской глиной, барон Черкасов попросил московского почт-директора Вольфганга Пестеля проинспектировать гребенщиковскую мануфактуру. Рапорт Пестеля от 18 июня подтвердил умение Ивана Гребенщикова самостоятельно производить

фарфоровые вещи.

А теперь вспомним, что за два месяца до встречи Дмитриева с Черкасовым в Москве проездом останавливались Г. К. Лебратовский (с 16 по 19 марта) и А. М. Владыкин (вероятно, неделей позже). Безусловно, кто-то из них — скорее всего Владыкин, в отместку Лебратовскому — продал китайский рецепт А. К. Гребенщикову, не последнему человеку в московской властной иерархии, а тот за месяц-полтора наладил на своей мануфактуре выпуск фарфоровой посуды, благоразумно отдав лавры первооткрывателя сыну.

Конечно же Черкасов разгадал уловку Гребенщиковых. Но не они ли уведомили Ивана Антоновича о Владыкине, а кабинет-секретарь доложил о нем государыне? Так или иначе, в конце июля 1747 года Елизавета Петровна уже знала о причастности прапорщика к фарфоровому секрету и хотела привлечь его к одному уникальному эксперименту, да, похоже, решила не лишать японцев толкового переводчика. Эксперимент же проводился, судя по всему, для выявления подлинных заслуг Д. И. Виноградова: фарфоровые чашечки с Невского завода намеревались сравнить с чашечками, созданными по технологии, вывезенной из Китая Лебратовским.

Тридцатого июня 1747 года императрица велела изготовить образец на базе независимой структуры — Собственной Ее Императорского Величества Вотчинной канцелярии, возглавляемой с 1744 года Гавриилом Григорьевичем Замятиным. К нему прикомандировали Лебратовского, Андрея и Алексея Курсиных, а под фарфоровое производство отвели площади в Пулкове. Однако Курсиным не хватило квалификации. Чашечки выходили скверные. Тогда-то Елизавета Петровна и распорядилась привезти в Пулково Владыкина. Под началом Вотчинной канцелярии прапорщик состоял с 11 марта по 26 июля 1748 года. Между прочим, в 1747 году Замятнин консультировался с Алексеем Матвеевичем, и тот предупредил, что обучавшийся у него Андрей Курсин «как глянцовать и золото наводить... не знает», а пулковская глина «во оное дело неспособна, ибо в совершенную зрелость не пришла». Замятнин к мнению разведчика не прислушался — очевидно, под влиянием Лебратовского.

В 1748 году Владыкин, наконец, доказал и свою правоту, и свое мастерство. К концу мая эксперимент увенчался полным успехом. Чашечки Владыкина были настоящими фарфоровыми, сродни китайским и... виноградовским. Понимая, что Черкасов, имевший ученого бергмейстера, в нем не заинтересован, Алексей Матвеевич предложил устроить филиал фарфорового производства в Иркутске, под протекцией благоволившего к

нему Ланга. 3 июня Замятнин взялся донести о том государыне. Но Владыкину не повезло — докладная легла на стол царицы в кульминационный момент русско-французского противоборства за лидерство в Европе. Корпус В. Н. Репнина спешил к Рейну на помощь австрийцам и англичанам, Москву будоражили слухи о диверсантах, в конце мая спаливших полгорода, поджигатели сожгли часть Глухова и порывались испепелить другие русские и украинские города, на Ахенском конгрессе англичане прогнулись под давлением французских дипломатов... В общем, тем летом дочери Петра Великого было не до фарфора.

А Замятнин, не дождавшись высочайшей реакции, вернул Владыкина к японцам. Лебратовского и Курсиных из канцелярии тоже отчислили. Попытка братьев пристроиться в команду Виноградова не сладилась. Черкасов в горе-мастерах не нуждался. На том и закончилась одна фарфоровая история и началась другая — о награждении по заслугам. 22 сентября 1748 года сенаторы пожаловали Владыкина в поручики «для ево оказанной к... службе ревности и прилежности» и отослали в полевые полки, стоявшие в Лифляндии. Под Ригой Алексей Матвеевич проскучал два года, после чего запросился в отставку «за ломотною и каменною болезнию». Сенат не возражал. В декабре 1750 года он вернулся на гражданское поприще в звании титулярного советника, однако мыкался без должности больше года. Только 15 января 1752 года Сенат с легкой руки Герольдмейстерской конторы, приславшей список вакансий, нашел применение его способностям — откомандировал в Оренбург, в Корчемную контору, ловить торговцев незаконными спиртными напитками.

Как видим, о Владыкине при русском дворе совсем забыли. А что же Виноградов? Как ни странно, и он, несмотря на покровительство Черкасова, повышения не удостоился, вследствие чего впал в депрессию, которую заглушал водкой. Беспробудное пьянство вынудило кабинет-секретаря учредить за ним строгий надзор, вплоть до использования цепей и запрета на выдачу большей части жалованья. Опасаясь трагической развязки, в мае 1752 года сановник заставил Виноградова подготовить из первого помощника, Никиты Воинова, достойного преемника и, кроме того, засесть за сочинение «Обстоятельного описания чистого порцелина, как оной в России при Санкт-Петербурге делается».

Напрасно историки осуждают Черкасова за притеснение русского гения. Наоборот, он Виноградовым дорожил и как умел спасал от пагубной привычки — посредством не только «кнута», но и «пряника». Именно кабинет-секретарь подсказал идею фарфорового производства больших форм. В его письме бергмейстеру от 6 августа 1751 года есть намек на

согласие Елизаветы Петровны поощрить мастера за что-либо «хорошее и крупное». К сожалению, процесс разработки и строительства печи для подобной продукции затянулся, и государыня даже упрекала Черкасова за лукавство. Наконец осенью 1756 года возведение печи завершилось и настала пора опытных обжигов. Увы, достичь удовлетворительных итогов Дмитрий Иванович, верно, не успел, ибо 25 августа 1758 года скончался в том же звании бергмейстера, в котором взялся за раскрытие секрета фарфора.

Трагедия Виноградова красноречиво свидетельствует о том, что Елизавета Петровна не признавала его создателем русского фарфора — иначе бы отблагодарила щедро и без проволочек. А Владыкина? За четыре года ни разу не вспомнила о нем. Тоже считала, что не заслужил, или пребывала в заблуждении? Соратники уведомили ее, что хорошо наградили переводчика. Какой была награда, государыня выяснила позднее, зимой 1753 года, и 20 февраля через П. И. Шувалова известила сенаторов, что упрямый ими за Урал Владыкин будет директором шестого китайского каравана. Так Елизавета Петровна отблагодарила русского разведчика за помощь в создании русского фарфора.

Бюрократическая машина моментально развернулась в сторону царского избранника. Курьер Николай Обутков помчался в Оренбург, и уже 12 марта Владыкин выехал в Москву. 25 мая Сенат по высочайшей воле присвоил новому директору чин коллежского асессора и тут же назначил его заместителем Ивана Быкова. Китайцы не ожидали увидеть во главе каравана человека, знавшего едва ли не всю подноготную китайского двора и потому действовавшего жестко и уверенно. Впоследствии они не постеснялись открыто заявить свое недовольство: «Наши министры сначала ошиблись, что ваших учеников здесь оставили. Не думали де того, чтоб вас в болшия ранги производить станут. Но думали де, что толко будите переводчиками».

Умиротворить китайских министров сумел уже следующий российский посланник, профессиональный дипломат В. Ф. Братищев, приехавший в резиденцию богдыхана «под именем куриера» осенью 1757 года. Владыкин же, прожив в Пекине с 23 декабря 1754 года по 4 июня 1755-го, спустя еще год вернулся с товаром в Санкт-Петербург, где на правах члена особой комиссии организовывал распродажу привезенных из Китая товаров на аукционах, длившихся с июня по ноябрь 1756-го. По окончании торгов с разрешения Сената Алексей Матвеевич в марте 1757 года отправился с закадычным другом в Москву и там, в Сибирском приказе, до июля 1759-го подводил баланс по счетам каравана, после чего

оба на полгода уединились в фамильных имениях: Владыкин — в пензенской Липовке, Быков — в ярославском Каплине^{61}.

Глава восьмая

ФРАНЦИЯ ПРОТИВ РОССИИ

Предпоследняя кампания Войны за австрийское наследство (1740–1748), длившаяся с апреля по сентябрь 1747 года, оказалась крайне неудачной для Франции. План быстрой победы над англо-австрийской коалицией посредством выведения из игры богатой Голландии, де-юре нейтральной, а де-факто активно ей помогавшей, цели не достиг. Голландцев не испугала перспектива военного столкновения с могущественным соседним королевством, а французские маршалы не сумели в течение полугода разгромить противника и, прорвавшись к Гааге и Амстердаму, принудить Генеральные штаты и штатгальтера Вильгельма IV к миру на условиях версальского двора. Но главное — к осени 1747 года стало очевидно, что оба лагеря выдохлись и не способны самостоятельно завершить конфликт.

Именно в этот момент в ход событий вмешалась Россия, выступив на стороне более слабой стороны — англичан и австрийцев. 19 ноября 1747 года в Санкт-Петербурге британский посол Джон Гиндфорт и голландский посланник Марселиус Шварц подписали с руководителями Иностранной коллегии А. П. Бестужевым и М. И. Воронцовым конвенцию о «перепущении» на два года в распоряжение Англии и Голландии тридцатитысячного вспомогательного российского корпуса. Морские державы обязались платить за помощь 300 тысяч фунтов стерлингов в год, не считая денег на содержание русских солдат. 4 декабря Елизавета Петровна санкционировала отправку корпуса за границу не позднее 31 января 1748 года, назначив главнокомандующим генерал-фельдцейхмейстера Василия Никитича Репнина.

Хотя новость о заключении конвенции долетела до Парижа 20 декабря 1747 года, министры Людовика XV узнали о переговорах задолго до их окончания и, конечно, пытались найти эффективное средство нейтрализации появления русских в центре Европы, которое грозило Франции не просто поражением в войне, но и утратой статуса первой державы континента, принадлежавшего ей со времен Ришелье и Мазарини. Правда, материальных ресурсов для противодействия России уже не было. Спасти мог разве что интеллектуальный козырь. Однако в ближайшем окружении французского короля дипломатических талантов не наблюдалось, о чем свидетельствовали все внешнеполитические

инициативы французского правительства с января 1743 года, с кончины кардинала Андре Эркюля де Флери, бессленно руководившего государством 18 лет и, кстати, сомневавшегося в целесообразности ссоры с Австрией из-за короны германского императора, к чему склонял короля блестящий военный, но посредственный политик маршал Бель-Иль.

Со смертью Флери французский кабинет потерял единоначалие. Король тяготился ролью политического лидера, и ее попеременно, а то и параллельно играли разные фавориты. Кредит первого советника короля, Шарля Луи Фуке, герцога Бель-Иля, в 1743 году был почти исчерпан. Вакантное место тотчас заняли несколько персон — много повидавший герцог Андре Мориц де Ноайль, близкий друг короля герцог Луи Франсуа де Ришелье и военный министр граф Пьер Марк д'Аржансон. В итоге Франция воевала, не сконцентрировав все силы на одном хорошо продуманном замысле, а распылив их по разным «интересным» проектам. В 1744 году были организованы целых три экспедиции. В феврале партия д'Аржансона попробовала революционизировать Англию высадкой на британское побережье десанта во главе с принцем Карлом Эдуардом, сыном претендента на английский престол Джеймса (Якова) Стюарта. Вследствие непогоды затея провалилась, даже не начавшись, зато привела к объявлению той же весной войны Великобритании и Австрии, с которыми до того французы сражались за интересы Баварии в качестве ауксильарного, то есть проданного за деньги войска.

Одновременно с якобитским проектом реализовывался итальянский. Маршал Бель-Иль в январе 1744 года сумел выпросить для одного из членов семьи Конти должность главнокомандующего армией, отправляемой против союзного Австрии Пьемонта. Фракция Ноайля выдвинула идею осадить крепости в Австрийских Нидерландах, и молодой король лично возглавил войска, взявшие в июне Менин и Ипр, в июле — Фюрн. Между тем австрийцы в июле форсировали Рейн и, вторгшись в практически незащищенные Эльзас и Лотарингию, устремились к Страсбургу. Для прикрытия этого направления резервов не имелось, и от крупного поражения, а то и разгрома Францию в августе спас Фридрих II, атаковав австрийцев в Богемии.

Ошибки кампаний 1744 года подорвали авторитет герцога Ноайля и подняли кредит графа д'Аржансона. Впрочем, уроки из предыдущих неудач никто не извлек. В следующем году военный министр продолжил дело Ноайля, решив через Фландрию надавить на Голландию и Англию, дабы вывести обе морские державы из войны и остаться один на один с Австрией, ведя в Италии и на Рейне отвлекающие или оборонительные

бои. Обозначившийся после победы при Фонтенуа (30 апреля) успех — падение нескольких брабантских крепостей — пресек неожиданное покорение Шотландии в июле — сентябре Карлом Эдуардом Стюартом. Д'Аржансон решил помочь ему захватить Англию, прекратил наступление в Нидерландах, занялся формированием мощных десантных отрядов в Дюнкерке и Кале, а в результате упустил время для полной оккупации Австрийских Нидерландов и дипломатического нажима на Голландию. Пока французы теряли драгоценное время на сколачивание морского десанта, англичане перебросили через Ла-Манш большую часть войск, отбросили шотландцев Стюарта на север и вернули полки во Фландрию. Французский бросок через пролив пришлось отменить.

Действия д'Аржансона энергично критиковал командующий Северной армией маршал Мориц Саксонский, настаивавший на продолжении кампании во Фландрии до конца года. Фиаско с десантом подтвердило его правоту, и военный министр в надежде предотвратить собственную опалу дал добро на зимний поход к Брюсселю. Морицу понадобился месяц, чтобы овладеть столицей Фландрии: город капитулировал 9 февраля 1746 года. Впечатленный король поручил ему командовать главной французской армией в кампании 1746 года. Правда, то, что недавно могли завоевать за два-три месяца, теперь захватили лишь к середине осени. В июне король решил послать доверенного человека в Голландию для ускорения мирного соглашения с республикой и доверил важную миссию не профессиональному дипломату из команды д'Аржансона, а боевому генералу из армии принца Саксонского Луи Филожене Брюлару маркизу Пюизье, имевшему опыт дипломатической работы в Неаполе.

Впрочем, челночная дипломатия Пюизье не увенчалась успехом — заключить сепаратный мир с Англией и упрочить нейтралитет Голландии не удалось. Тем не менее Людовик XV не разочаровался в Морице Саксонском, а, напротив, утвердил его план кампании 1747 года. На сей раз за образец был взят саксонский блицкриг Фридриха II, в ноябре-декабре 1745 года наголову разгромившего саксонцев и австрийцев и добившегося от обоих противников подписания выгодного для Пруссии мирного договора. 31 декабря 1746 года французский король произвел два знаковых назначения: Мориц Саксонский стал главным маршалом королевства, маркиз Пюизье — министром иностранных дел вместо брата д'Аржансона.

Шестого апреля Франция объявила войну Голландии. Блицкриг, однако, провалился. Наступление в лоб, через Зеландию сразу же захлебнулось; кроме того, оно явилось катализатором революционного взрыва в Голландии, вернувшего к власти семью Оранских. Теперь

республику возглавлял воинственно настроенный штатгальтер Вильгельм IV, а не миролюбивый великий пенсионарий Якоб Гиллес. В июне маршал попытался прорваться в сердце Соединенных провинций, к Утрехту и Амстердаму, совершив фланговый маневр через Маастрихт, но 21 июня в битве при Лауфельте австро-англо-голландская армия сумела сдержать натиск галлов. В итоге для французов военная кампания закончилась безрезультатно. Капитуляция 5 сентября 1747 года после короткого штурма крепости Берг-оп-Зоом в Зеландии выглядела утешительным призом для обескровленной Франции, так и не сумевшей за три года изолировать главного врага, Австрию, от ее союзников. Стремительно взошедшая звезда Морица Саксонского в одночасье поблекла. Добить неофициального премьер-министра Франции предстояло Санкт-Петербургской конвенции, противопоставить которой он уже ничего не мог, как, впрочем, и его соперники граф д'Аржансон, герцоги Ноайль и Бель-Иль.

Елизавета Петровна очень точно выбрала день выхода России на европейскую сцену в роли главного арбитра и гаранта мира на континенте. По окончании войны со Швецией империя два года сохраняла строгий нейтралитет, не вмешиваясь в полыхавший на западе и в центре Европы конфликт. Причем сохраняла исключительно благодаря императрице, ибо обе партии — «английская» и «французская» — настойчиво уговаривали государыню примкнуть к одной из воюющих коалиций. Лесток открыто агитировал в пользу Франции и Пруссии. Бестужев до осени 1744 года, когда было урегулировано дело Ботты, защищал Австрию, союзницу Англии, под маской непримиримого врага возраставшего могущества Пруссии (кстати, с июня 1742 года до августа 1744-го ни с кем не воевавшей), пугал царицу претензиями Фридриха II на Курляндию и Лифляндию, но та отвечала: «Хотя б он и подлинно какие замыслы имел... оные все еще дальным и неведомым следствиям подвержены».

В июне 1744 года из России со скандалом выдворили Шетарди — за нелестные отзывы о русской государыне. Изгнание французского посла как бы подтверждало его правоту: Елизавета Петровна, убравшая дипломата из страны не по-тихому, как принято, а публично, не пряча за хорошей миной личную обиду на оскорбившего ее иностранца, и вправду особа импульсивная, капризная и неблагоразумная. В Париже и Берлине, Лондоне и Вене, Стокгольме и Копенгагене поверили в то, что Россией правит женщина вздорная и недалекая, и в дальнейшем планировали антироссийские акции с учетом этой характеристики.

Между тем в конце 1744 года тактика выжидания принесла первые плоды: и Берлин, и Лондон с Веной практически одновременно призвали

Петербург присоединиться. Обе придворные фракции тут же усилили нажим на царицу, хлопоча каждая о соответствующем альянсе держав. И вновь Елизавета Петровна не торопилась с выбором, предпочитая быть третейским судьей, и потому настроила канцлера Бестужева и вице-канцлера Воронцова на посредническую деятельность. Любопытный штрих: 25 июня 1744 года императрица пожаловала Михаила Илларионовича в конференц-министры при Иностранной коллегии, де-факто сделала помощником Бестужева, а 15 июля — вице-канцлером. Историки не задаются вопросом «почему?», считая назначение само собой разумеющимся. А ведь Воронцов — один из немногих, кто, подобно государыне, хотел видеть Россию европейским арбитром, а не «солдатом» на службе у Австрии или Франции.

Российские посланники в европейских столицах старались — кто охотно, кто не очень — покончить с кровопролитием хотя бы между Пруссией и Австрией до осени 1745 года. Однако ни Фридрих II, ни Мария Терезия не желали уступать в главном — отдать сопернику Силезию. 3 октября Елизавета Петровна предложила вывести «яблоко раздора» за рамки переговоров и возобновить диалог на условии прекращения военных действий на всех территориях, кроме спорной. Мирную инициативу дополнял ультиматум: Россия поможет Саксонии, союзнице Австрии, отразить прусскую агрессию. Фридрих II проигнорировал первое, но учел второе: за месяц пруссаки разгромили саксонцев с австрийцами и успели заключить с ними мирный трактат до приведения в движение русского вспомогательного корпуса, расположенного в Лифляндии. В результате Мария Терезия признала Силезию за Пруссией. Елизавета Петровна же окончательно разочаровалась в короле Фридрихе и отныне смотрела на него как на главного нарушителя спокойствия в Европе, а потому и заключила 22 мая 1746 года наступательно-оборонительный союз с Австрией для сдерживания непредсказуемого монарха.

Фридрих поневоле присмирел. Между тем вторым в очереди на укрощение стоял Людовик XV, армия которого к концу 1746 года полностью оккупировала Австрийские Нидерланды. Правда, он собирался возвращать покоренные крепости, но не все, о чем российский посланник во Франции Генрих Гросс уведомил императрицу в реляции от 24 сентября 1747 года, обосновав вывод тем, что Ипр и Фюрн жили уже по французским законам, в том числе налоговым. Самостоятельно обуздать французские амбиции австро-англо-голландская коалиция шансов практически не имела, а потому британский премьер-министр Генри Пелэм скрепя сердце согласился ассигновать из казначейства несколько сотен

тысяч фунтов стерлингов на русскую военную помощь. Голландия пообещала взять на себя четверть всех трат.

Однако Гиндфорт и Шварц без малого год искали точки соприкосновения с русской стороной. На исходе лета союзники обо всём договорились, но еще два с половиной месяца ушло на подписание документов — Елизавета Петровна санкционировала заключение конвенции только 17 ноября 1747 года. Похоже, она нарочно откладывала официальную церемонию в ожидании итогов военной кампании 1747 года, желая убедиться, что судьба Европы действительно зависит от того, пойдут ли маршем на Рейн 30 тысяч русских солдат. Баталия при Лауфельте, осада Берг-оп-Зоома вселяли оптимизм: в 1748 году отсутствие русских на Рейне сулило французам победу, а присутствие — напротив, поражение. Значит, Версаль поспешит помириться с Лондоном, Гаагой и Веной на приемлемой для всех паритетной основе до того, как полки Репнина доберутся до Рейна.

Начало похода было назначено на первый день февраля, то есть за полтора-два месяца до распутицы. Преодолеть расстояние от Немана до Рейна за столь короткий срок нереально. Елизавета Петровна умышленно притормаживала половодьем и дорожной грязью шествие своих войск, чтобы французы на конгрессе в Аахене имели в запасе шесть — восемь недель и спокойно, без суеты обсудили с англичанами, голландцами и австрийцами ничейный вариант, который устроил бы всех. Ее расчет опирался на четыре года внимательного изучения версальского двора, окружавших короля группировок и фигур. Генрих Гросс, прилагая к каждой реляции «Ведомости из Парижа» (хронику политических новостей), вряд ли подозревал, насколько это важно для государыни. Между тем «газета» Гросса доносила до царицы то, о чем умалчивали печатные французские и иные официозы, выписываемые Иностранной коллегией. А всё вместе — газеты, депеши, посольские ноты — помогало Елизавете Петровне ответить на принципиальный вопрос: есть ли возле Людовика XV личность, мыслящая неординарно, которой не составит труда восполнить дефицит материального ресурса интеллектуальным?

Наблюдая за министерской чехардой, от которой лихорадило Версаль после смерти Флёрри, императрица пришла к выводу, что такой фигуры рядом с королем нет, а посему некому помешать мягкому русскому дирижированию европейским концертом. Увы, она ошиблась — по причине скудости информации. Хотя Гросс и доносил в Петербург о «приумножении» кредита королевской любовницы маркизы де Помпадур, о ее влиянии на судьбы министров, о том, что «часто в ее апартаментах

министры королевские с Его Величеством о делах трактуют» (депеша от 15 марта 1747 года), в корреспонденции посланника не упоминались факты политических консультаций короля с фавориткой. Оттого понять политический статус метрессы французского монарха его российской «сестре» было крайне сложно.

Заметим, история возвышения Жанны Антуанетты Пуассон двусмысленна. Не подлежит сомнению, что она стремилась к одному — стать официальной любовницей короля, для чего обвенчалась в марте 1741 года с Шарлем Гийомом Ленорманом д'Этиолем, племянником богатого откупщика, добилась признания в аристократических и литературных салонах Парижа, обратила на себя внимание ближайшего окружения Людовика XV — от герцога Ришелье до камердинера дофина Жоржа Рене Бине. Наконец, в феврале 1745 года на черед балов-маскарадов в Версале и Париже по случаю свадьбы дофина красавица при содействии новых друзей достигла цели: король познакомился с ней, быстро увлекся и по окончании торжеств не пожелал расстаться.

Примечательно поведение госпожи Этиоль, с лета 1745 года маркизы де Помпадур, в первые три года ее фавора. Она была неизменно лояльна к любимцам короля — сначала к графу д'Аржансону, затем к Морицу Саксонскому: первому помогла избавиться от слишком самостоятельного генерального контролера финансов Филибера Орри, для второго устроила брак его племянницы принцессы Марии Жозефы Саксонской с овдовевшим летом 1746 года дофином Франции (декларирован в Фонтенбло 15 ноября 1746 года, совершен в Версале 29 января 1747-го). Метресса никогда на публике не подвергала сомнению официальный королевский курс, хотя есть основания подозревать, что наедине с Людовиком XV высказывала собственную точку зрения и на опрометчивую переброску д'Аржансоном войск из Фландрии в Дюнкерк и Кале поздней осенью 1745 года, и на шаблонное подражание Фридриху II в конфликте с Голландией весной 1747-го по инициативе Морица Саксонского.

Монарх ценил верность, солидарность маркизы с его нередко неудачными решениями, деликатность и ненавязчивость рекомендаций, выгодно отличавшие ее от предшественницы — Марии Анны де Майи-Нейль, герцогини Шатору, а также оригинальность и широту мышления 25-летней возлюбленной. То, что она обладала сильным влиянием на короля, стало ясно в августе 1747 года, когда граф д'Аржансон, раздраженный возвышением де Сакса и отставкой старшего брата с поста министра иностранных дел, воспользовался одиночеством короля, находившегося при армии (маркиза ожидала окончания кампании в Шуази), и попробовал

увлечь его юной женой герцога Шартрского Луизой Генриеттой де Бурбон. Эта интрижка длилась недели две и к появлению новой фаворитки не привела.

Двенадцатого сентября Людовик XV покинул армию, спустя три дня вернулся в Версаль. В октябре двор переехал в Фонтенбло. Там-то в первой декаде ноября все и узнали, что в Санкт-Петербурге вот-вот будет подписана конвенция об отправке на запад континента тридцатитысячного русского корпуса. Новость сводила на нет планы маршала де Сакса по покорению Голландии в 1748 году, принуждая во избежание военного разгрома поторопиться с заключением почетного мира с Австрией, Англией и Голландией. Спасти Францию могла только политическая хитрость. 8 ноября король, оставив Фонтенбло, в сопровождении маркизы де Помпадур и небольшой свиты уединился в Шуази, где под предлогом болезни фаворитки задержался почти на две недели. А по возвращении в Версаль устроил странную церемонию: придворные в полном составе, начиная с принцев крови, по очереди поздравили маркизу с выздоровлением, словно перед ними стоял по меньшей мере член королевской фамилии.

Похоже, затворничество в Шуази потребовалось Людовику для осмысления вместе с преданной подругой новой ситуации, сулившей Франции поражение в войне и утрату лидирующих позиций в Европе из-за неминуемого вмешательства в конфликт «дикой России». В итоге король рискнул целиком положиться на фаворитку, предоставив ей полный карт-бланш, что и подчеркнул символически торжественный акт в Версале. С конца ноября маркиза изучала Россию и ее государыню: читала описания путешественников, отчеты дипломатов, беседовала с теми, кто посещал далекую империю, и, естественно, обратила внимание на то, что города в России сплошь деревянные. Уязвимое место русской императрицы маркиза обнаружила благодаря скандалу с Шетарди. Высылка посла из России за нелестные отзывы о царице в приватной переписке свидетельствовала об эмоциональности и взбалмошности Елизаветы Петровны, на то же намекали и иные источники — от депеш преемника Шетарди Луи д'Альона до перехваченной разведкой иностранной дипломатической и частной корреспонденции^[62].

К новогодним праздникам мадам де Помпадур придумала два малозатратных проекта по срыву марша русского корпуса по Европе. Первый — диверсионный: заслать в Россию через Польшу несколько групп поджигателей, чтобы посредством сожжения ряда знаковых мест, например Москвы и Глухова, посеять среди жителей панику, для погашения которой

придется вернуть отправленный к Рейну контингент. Второй — дипломатический: на мирных конференциях в Аахене, намеченных на весну, спровоцировать спонсоров русского похода — Англию и Голландию — к выпадку в адрес русско-австрийского союза, столь близкого сердцу императрицы Елизаветы, и пусть та в гневе велит русскому корпусу возвратиться домой. Детонатором праведного негодования предстояло стать прусскому королю, который изрядно настроил против себя и русскую монархиню, и австрийскую. Эти проекты дополнил третий, военный, разработанный маршалом де Саксом: попытаться до конца мая овладеть Маастрихтом, после чего наступлением на Утрехт и Гаагу принудить Голландию к капитуляции.

Начать решили с диверсионной акции. Причем координировалась она не военным ведомством (П. М. д'Аржансоном), а, очевидно, военной администрацией Фландрии, подконтрольной Морицу Саксонскому. Именно оттуда, из Намюра, 15 января 1748 года маршал В. Левендаль отправил с рекомендательным письмом к примасу Польши К. Шембеку двух подозрительных французов, а в действительности курляндца Ранненкампа и поляка Стричевского. В первой декаде марта они достигли Варшавы, после чего выехали в сторону Стенжицы и Лукова, якобы для покупки лошадей то ли для французской армии, то ли для принца Нассау-Саарбрюкенского. Российский резидент Иван Ржичевский зафиксировал их проезд, особенно заинтересовавшись «французом» из Курляндии. Проведав о том, Ранненкампф уже в конце марта возвратился в Варшаву и нанес визит Ржичевскому, чтобы не вызвать подозрений. А вот Стричевский, никем не одернутый, продолжил путь.

Были сформированы две диверсионные группы — главная в раскольнической Ветке под Гомелем из восемнадцати человек и вспомогательная в казацком Чигирине из двенадцати членов. Второй поручалось заечь Глухов, гетманскую столицу Малороссии, и по возможности ближайшие украинские города; первой надлежало спалить Москву и подстраховать Чигиринских товарищей в Глухове. Вербовку произвели в апреле, а в мае отряды выдвинулись к намеченным целям. В один день, 23 мая, Москва и Глухов пережили первую огневую атаку. В Первопрестольной диверсанты действовали чужими руками, подкупая нищих и лихих людей. 27 мая атаман ватаги, воодушевленный первым успехом, осмелел до того, что подметным письмом пригрозил уничтожить всю Москву через два дня, на Троицу. Однако к тому времени московские власти пришли в себя от первого шока и успели взять под охрану пороховые заводы, взрывами которых предводитель, именовавшийся

Кириллой Лаврентьевым, собирався добить город. Получив отпор, он с девятью соратниками немедленно ретировался из Москвы.

Результаты нападения на Глухов выглядели гораздо скромнее. Только в первый день, 23 мая, сгорело свыше трехсот дворов, семь церквей и дворец гетмана со всем имуществом. 24-го эффект внезапности уже не сработал — горожане не допустили перерастания поджогов в крупные пожары. Налеты на Белополовскую и Виригинскую слободы уничтожили всего 32 двора. Осознав бесполезность дальнейшего пребывания в гетманской столице, отряд, разделившись надвое, 25 мая покинул ее. Однако рейд по другим украинским городам прошел втуне, ибо жители, взбудораженные глуховским прецедентом, повсюду были наготове; в Ромнах, Нежине, Полтаве, иных крупных населенных пунктах диверсанты просто не осмелились на поджог и в конце июня, так и не свергнув в хаос Украину, вернулись на польскую территорию.

Между тем Глухов испытал еще одну атаку 27 мая. «Отличился» отряд из восьми человек, откомандированный из Ветки для подстраховки. Испепелив 18 дворов в Белополовской слободе, они ушли в район Мценска, где смогли 17 июня уничтожить храм и около двухсот дворов. Впрочем, это оказался финальный аккорд акции. К 29 июня все ее участники согласно предписанию возвратились в Польшу. В руки россиян попали всего два диверсанта, показания которых помогли восстановить в общих чертах замысел французской маркизы. 23 июня под Миргородом арестовали Алексея Тertiчниченко из вспомогательной группы, 28-го под Волховом — Афанасия Коровякова из главной. Обоих приглядели бдительные крестьяне, поднятые на ноги указом императрицы от 4 июня о прокравшихся в страну шпионах «из-за границ от соседей». Сохранился любопытный документ — письмо Я. И. Бахирева В. И. Демидову от 7 июня 1748 года. Судя по нему, вечером того дня в Петергофе Елизавета Петровна поручила секретарю разузнать, каким образом в 1737 году во время сильных пожаров в Санкт-Петербурге власти выявляли поджигателей.

Несмотря на сильное впечатление, произведенное «злодеями» на российского обывателя, диверсионная операция всё-таки не достигла цели: хаос не возник ни в Малороссии, ни в Великороссии. Паника была лишь в Москве, жители со «страху почти все со своими пожитками выехали в поле». Но после Троицы страсти улеглись. Что касается пожаров, то, как подсчитали для Елизаветы Петровны разъехавшиеся в августе по городам гвардейские офицеры, на три искусственных огненных разорения в течение тех же полутора месяцев (середина мая — июнь) пришлось шесть естественных (в Михайлове, Рыльске, Костроме, Можайске, Севске,

Нижнем Новгороде) с потерями, сопоставимыми с глуховскими и мценскими вместе взятыми.

Таким образом, краткосрочный рейд по российской глубинке трех десятков польских партизан никак не мог заставить русские власти вернуть 30 тысяч солдат в Россию. Диверсионный план при всей оригинальности изначально являлся провальным, ибо не учитывал российских реалий, прежде всего опыта борьбы с пожарной опасностью.

По аналогичной причине не сработал и второй, дипломатический маневр. Опираясь на ошибочные сведения о характере Елизаветы Петровны, маркиза де Помпадур предполагала побудить английскую и голландскую делегацию в Аахене к внесению в будущий мирный трактат статьи, гарантирующей прусскому королю владение Силезией, с чем Вена совершенно не желала мириться, а Петербург ее в том поддерживал. Ожидалось, что вспыльчивая, капризная русская императрица разгневется на такое двурушничество морских держав, не задумываясь о последствиях, откажет им в военном подкреплении и отзовет корпус Репнина. Справиться с этой миссией предстояло другу Пюизье Альфонсу Сен-Северину д'Арагону. Параллельно Мориц Саксонский намеревался осадить Маастрихт, падение которого предreshало прорыв французов вглубь Голландии.

Маршал и дипломат отправились в середине марта — один к армии, другой в Аахен. Пока граф Сен-Северин искал подходы к британскому и голландскому послам, граф Саксонский 30 марта взял в кольцо Маастрихт. Защищал город генерал-майор, комендант крепости, пожалованный накануне осады в губернаторы, барон Хобби ван Аилва. Храбро обороняя вверенный ему город, Аилва сорвал надежды французов на скорое его покорение. Посему маркизе де Помпадур пришлось через Пюизье санкционировать подписание в Аахене Сен-Северином предварительного текста мирного договора, в целом выгодного англо-австрийской коалиции, но с включением статьи о гарантии Фридриху II «от всех держав» владения Силезией. Поздним вечером 19 апреля 1748 года в Аахене Сен-Северин завизировал от имени французского короля соответствующий текст «прелиминариев».

Увы, королю и его фаворитке пришлось очень скоро пожалеть о сделанном шаге. Елизавета Петровна оказалась не такой, какой ее описали Шетарди, д'Альон и иже с ними. Да, царица возмутилась странным потворством британского кабинета прусскому королю в ущерб австрийской короне, но предпочла не рвать отношения, а ограничиться строгим предупреждением в виде декларации от 11 мая, врученной в Лондоне

российским посланником П. Г. Чернышевым 7 июня. Тридцатитысячный корпус Репнина продолжал приближаться к Рейну, и во избежание надвигавшегося краха маркизе следовало предпринять что-либо еще, причем в кратчайший срок.

Удивительно, как она, пребывая в цейтноте, вновь нашла оригинальное решение. Еще раз надавив в Аахене на податливо-близоруких англичан, французская дипломатия добилась от британского двора двух распоряжений — от 7 июля об остановке русского корпуса в Германии и от 18-го о немедленном возвращении его в Россию без уведомления о том австрийцев. Расчет строился на отсутствии в момент перехода русскими солдатами германо-австрийской границы договоренностей между морскими державами и Австрией о порядке оплаты предназначенного для россиян провианта и фуража. Неразбериха должна была привести к взаимным упрекам, обвинениям, ссорам, а в идеале — к мародерству на местах и утрате русскими войсками боеспособности, после чего французы в Аахене смогли бы, угрожая разрывом прелиминарного акта, выжать из оппонентов необходимые уступки.

Комбинация имела шанс на успех. Русский авангард собирался войти в богемские пределы уже 6 августа, но тамошние земские комиссары категорически запретили это, ибо не знали, каким образом должны обеспечивать солдат провизией и прочими припасами. Вена была извещена о том вечером 9-го, когда страсти в приграничных районах накалились до крайности. От катастрофы антифранцузский альянс спасла Мария Терезия, в ночь на 10 августа велевшая богемским и моравским крестьянам и мещанам поставлять русским минимальный набор продуктов и сена по твердому прејскуранту с обналичиванием получаемых расписок в филиалах австрийского казначейства. Сей акт мгновенно разрядил обстановку в Пражском округе и попутно окончательно развеял французские иллюзии о реванше. Русские солдаты расположились в Богемии и Моравии на зимние квартиры. 7 октября 1748 года в Аахене был подписан итоговый вариант трактата с не удовлетворявшими Францию условиями.

Хотя ни одна из трех уловок не сработала и Франция, проиграв, уступила пальму первенства в Европе Российской империи, на Елизавету Петровну они произвели сильное впечатление. Ей захотелось выяснить, кто же чуть не лишил Россию заслуженной победы. Конечно, подозрения сразу пали на королевскую фаворитку. Проверить их довелось секретарю российского посольства в Голландии А. М. Голицыну, сыну адмирала. 23 февраля 1749 года государыня пожаловала молодого человека в надворные

советники, а 6 мая дала задание: пользуясь покровительством австрийского посла, обосноваться в Париже и наладить регулярное снабжение Петербурга французскими политическими и придворными новостями.

Голицын прожил в Париже с ноября 1750 года по май 1751-го, и сведений, которые он успел сообщить за это время, императрице вполне хватило, чтобы найти ответ на интересовавший ее вопрос. Недаром в июле 1754 года она похвалила Голицына-младшего за «очень хорошее исполнение» важной комиссии. В Версале между тем поездку Голицына в Париж заметили, расценили как желание русских возобновить прямой контакт, прерванный в январе 1749 года, и в итоге снарядили в Петербург своего «Голицына» — шевалье Дукласа, чей трехнедельный визит в Россию осенью 1755 года подготовил восстановление дипломатических отношений между двумя странами следующим летом. А маркиза де Помпадур, ставшая после событий 1748 года фактически главой французского правительства и во многом пересмотревшая собственный взгляд на Россию, сыграла важную роль в смягчении антирусских настроений при версальском дворе и налаживании нового русско-французского диалога.

К сожалению, историки не считают поход трех русских колонн от Немана до Майна (английское предписание остановиться настигло корпус под Нюрнбергом) чем-то выдающимся, крайне редко пишут о нем и, как правило, с пренебрежением: мол, потрудились на австрийцев, а самим ничего не досталось. Имеются в виду неучастие российского дипломата А. Г. Головкина в Аахенском конгрессе, отказ признать Россию воевавшей стороной. Отказывались только французы с испанцами; англичане, голландцы и австрийцы этого желали, однако, соблазненные на редкость выгодными прелиминарными условиями, побоялись упустить момент, подписали их, после чего Сен-Северин с полным на то основанием отверг попытку обсудить присоединение к переговорам российского делегата.

Впрочем, Елизавету Петровну подобные формальные почести волновали мало. Не будь в трактате статьи о вечном забвении «всего того, что с начала нынешней войны произошло», Россия вряд ли настаивала бы на признании Головкина полноправным членом конгресса. К тому побуждали императрицу опасения, как бы позднее Франция не использовала передвижение русского корпуса в качестве предлога для антирусских выпадов. Летом 1748 года ее расстроило не фиаско с конгрессом, а поведение англичан, по указке французов крутившихся подобно флюгеру. 26 августа Лесток не без удивления сообщил прусскому посланнику Финкенштейну, насколько раздражена царица поведением двух

морских держав, которые словно «хотят погубить и уничтожить ее войска». А дальше... Дальше случился фавор Ивана Ивановича Шувалова, 8 сентября 1748 года пожалованного из пажей в камер-пажи, 4 сентября 1749-го — в камер-юнкеры, 1 августа 1751-го — в камергеры. Темп карьерного роста уникальный — его покровительница как будто боялась опоздать к какому-то событию. К какому — понятно, если вспомнить, что Иван Шувалов симпатизировал Франции, а возвысился до положения первого министра. Елизавета Петровна спешила сотворить из пажа фигуру, которая сможет заменить англомана Бестужева в роли русского Ришелье, если ей придется один союз (с Англией) поменять на другой (с Францией).

То, что в 1755 году обиженный Париж первым поинтересовался готовностью Петербурга возобновить дипломатические отношения, лучше всяких конгрессов свидетельствует о статусе Российской империи после 1748 года — главной державы континента, позиция которой практически предрешала финал любой акции европейского масштаба — и военной, и дипломатической, и экономической... [{63}](#)

Глава девятая

БОИ ЗА ИСТОРИЮ

На личном примере убедившись в полезности объективного исторического знания, Елизавета Петровна по восшествии на престол намеревалась приобщить к нему и своих подданных, для чего требовалось позаботиться о появлении отечественного Самуэля Пуфендорфа или Шарля Роллена с описанием событий российского прошлого в доступной форме. Не сразу государыня поняла, что ключ к достижению цели находится в Академии наук, да и взялась за решение весьма непростой задачи тоже не сразу. Война со Швецией, реорганизация правительства, статус герцога Гольштейн-Готторпского, реабилитация жертв режима Анны Иоанновны, коронационные торжества, очевидно, не оставляли времени хорошенько подумать над тем, кто и как это будет делать.

Полагаем, 1742 год не стал бы началом трудных поисков, если бы не старый знакомый государыни, прославленный токарь отца Андрей Константинович Нартов. Во второй половине августа он приехал в Москву жаловаться на администрацию Академии наук, которую тогда возглавлял управляющий канцелярией Иоганн Даниель (Иван Данилович) Шумахер. Действуя в союзе с профессором астрономии Ж. Н. Делилем, соратник Петра добивался отстранения ненавистного немца. Правда, мастер, похоже, не подозревал, что его компаньон-француз ополчился против Шумахера по сугубо личным мотивам — тот разоблачил в ученом французского шпиона, тайно отсылавшего в Париж статс-секретарю по морским и колониальным делам графу де Морепе русские ландкарты и вдобавок под разными предлогами тормозившего составление первого российского географического атласа. Естественно, Делиль желал нейтрализовать опасного противника, потому и поддержал команду Нартова, недовольную немецким засильем в Академии наук.

Судя по всему, петровский токарь не только поднес царице челобитную о винах Шумахера, но и говорил с ней о наблевшем: об отсутствии русских профессоров, русских открытий, русских научных статей и даже написанной русским ученым российской истории. На это указывает вдруг проснувшийся у Елизаветы Петровны интерес к скромному столичному жителю, полковому комиссару в отставке Петру Никифоровичу Крёкшину. Тому когда-то доводилось общаться с самим Петром Великим, сотрудничать с князем Меншиковым. Однако с тех пор

много воды утекло. Забытый всеми отставник увлекся сочинением биографии царя-реформатора, а со временем и русскими древностями. В 1737 году Крёкшин возобновил службу в качестве члена Комиссии о мерах и весах, а рекомендовал его на должность А. К. Нартов. Механик и комиссар были приятелями, и, разумеется, первый хорошо знал о хобби второго, а возможно, и помогал с приобретением рукописных реликвий — Лаврентьевской летописи или Чертковского списка Владимирского летописца, заложивших основу крёкшинской коллекции манускриптов. К слову, ими пользовался В. Н. Татищев, сочиняя «Историю Российскую». Наверняка Нартов и свел двух историков-любителей.

В июне 1742 года Крёкшин закончил краткий биографический очерк о Петре I. Андрею Константиновичу ничто не мешало прихватить копию произведения с собой и на аудиенции подать государыне. Если Елизавета Петровна снизошла до обращения к Петру Никифоровичу, значит, какой-то образец его творчества в области истории она, по крайней мере, пролистала и прочитанное ее вполне удовлетворило. Последовала удивительная реакция: вскоре после 20 декабря, когда императорский двор вернулся в Санкт-Петербург из Москвы, А. Г. Разумовский встретился с комиссаром, чтобы сообщить высочайшую волю: ему поручается составить историю «четвертой северной монархии», то есть Российской империи.

Принято считать, что речь шла лишь об истории царствования Петра Великого. Между тем А. И. Ушаков, арестовавший Крёкшина в июне 1743 года по навету цалмейстера Елагина, обнаружил в изъятых бумагах записи, свидетельствующие о том, что автор собирался осветить «бытие народа российского» «от Потопа» до дней Петра Великого. Другой вопрос, насколько объемным задумывалось «предисловие» к деяниям основателя империи. Крёкшину явно хотелось ограничиться Петровской эпохой, но... по просьбе Разумовского надлежало существенно расширить хронологические рамки. К сожалению, Петр Никифорович высочайших ожиданий не оправдал. Комиссар умел излагать материал живо, выстраивал интригующие сюжетные композиции, но не мог обойтись без вымысла и чрезмерного пафоса.

Кстати, и в Тайной канцелярии Крёкшин очутился благодаря слишком буйной фантазии. Размышляя над пролетом кометы 1742 года, он набросал «прогностическое письмо», предвещающая России победу в войне со Швецией и присоединение Финляндии. В пророчестве упоминалось Святое Писание, причем, на взгляд посторонних читателей, «непристойно». Один из них, Елагин, проинформировал о том соответствующий орган. Шеф оного, Ушаков, мало что поняв в заумных сентенциях, переадресовал разбор

«тетрадей» Сенату, Сенат запросил мнение Синода, а тот окрестил «толкования» историка «бреднями». В общем, оскандалился приятель Нартова изрядно. Хотя он и просидел под караулом меньше двух месяцев (в крепости, затем в здании Двенадцати коллегий и по месту жительства), зато императрицу разочаровал навсегда. Безусловно, ей доложили о чудаковатом прорицателе, пишущем русскую историю «от 25-го лета царства Невродова», чьи верные князья Ассур, Мид и Мосох создали три новых царства — Ассирийское, Мидийское и... Московское.

Шанс удостоиться звания придворного историографа Крёкшин упустил. Впрочем, ему не возбранялось сосредоточиться исключительно на любимой теме — царствовании Петра I — и довести до конца замысел 45-томного жизнеописания великого государя (том о детстве до 1682 года и по тому на каждый год правления), чем он и занялся^[64]. А на престижную вакансию отныне претендовали Герард Фридрих Миллер и Василий Никитич Татищев. Оба были хорошо известны Елизавете Петровне. Татищев — соратник Петра Великого, сторонник воцарения Анны Иоанновны, поборник развития казенной металлургии на Урале, инициатор изучения российских рукописных древностей. Миллер же привлек к себе внимание будущей императрицы в 1732 году — чем именно, не вполне ясно, только цесаревна не поленилась помочь молодому ученому попасть в академический отряд Второй Камчатской экспедиции, о чем собиратель сибирских реликвий впоследствии сообщил одному из своих корреспондентов.

Девятнадцатого июня 1732 года Сенат позволил Академии наук включить в команду Витуса Беринга профессора и двух студентов. Академия попросила увеличить квоту до двух или трех профессоров. Сенаторы согласились поднять ее до двух членов. Первыми кандидатами на зачисление в штат экспедиции стали астроном Луи Делиль де ла Кроер и химик Иоганн Георг Гмелин. Последний заболел, и на замену ему коллеги выбрали Миллера. 22 марта 1733 года Сенат утвердил новый тандем, а когда профессор химии выздоровел, его тоже отпустили в командировку на восток. В промежутке между двумя датами Миллер начал выпуск журнала «Собрание российских историй» и успел до отъезда опубликовать три части, отведя до трети каждого номера под летопись Нестора — и почти всё на родном немецком языке, которым, как мы помним, Елизавета Петровна владела в совершенстве...

Миллер покинул Санкт-Петербург 8 августа 1733 года, возвратился 14 февраля 1743-го с сорока массивными подшивками старинных документов, обнаруженных в архивах Тобольска, Енисейска, Иркутска, Пелыма,

Якутска, Нерчинска, Березова и других городов. Василий Татищев, отосланный в Астрахань руководить калмыцкими улусами, отсутствовал в столице империи с 10 августа 1741-го. Посему не стоит особо удивляться тому, что 1 апреля 1743 года императрица встретила именно с Миллером, первым добравшимся до берегов Невы. Профессор поднес государыне первый том «Описания сибирских народов» («Истории Сибири»), тут же отправленный в Академию наук для перевода «на российский диалект». Беседовал ли он тогда с Елизаветой на исторические темы, мы не ведаем, но сам факт аудиенции воочию продемонстрировал всем степень высочайшей благосклонности к уроженцу Вестфалии.

Парадоксально, но Миллер при русском дворе покровителей не имел — в отличие от Татищева, за которого хлопотали и соотечественники, и иностранцы, и энергичнее прочих М. И. Воронцов и И. Г. Лесток, а в академической среде его интересы отстаивал И. Д. Шумахер. Примечательная деталь: 28 февраля 1743 года Нартов получил из Астрахани от Татищева, тамошнего губернатора, заявку на отправку к нему знатока немецкого, дабы переложить на тот язык «древней русской истории одну часть». Хотя «некоторым знатым благодетелям» историк обещал французскую копию со своего труда, боязнь оплошностей со стороны переводчика вынудила его, во французскую грамматику не вникавшего, перестраховаться. Кроме того, в бумаге подчеркивалось, что работа над первой частью практически закончена, однако в печать на русском языке он отдаст текст не ранее, чем будет готов немецкий вариант.

Иначе говоря, петербургские друзья уже гарантировали Татищеву выход в свет написанного им труда по русской истории — без всякой августейшей санкции, не нужной, если глава государства к данному предмету равнодушен. Тем не менее вышла осечка. Вояж Нартова в Москву убедил императрицу разобраться с обвинениями в адрес руководства академической канцелярии, сиречь Шумахера. 30 сентября 1742 года Елизавета Петровна повелела сформировать судебную комиссию. Через неделю Ивана Даниловича взяли под домашний арест. Комиссары — адмирал Н. Ф. Головин, тайный советник Б. Г. Юсупов и генерал С. Л. Игнатьев — распутали дело за полгода, придя к однозначному выводу: Шумахера оклеветали!

Увы, авторитет Ломоносова — единственного из членов Академической конференции (Ж. Н. Делиль с 1738 года ее заседания бойкотировал) примкнувшего к восстанию нижних чинов канцелярии, до сих пор мешает исторической науке взглянуть на эти события беспристрастно. Да, Шумахер был жестким, подчас несправедливо

жестким администратором. Правда, без этой жесткости он вряд ли сумел бы уберечь детище Петра I от краха и развала. Мало того что академия финансировалась из бюджета на редкость скудно (около 25 тысяч рублей в год) и надлежало как-то изворачиваться, добывая дополнительные средства от спонсоров и книжной торговли, перекраивая в зависимости от приоритетности расходные статьи, так еще требовалось изо дня в день обуздывать амбициозность профессорского состава, поголовно состоявшего из иностранцев с высоким самомнением и связями при дворе, а потому заносчивого и конфликтного.

Иван Данилович умудрялся справляться с проблемами: и ученое высокомерие осаживал, и сводил концы с концами, оплачивая счета и погашая задолженности — естественно, при содействии секретарей, переводчиков, канцеляристов, копиистов и т. д. Не все могли выдержать напряженный ритм работы и непростой характер советника канцелярии. Вот часть сотрудников и взбунтовалась, объединившись со студентами, из-за повальной экономии жившими впроголодь, и избрала своим лидером Нартова, заведовавшего Инструментальной палатой Академии наук и неподотчетного Шумахеру. Увы, «мятежники» потерпели полное фиаско. Во-первых, они оказались в абсолютной изоляции: большинство сослуживцев во главе с секретарем Сергеем Волчковым и канцеляристом Василием Худяковым от них отмежевались, а члены Конференции, за одним исключением, либо осудили бунт, подобно Г. Ф. Миллеру, по приезде организовавшему сопротивление Нартову, либо промолчали, по примеру адъюнкта Г. Н. Теплова; наконец, многие из влиятельных персон, близких к академии (среди них, между прочим, значились лейб-медик А. Р. Санхес и В. Н. Татищев), открыто поддержали Шумахера. Во-вторых, подопечные петровского механика не сумели предъявить весомые доказательства «воровства» патрона, хотя судьи нисколько не препятствовали им. В итоге уже 28 декабря 1742 года комиссия отменила домашний арест Ивана Даниловича, а менее чем через год, 5 декабря 1743-го, его и вовсе реабилитировали и восстановили в должности^{65}.

Однако время для публикации «Истории Российской» было упущено. Кстати, Нартов переводчика в Астрахань так и не послал, наверняка к немалому недоумению Василия Никитича. Недоумение губернатора вскоре возросло, ибо некоторые его приятели вдруг настоятельно порекомендовали ему подкорректировать стиль первой части «гистории». Татищев вчерне написал ее, как и две другие части, в Санкт-Петербурге в течение 1739–1741 годов, умышленно используя «древнее наречие», язык летописей, чтобы дать читателю возможность почувствовать дух русского

Средневековья. К тому же «История Российская» сочинялась в форме обширного летописного свода, вобравшего в себя и общую, и уникальную информацию всех сохранившихся русских летописей, летописцев, повестей, житий, а также мемуаров посетивших Русь иноземцев. Сравнивая разные источники, историк выстраивал единый хронологический ряд. В Астрахани пришла пора редактирования: изъятия повторов, снятия противоречий, добавления логически недостающих эпизодов. К весне 1743 года Василий Никитич завершил шлифовку тома, посвященного периоду Киевской Руси (от 808 до 1238 года), снабдил его «предъизвещением» (предисловием) о более раннем прошлом славянских племен по сведениям из римских, византийских, арабских хроник и, похоже, очень надеялся на издание книги либо в 1743-м, либо в 1744 году.

И, на тебе, из-за неких «слепых феологов предкновений» пришлось готовый текст переключать на «настоящее наречие». Что же случилось? Кому понадобилось под благовидным предлогом тормозить, если не срывать оригинальный проект? Правда, Татищев — не единственный, кого тогда «обидели». Миллер столкнулся с неменьшими неприятностями. 16 марта 1744 года на заседании Конференции профессор инициировал учреждение при Академии наук Исторического департамента. Но замечательная идея по какой-то причине не нашла понимания наверху, о чем Шумахер уведомил членов Конференции 6 апреля. Странно, что до сих пор считается, будто советник действовал в пику Миллеру по собственной инициативе, хотя он не скрывал, что озвучивает официальную — сенатскую — точку зрения. В том же году произошел еще один казус. В январе Василий Тредиаковский закончил перевод на русский язык для великого князя Петра Федоровича «Апофегматы» (сборника изречений) Иоганна Ниренберга, после чего погрузился в тринадцатитомную «Древнюю историю» Шарля Роллена, перевести которую еще в 1738 году велел И. А. Корф, активный сторонник популяризации истории. За разными заботами дело не шибко двигалось вперед, и вдруг в 1744 году процесс набрал завидные темпы: уже 22 марта 1745-го академическая канцелярия запросила у сенаторов санкцию на сдачу в печать сразу трех томов.

Кто же на рубеже 1743–1744 годов был вправе помешать академической типографии растиражировать сочинение историка, почитаемого Шумахером, отклонить важную структурную реформу в рамках Академии наук, а ее секретаря, перегруженного делопроизводственной рутинной, усадить за энергичный переводческий труд? Реально — только императрица, заметим, имевшая в личной библиотеке оба многотомника Шарля Роллена — и по древней, и по

римской истории. А вот зачем дочери Петра это понадобилось, попробуем установить. Елизавете предстояло назвать имя автора, который напишет полную русскую историю. То, какой она ей виделась, подсказывает Третьяковский: по форме изложения — как у Шарля Роллена. Что касается автора, то, судя по всему, сама государыня больше симпатизировала Миллеру, стремившемуся к максимальной объективности, принципиально отвергавшему какую-либо зависимость историка от чего-либо и кого-либо, в том числе от монарха, вероисповедания и общественного мнения. Однако патриотическому окружению царицы импонировал Татищев, русский, сподвижник Петра, с почти законченной рукописью «Истории Российской» на руках. И ничего, что на «древнем наречии». Осовременит, если потребуется.

Данное столкновение пристрастий породило компромисс: императрица уступила в вопросе о департаменте, Василий Никитич взялся за «переложение». Тайный советник очень спешил. Должность губернатора, возраст и связанные с ним болезни не помешали к июлю 1745 года усовершенствовать «близ половины» первой части^[66]. А потом... сановник угодил в опалу, причем весьма необычную. За калмыцкий кризис, случившийся по вине Татищева (подробности ниже), Елизавета Петровна 16 сентября 1745 года отправила его в отставку, а через девять дней предписала «жить... до указа в деревнях ево, а в Санкт-Петербурх не ездить». Конечно, сей мерой в первую очередь укрепляли пошатнувшееся доверие калмыков к российской власти и заглаживали обиду калмыцкого наместника Дондук-даши, которому весьма льстило, что недруг очутился под надзором в деревне. Но, с другой стороны, находившийся вне императорской резиденции, изолированный в деревне Татищев уже не мог претендовать на звание первого русского историографа, ведь в отрыве от важнейших документальных коллекций страны российскую историческую науку не создашь.

Ясно, что шансы Миллера тут же существенно повысились. Профессор, осознав конъюнктуру, не замедлил повторно замолвить слово об Историческом департаменте. 17 ноября 1745 года Татищев, сдав пост И. О. Брылкину, покинул Астрахань. С частыми привалами в деревнях и городах он в середине марта 1746-го добрался до Москвы, где и услышал о запрете на въезд в Санкт-Петербург. Отослав дочь в столицу хлопотать об отмене ссылки, Василий Никитич около месяца прожил в Белокаменной. Увы, государыня не смиростивилась, и 18 апреля тайный советник в сопровождении двух унтер-офицеров выехал в село Болдино под Дмитровом. А летом того же года Миллер подал на имя Кирилла

Григорьевича Разумовского дубликат докладной 1744 года с детальным обоснованием необходимости учреждения при академии «департамента российской истории» во главе с ним самим в чине историографа. Любопытно, что автор считал задачей историографа не «сочинение всероссийской истории», а только выявление, описание и заботу о сохранении всех архивных фондов империи — государственных, городских, монастырских, даже частных и лишь в качестве дополнения составление историй регионов, в частности Сибири. Относительно же описания прошлого России в целом профессор подчеркивал, что к тому «люди.... определятся» особо.

О чем свидетельствует сей пассаж? О том, что опала Татищева ему в общественном мнении не навредила. Миллер, как и два года назад, предлагал компромисс: пусть будет два историографа; один — директор российских архивов, другой (Татищев) — сочинитель «всероссийской истории», над которой вполне можно работать и в деревенском уединении. Несомненно, Миллер и в 1744 году, и в 1746-м надеялся превратить патриотическую партию из противника в союзника. Но Разумовский, невзирая ни на что, 7 августа 1746 года ответил отрицательно: «Оный... проект веема хорош, токмо в разеуждении сибирской истории, которая на него... положена... в действо производить невозможно, дабы вдруг двух дел... на одного человека не положить». Потомки опять же списали сей вердикт на козни Шумахера. Но если не торопиться с выводами, то не обнаружится ли, что и Разумовский, и Сенат в 1744 году озвучивали мнение не господина Шумахера, а более высокого лица?

Кирилл Григорьевич, младший брат А. Г. Разумовского, совсем еще юнец (родился в 1728 году), с весны 1743 года по весну 1745-го ради обучения наукам путешествовал по Европе под присмотром адъютанта Григория Теплова. По возвращении в Россию он был 29 мая 1745 года произведен из камер-юнкеров в камергеры императрицы, а по прошествии чуть менее года, 21 мая 1746-го, удостоен куда более солидного звания — президента Санкт-Петербургской академии наук. Восемнадцатилетнего парня усадили в кресло, прежде занимаемое весьма уважаемыми людьми — лейб-медиком Блюментростом, дипломатами Кейзерлингом и Корфом, кабинет-секретарем Бреверном. Событие уникальное, под стать разве что назначению на ту же должность Е. Р. Дашковой в 1783 году. Тем не менее комментируется оно в исторической литературе без каких-либо эпитетов, как само собой разумеющееся. Мол, по велению времени вместо немца доверили пост русскому. Из поколений постарше достойного не нашлось, да и государыня царствовала капризная...

Между тем понять, почему Елизавета Петровна откомандировала в академию не кого-то из числа соратников или славных в свете ученых, а юнца, нетрудно, если не забывать, что через месяц, 1 июля, его гувернер Теплов был произведен в ассесоры и назначен членом канцелярии Академии наук. Григорий Николаевич Теплов хорошо разбирался в академических порядках, по чину и опыту годился на роль первого помощника молодого президента. Его присутствие рядом с Разумовским служило гарантией, что тот не окажется жертвой обмана или манипуляций со стороны подчиненных — но не со стороны Елизаветы Петровны: возражать ей юный президент, в отличие от президента с именем, не рискнул бы. Так что назначение Разумовского главой Академии наук — не самодержавная блажь, а следствие насущной потребности в беспрекословном исполнителе, беспрепятственно реализовывающем в академии нужные монархине решения.

Как мы помним, царица не питала слабости к естественным наукам, а из гуманитарных любила историю. Вот и объяснение странной прихоти: через Разумовского-младшего она хотела напрямую курировать историческую «кафедру», поручив контроль над прочими Теплому^[67].

Отклонив проект Миллера, Кирилл Григорьевич дебютировал в роли августейшего рупора. И стоит согласиться с императрицей, во второй раз признавшей инициативу немца несвоевременной. Крупные неприятности не настигли его той же осенью лишь потому, что друзья Татищева не сразу сообразили, что дочь Петра прочит в русские историографы именно Миллера, иначе не потратили бы около полугода на попытку диалога с новым президентом. Василий Никитич — конечно же по совету извне — 24 августа 1746 года попросил у Разумовского «помосчи к докончанию русской истории», прибавив, что обе части, «о народах славенском, скифском и сарматском... до... Рюрика 1-го» и от первых «росиских государей до нашествия татар», написаны, причем материал изложен «настоящим наречием и яснейшим слогом». «Помосчь» должна была заключаться в отправке в Болдино двух-трех копиистов, ибо рукопись «набело переписать некому».

Что ж, Кирилл Григорьевич обещал их прислать. Обещать-то обещал, только не прислал, и работа над «Историей Российской» замерла практически на два года. 20 июня 1747-го Татищев в письме Шумахеру так обрисовал ситуацию: «Что [до] моего труда принадлежит, то хотя много изготовлено, токмо переписать некому... вижу, что Его Сиятельство г[осподин] президент, скуча оным первым неприятным ему ответом, совсем оставил, а я для моей тяжелой болезни и, видя оное уничтожено, сам

оставил».

«Первый неприятный ответ» — это о позиции императрицы. Очевидно, патриотическая партия надавила на Разумовского достаточно сильно, раз тому пришлось известить ее об августейшей немилости к Татищеву В другом письме Шумахеру, от 14 января 1748 года, историк продемонстрировал хорошую осведомленность о царской пристрастности, сообщив, что мог бы академии «услужить копиями» ряда манускриптов, «если е[e] и[мператорское] в[еличество] велит к тому писцов дать». Ориентировочно к Рождеству 1746 года приверженцы болдинского узника уразумели, на чьей стороне симпатии императрицы. Тогда-то над головой Миллера и сгустились тучи — его оппоненты задумали уравнивать шансы двух историков, посадив под домашний арест и немца.

Интригу разыграли при содействии Крёкшина. В сентябре 1746 года Шумахер поручил Миллеру оценить привезенное из Сената «родословие великих князей, царей и императоров российских», составленное неугомонным комиссаром. Подвох генеалогического древа таился в утверждении автора, что Романовы — прямые потомки Рюриковичей. Честный историк, без сомнения, должен был опровергнуть этот вымысел и тем самым дать повод патриотам обвинить его в оскорблении высочайшей фамилии. Миллер против истины не погрешил и в замечаниях от 6 октября 1746 года решительно раскритиковал фантазии Крёкшина. Судя по всему, почитатели Татищева не инспирировали коллизию, а просто ею воспользовались. Ведь более трех с половиной месяцев интерес к рецензии профессора-немца ни у кого, в том числе у самого Петра Никифоровича, не возникал. Похоже, его замечания никто даже не читал, пока в середине января 1747 года о них не вспомнили.

Двадцать восьмого января в академической канцелярии в присутствии президента Крёкшин «требовал поданного от профессора Миллера о родословии государей, царей, великих князей российских примечания». Разумовский удовлетворил просьбу. А 23 февраля комиссар официально предупредил Академию наук, что уличил Миллера «в собирании хулы на русских князей». 11 марта он подкрепил обвинение сборником собственноручных выписок немца из сочинений иностранцев о России, в которых, понятно, имелось немало сентенций, для русского слуха нелестных. Миллер отреагировал на угрозу политического суда над ним мгновенно, предложив рассмотреть свою полемику с Крёкшиным независимым арбитрам — «двум или трем из профессоров». 18 марта такая комиссия была сформирована в составе иностранца Ф. Г. Штрубе де Пирмонта и двух русских — В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова.

За недосугом или по иным причинам третейский суд лишь 19 июля вынес вердикт — единогласно и, главное, в пользу Миллера. Крёкшин, доложили три профессора К. Г. Разумовскому, «не доказал, почему он высочайшую фамилию Романовых производит от князя Романа Васильевича Ярославского» из династии Рюриковичей. И пусть потом Петр Никифорович бил челом Сенату, добиваясь осуждения и Миллера, и членов комиссии, переиграть всё заново было невозможно: других русских профессоров Академия наук в ту пору не имела. Хотя по поведению сенаторов видно, что переиграть им очень хотелось. 4 августа они пригласили на заседание Ломоносова, чтобы тот перевел им с латыни отрывок из бумаг Миллера, касающийся польской истории, который Крёкшин считал наиболее оскорбительным для императорской чести, но так и не нашли, к чему придраться. Впрочем, это не помешало Сенату 4 декабря по очередной челобитной комиссара возобновить дело и оставить в подвешенном состоянии, как говорится, на всякий случай...

Совпадение опять же поразительное: Сенат взял на заметку апелляцию Крёкшина через две недели после кульминационного события данной эпопеи — заключения с Миллером контракта о принятии на русскую службу историографом «для сочинения генеральной российской истории». Профессору повысили жалованье, прикомандировали помощника в ранге профессора истории И. Э. Фишера и обещали учредить особый департамент по плану, им же разработанному, правда, потребовав клятвенного обещания «из Российского государства не выезжать по смерть» и никогда не увольняться из академии, о чем Разумовский объявил в канцелярии 10 ноября. Миллер, смущенный унижительными ограничениями, поначалу заартачился. Понадобилось десять дней, чтобы он осознал, насколько подобная присяга важна в условиях, когда патриотическая партия раздражена самим фактом, что русскую историю будет писать иностранец. Наконец 20 ноября Миллер, смирившись, подписал документ.

Ирония судьбы: летом 1747 года Ломоносов спас Миллера, и он же осенью 1749-го загубил в зародыше Миллеровскую «Историю Российскую». В чем причина метаморфозы? В русской патриотичности Шумахера, как бы ни считали советника канцелярии врагом России и русской науки. Можно сколько угодно превозносить принципиальность и патриотизм гениального помора, в разных ситуациях не покривившего душой; однако защита истины подразумевает хорошее знание предмета дискуссии. Кто были члены арбитражной комиссии 1747 года? Штрубе — правовед, Третьяковский — переводчик, в том числе исторических

произведений; оба хотя бы косвенно профессионально соприкасались с историей. А вот Ломоносов, обожавший химию, физику и поэзию, мечтавший о химической лаборатории, как попал в триумвират? Увы, не потому, что в октябре — декабре 1734 года в Киеве по древним памятникам изучал биографию и философские взгляды первого русского митрополита Илариона, а в феврале 1740-го во Фрейберге купил по случаю «Историю и описание великого княжества Московского» Петра Петрея. Вполне вероятно, что за пять лет проживания в Москве (1731–1735) Ломоносов в библиотеках Славяно-греко-латинской академии, московских монастырей, правительственных учреждений брал в руки те или иные летописи и степенные книги — но как начинающий филолог, не историк. Красота языка, речевых оборотов влекла молодого студента, а не фактическое содержание документов. К примеру, в «Письме о правилах российского стихотворства» 1739 года он упомянул Сарматскую хронологию Матвея Стриковского в связи с фонетическими, а не фактологическими проблемами в трудах Мелетия Смотрицкого. И в Киеве в основном исчеркал пометами манускрипты, посвященные либо философии, либо языкам, в первую очередь латинскому. Да, Михаил Васильевич разбирался в истории... в общих чертах, подобно любому образованному человеку той эпохи. И отсутствие каких-либо сочинений Ломоносова по истории до 1747 года — красноречивое свидетельство тому, что с профессиональной точки зрения она его не интересовала.

Не хотелось бы никого разочаровывать, однако холмогорского гения пригласили в комиссию исключительно по национальной принадлежности. Немца Миллера следовало экзаменовывать русским профессорам, а таковых в академии числилось двое. А далее свою роль сыграли на тот момент приятельские отношения между Тредиаковским и Ломоносовым. Тредиаковский, со дня вызова в Москву в феврале 1742 года опекаемый лично Елизаветой Петровной, догадывался, на чьей стороне августейшие симпатии, а посему и сам высказался в пользу Миллера, и повлиял на мнение товарища, в истории не слишком сведущего. Шумахер, покровитель Ломоносова, с большим опозданием обнаружил это умонастроение дуэта. Не зря 7 июля 1747 года профессору химии поручили просмотреть русский перевод первой части «Истории Сибири» Миллера — вдруг что-нибудь да возмутит уроженца Холмогор. Не успели. Спустя 12 дней Ломоносов подписал невыгодный друзьям Татищева вердикт^{68}.

Миновало полгода. 27 января 1748-го, как и было обещано, по проекту Миллера академическая канцелярия образовала Исторический департамент из двух членов, ожидая от них максимально быстрого «сочинения

сибирской истории», причем на началах коллегиальности — итоговые тексты визировались и Миллером, и Фишером. Это был хитрый ход. Ученые, занятые иными заботами, за полтора месяца не удосужились обсудить друг с другом план работы. И вот 24 марта под благовидным предлогом избежать торможения важного дела из-за «партикулярного несогласия» двух профессоров истории Шумахер инициировал создание экспертного совета, «Собрания исторического», уполномоченного изучать и утверждать любые подлежащие публикации труды из области «гуманиора» — поэтические, философские, исторические. В чем подвох? В том, что участвовать в еженедельных заседаниях предстояло и Ломоносову, к истории в принципе равнодушному.

В этом Шумахер легко убедился, велел профессору химии 16 января «освидетельствовать» перевод на русский язык двух книг — «Экспериментальной физики» Мартина Лешера и «Житие славных генералов» Корнелия Непота. Насколько с удовольствием Михаил Васильевич проштудировал первую, отыскав в ней немало погрешностей переводчика Василия Лебедева, настолько без всякого энтузиазма пролистал вторую, найдя ее «исправной и весьма достойной» для издания (а переводил тоже Лебедев). В общем, пришлось прививать Ломоносову любовь к истории в добровольно-принудительном порядке. Зачем?

Ведь ни для кого не являлось секретом, что по завершении «сибирской истории» Миллер возьмется за «всероссийскую» и во избежание скандала каждый том, прежде чем отсылать в типографию, придется давать на прочтение русским членам академии — всё тем же Третьяковскому и Ломоносову. За голос Василия Кирилловича бороться было уже бессмысленно. А вот Михаила Васильевича привлечь в ряды патриотической партии шанс имелся, если разбудить в нем — химике, физике и стихотворце — еще и историка. Обсуждение второй части «Истории Сибири» открылось в академическом собрании 29 апреля 1748 года. В течение трех слушаний (25 и 27 мая и 1 июня) Ломоносов хранил молчание, в обмен доводами Миллера с Фишером не вмешивался и, скорее всего, не вмешался бы, не назови немец в повествовании легендарного Ермака, покорителя Сибири из простых казаков, разбойником. Ломоносова, не стеснявшегося своих мужицких корней, подобное сравнение зацепило. Вслед за Штелином и Штрубе де Пирмонтом он потребовал о Ермаке «писать осторожнее и... в рассуждении завоевания Сибири, разбойничества не приписывать». Миллер не перечил — наоборот, пообещал учесть замечание.

Однако... Герарда Фридриха Миллера историографы не напрасно

считают честным историком. Профессор прекрасно понимал опасность ссоры с Ломоносовым, а потому, получив 3 июня возражение трех коллег, и взял трехдневный тайм-аут в надежде «умячить» формулировку не в ущерб истине, но, к сожалению, «умячить» не смог и после раздумий предложил во избежание скандала изъять из текста спорный пассаж, что все и одобрили.

Похоже, 6 июня 1748 года — переломная дата. Именно тогда, сломав упрямство немца-историографа, Ломоносов почувствовал, что должен взвалить на себя дополнительное бремя — защиту российской истории от вольных или невольных искажений ее чужеземцами. Отныне он уже не будет с неохотой брать на рецензирование переводы исторических книг и постепенно увлечется изучением не только языка, но и фактологии архивных первоисточников. И вот явное доказательство тому. 4 августа Шумахер распорядился отдать Ломоносову русский вариант первой главы «Истории Сибири» в новом переводе всё того же Василия Лебедева. Через неделю ученый отчитался: «Помянутая книга напечатания достойна. Малые погрешности, которые больше в чистоте штиля состоят, могут им самим (переводчиком. — К. П.) легко быть исправлены»^[69]. Нетрудно заметить прогресс в сравнении с отзывом о книге Корнелия Непота. Раз в рапорте фигурируют «малые погрешности», то текст рецензент прочитал, несомненно, со всем вниманием.

Итак, патриотам посчастливилось завербовать в свои ряды ключевую фигуру. Как же императрица проглядела их усилия и допустила переход Ломоносова в татищевский лагерь? Потому и проглядела, что в то время корпус Репнина маршировал от Немана до Рейна и французы любыми путями пытались сорвать его соединение с англо-австрийскими войсками. Что волновало Елизавету Петровну 6 июня 1748 года? Как различить в толпе горожан и поселян шпионов и поджигателей? Что ж, Миллеру не повезло так же, как и Алексею Владыкину: в первой половине 1748 года государыню всецело занимали проблемы внешнеполитические, внутренние автоматически отошли на второй, а то и на третий план. И только осенью, по мере приближения подписания в Аахене всеобщего мира, царица вернулась к не до конца решенным вопросам, среди прочих и к историческому.

Она быстро сообразила, что сближение Ломоносова с друзьями Татищева необратимо и посему довести «Историю Российскую» Миллера до типографии обычным порядком не получится — Ломоносов, подняв шум, блокирует процесс. Тем не менее средство нейтрализации оппозиции Елизавета Петровна придумала. Предполагалось, во-первых,

усыпить ее бдительность, во-вторых, замаскировать главы истории под публичные лекции, приуроченные к праздничным торжествам. По оглашении всех глав перед многочисленными собраниями они отправились бы в печать уже под одной обложкой, и никакой Ломоносов этому не помешал бы, ведь их содержание удостоится апробации — общественной...

Ориентировочно в ноябре или декабре 1748 года императрица разморозила подготовку к изданию «Истории Российской» Татищева. Нашлись писцы и для Болдина, и для Академии наук. К марту 1749 года, судя по письму Василия Никитича Теплову от 16-го числа, внесение в первую часть (прежнее «предъизвещение») изменений и добавлений, накопившихся за период простоя, заканчивалось. Шумахер активно содействовал историку в переводах из древних авторов — Геродота, Птолемея, Страбона и других, подключал профессорский состав к экспертизе присланных из Болдина черновиков.

А параллельно профессор Миллер в Санкт-Петербурге трудился над диссертацией с красноречивым названием «Происхождение народа и имени российского» (*Origines Rossicae*). По сути, он писал альтернативное «предъизвещение», которое намечалось зачитать принародно 6 сентября 1749 года на ассамблее, посвященной тезоименитству императрицы. 3 августа оно появилось на свет на латинском языке, 14-го — на русском, 23-го успешно миновало сито Академического собрания. Затем статью размножили, сделав тысячу экземпляров — 500 по-русски и 500 на латыни. 2 сентября Академия наук оповестила о предстоящем мероприятии знатных гостей. Казалось, маневр удался. Однако поздним вечером 3 сентября в Северную столицу примчался из Первопрестольной гвардеец Патрикеев с повелением перенести ассамблею на 25 ноября — годовщину восшествия Елизаветы Петровны на престол. Два с половиной месяца отсрочки давались для тщательного просмотра диссертации Миллера на предмет того, «не сыщется ль в оной чего для России предосудительнаго». Ясно, что Патрикеев исполнял волю не Теплова или Разумовского, а государыни, которая, в свою очередь, уступила нажиму многочисленных сановных друзей Татищева.

Кстати, императрица ознакомилась с работой историографа прежде других, в середине августа, ибо именно она, а не двадцатилетний Разумовский, распорядилась «освидетельствовать» ее не в «Историческом собрании», а на конференции всех членов академии и, кроме того, изъять из текста «те три строчки, которыя в конце диссертации замечены». Канцелярия приняла данную директиву к реализации 19 августа. Что любопытно, Ломоносов в числе тринадцати участников присутствовал на

заседании 23 августа и... не был возмущен ни одним из тезисов Миллера — побоялся выглядеть белой вороной, полемизировать с более квалифицированным специалистом или и вправду не нашел ничего зазорного. В расчетах относительно Михаила Васильевича императрица не ошиблась. Но ведь был еще канцелярии советник Иван Данилович Шумахер, готовый на многое ради Татищева. Именно он заочно познакомил русского гения и узника Болдина, отослав тому в сентябре 1748 года экземпляр ломоносовской «Риторике». Не прошло и полугода, как молодой ученый с позволения тайного советника написал от имени последнего посвящение первой части «Истории Российской» великому князю Петру Федоровичу.

Несомненно, главу академической канцелярии раздражала сама мысль, что его давнему приятелю, соратнику Петра, досконально изучившему древнерусские летописи и манускрипты, дворянину и, наконец, природному русскому предпочли выскочку-иностранца, к тому же в прошлые годы серьезно провинившегося перед ним, Шумахером. Напрасно Елизавета Петровна не учла его мнение... От своего имени поднимать по тревоге сиятельных патриотов, уехавших в свите государыни в Москву, Иван Данилович не рискнул, а воспользовался бесстрашием Петра Никифоровича Крёкшина, который и предупредил Воронцовых, Шуваловых, Трубецких, Белосельских, Юсуповых и иже с ними о предосудительности для России торжественной речи Миллера. В чем та «предосудительность» заключалась, не уточнялось. Обнаружить таковую предстояло цензурной комиссии в составе профессоров Фишера, Ломоносова, Штрубе де Пирмонта, ТрEDIAковского, адъюнктов Крашенинникова и Попова. Нетрудно догадаться, как разделились голоса: Фишер, Штрубе де Пирмонт и ТрEDIAковский ничего «противного» в диссертации не отыскивали, в отличие от Ломоносова, Крашенинникова и Попова.

Адъюнкт — не чета профессору. Позиция Михаила Васильевича сыграла в той ситуации роль вето, породив вековой раскол среди российских историков на два непримиримых лагеря — норманистов и антинорманистов, с удивительной запальчивостью спорящих о том, откуда родом Рюрик и существовало ли Российское государство до него. Между тем в истоках этой распри — пятый и шестой параграфы рапорта профессора химии Ломоносова от 16 сентября 1749 года: один опровергал утверждение Миллера, что варяжский князь Рюрик с дружиной — скандинавского происхождения; другой настаивал на использовании восточными славянами наименования «Русь» еще до появления

прибалтийских славян Рюриковичей.

Вообще-то в рапорте 12 параграфов. Есть в них и невнятная критика скептического отклика историографа об основании Москвы Мосохом, и порицание коллеги, во-первых, за скупость по адресу предшественников славян — скифов, во-вторых, за «омоложение» русского народа веков на пять. Почти половина претензий касается стиля, качества латинского и русского переводов и целого ряда фактических погрешностей.

И всё же самое интересное — не в параграфах, а в дате. Судя по ней, категоричный в выводах профессор химии умудрился произвести ту же работу, что и Миллер (тщательный просмотр и перекрестный анализ всех источников), за две, максимум три недели — слишком фантастично даже для гениального холмогорского самородка. Куда ближе к истине предположение, что его, пусть и знакомого с летописями, консультировал кто-то, детально знавший событийные и хронологические аспекты летописных сводов. В Санкт-Петербурге осенью 1749 года проживал единственный авторитетный знаток русских летописей — Крёкшин, и явное нежелание рецензента «обижать» князя Мосоха косвенно свидетельствует об участии неутомимого комиссара в сочинении рапорта. Кто же свел историка-любителя с химиком — членом Академии наук? Шумахер. С целью, вполне понятной: воспрепятствовать Миллеру обойти со своим сочинением «Историю Российскую» Татищева. Ставшие камнем преткновения два центральных пункта «о начале народа русского» дуэт заимствовал, безусловно, из «предъизвещения» Василия Никитича. Диссертацию Миллера просто сличили с ним, выявили бросающиеся в глаза несовпадения, поставили их во главу угла, присовокупив кое-что от себя. Филологическую часть возражений сформулировал Ломоносов, историческую — Крёкшин, который, похоже, и надумил партнера поправить татищевский тезис о происхождении Рюрика от... финнов. Столь же непатриотичную версию, как и норманскую, заменили прусской, возникшей в XVI веке с легкой руки автора «Послания о Мономаховом венце» митрополита Спиридона, расписавшего генеалогию русских великих князей от Пруса, родственника римского императора Августа, правившего славянами, жившими «на берегах реки Вислы», и его прямого потомка Рюрика^{70}.

В общем, комбинация, придуманная Шумахером, увенчалась абсолютным успехом: он перехватил у государыни инициативу. В Москве, получив известие о размежевании среди академиков и рапорте Ломоносова, быстро сообразили, в защиту какого «начала русского народа» выступил Михаил Васильевич, и поневоле согласились на проведение научного

диспута. Отныне судьба русской истории решалась не кулуарно, а на общественных слушаниях. Собранию академиков официально поручалось выяснить, кто из двух претендентов — Миллер или Татищев — более прав и, значит, чей вариант истории более достоин публикации. 21 сентября Разумовский распорядился изъять из обращения спорную диссертацию, а лекцию по истории на праздничной ассамблее заменить лекцией по физике. Идею дискуссии Москва одобрила чуть погодя, 9 октября 1749 года.

Она открылась 23 октября и продолжалась до 29 ноября, затем возобновилась 20 января 1750 года и шла до 8 марта. Всего состоялось 30 заседаний, финальное прошло 21 июня, когда тринадцати судьям велели представить в письменном виде свои заключения. Итог не порадовал императрицу. Профессора-иноземцы либо под предлогом неразумения русского языка и русской истории уклонились от оценки по существу, либо всецело положились на добросовестность русских коллег. Ломоносов и Крашенинников проголосовали против диссертации, Тредиаковский — за, но с условием внесения в текст некоторых поправок; адъютант Попов, естественно, примкнул к дуэту. Опираясь на итоги голосования, 12 сентября 1750 года академическая канцелярия велела отпечатанный тираж Миллеровского сочинения уничтожить, сохранив три экземпляра помимо оригинальной рукописи для «секретной каморы» академической библиотеки.

Шумахер торжествовал победу. Императрица смирилась с поражением еще весной 1750 года, оставив в силе постановление академической канцелярии от 11 апреля о назначении единомышленника Ломоносова, самоотверженного помощника Миллера и исследователя Камчатки Степана Крашенинникова профессором ботаники. Так возникло то большинство, которое обрекло диссертацию историографа на запрет и сожжение. Теперь ничто не мешало отдать в типографский набор труд Татищева, благо 30 июня автор сообщил Шумахеру, что писцы заканчивают переписывать набело первую и вторую части и скоро он отправит обе в Санкт-Петербург профессору Миллеру, «человеку, весьма к тому достаточному».

Да, как ни странно, Татищев остался в стороне от страстей, кипевших в столицах вокруг его сочинения. Даже когда Иван Данилович прислал в Болдино копию скандальной диссертации, тайный советник не позволил себе никакой хулы в адрес оппонента — напротив, посчитал нужным ознакомить его с собственной первой частью, «дабы ему дать причину лучшее изъяснение издать». Причем Татищев допускал «негодность» своей книги, а годом ранее в письме Шумахеру от 30 марта очень высоко отозвался о рукописи «Истории Сибири», назвав ее «образцом» для

написания других региональных («участных») историй. Жаль, что Елизавета Петровна не смогла, нейтрализовав патриотическое лобби, объединить двух историков для совместной работы над «Историей Российской». Можно не сомневаться, что при государственной поддержке и опеке тандем Татищева и Миллера оказался бы на редкость эффективным и государыня в итоге получила бы то, чего желала, — максимально объективное изложение прошлого Российской державы^{71}.

Однако вышло иначе. Ожесточенная борьба за первенство в сочинении русской истории обернулась проигрышем для всех. Миллеру написать ее не дали, Татищев же сделать это не успел, ибо скончался 15 июля 1750 года, оставив две части «Истории Российской», практически готовые к печати, и еще две в неисправленном виде, на «древнем наречии». И кто же осуществит мечту соратника Петра, добившись их публикации? Герард Фридрих Миллер. Правда, не скоро, в 1768 году. Пока же смерть русского историка и дискредитация его немецкого коллеги вынудили обе стороны заняться поиском преемника. Нашли практически сразу — и патриоты, и царица — в лице... непреклонного Ломоносова. Выбор первых неудивителен: Михаил Васильевич в стенах Академии наук активно отстаивал интересы Татищева, и кому же, как не ему, продолжать дело покойного. Что касается высочайшего внимания, то, похоже, его к профессору химии привлек Иван Шувалов, сблизившийся и подружившийся с ученым после возвращения из Москвы в Северную столицу в декабре 1749 года. В августе 1750-го по протекции фаворита императрица удостоила Ломоносова аудиенции в Царском Селе. Побеседовала с ним о науках, в том числе об истории. Михаил Васильевич произвел на дочь Петра хорошее впечатление. По части наук и их преподавания она тут же нашла академику должное применение, по части истории предпочла не спешить.

Императрица присматривалась к «птенцу» Татищева свыше трех лет. Конечно, она была в курсе, что Ломоносов с 1751 года усердно собирал материалы для собственной «Истории Российской» (незавершенную татищевскую не напечатали, рукопись легла в архив, разумеется, не без высочайшего соизволения): «Читал... Нестора, законы Ярославли, большой Летописец, Татищева первый том, Кромера, Вейселя, Гелмолда, Арнолда и других...» В 1752 году предварительный отбор материала продолжился чтением в основном византийских хронистов. (Заметим: два года подготовительных работ — срок чрезмерный, изучай академик то, что уже как историк штудировал ранее, и вполне нормальный, если прежде те же первоисточники просматривались им с иной целью.) В 1753-м профессор

систематизировал накопленные знания, а в 1754-м началось главное — сочинение «Истории словенского народа». Три главы вышли из-под пера Ломоносова в том же году, правления Рюрика, Игоря и княгини Ольги были описаны в следующем.

В марте 1753 года, будучи в Москве, Михаил Васильевич опять встретился с государыней, и та приободрила ученого милостивым пожеланием увидеть созданную его «слогом отечественную историю». Ломоносов похвастался этим в письме Л. Эйлеру почти через год, 12 февраля 1754-го — и, похоже, сглазил, ибо императрица как раз той зимой передумала возлагать на первого русского профессора обязанности первого русского историографа. Что ее смутило, неясно. Оценить слог Ломоносова она еще не могла — тот едва начал писать предисловие и первую главу «О старобытных жителях в России». К тому же и двор по-прежнему пребывал в Москве, что затрудняло оперативное прочтение даже черновых набросков.

Скорее всего, причина в том, что царица отыскивала средство вернуть к творческой деятельности Миллера, которого, несмотря ни на что, по-прежнему считала лучшим историком России. Миллер между тем переживал горькие времена. Смерть Татищева отразилась на нем самым печальным образом. Царское окружение, верное памяти Василия Никитича, боялось, что теперь немец непременно попытается взять реванш. Чтобы этого не случилось, оно настояло на разжаловании профессора в адъюнкты хотя бы до осени 1751 года. 6 октября 1750-го в академической канцелярии был зарегистрирован соответствующий президентский приказ, а через два дня К. Г. Разумовский обнародовал его на особом Академическом собрании, по ходу которого и состоялась унижительная для Герарда Фридриха церемония. В несправедливости решения легко убедиться, ознакомившись с перечнем «вин» профессора. Поскольку он не совершал проступка, карающегося объявленным способом, приговор обосновали совокупностью всех прошлых его прегрешений — от непосещения вместе с Крашенинниковым Камчатки и ссор с коллегами или руководством Академии наук до обмена письмами с разоблаченным шпионом Делилем и сочинения «предосудительной» диссертации.

Спустя четыре с половиной месяца, 21 февраля 1751 года Миллера — досрочно! — амнистировали. Почему, догадаться немудрено: Ломоносов согласился написать новую «Историю Российской», так что нужда в жестком прессинге отпала. С той поры опальный профессор, избавленный от иных забот, тихо трудился над завершением «Истории Сибири» и, верно, о возвращении к истории «всероссийской» не мечтал. А вот дочь Петра

Великого мечтала и на исходе 1753 года обнаружила, как можно обойти патриотический заслон. С помощью научно-популярного журнала — тех же лекций, только сразу в печатном виде и попеременно с материалами на другие темы.

Инициативу издания такого журнала обычно приписывают Ломоносову, ссылаясь на его письмо И. И. Шувалову от 3 января 1754 года с призывом учредить «периодические сочинения», с выпуском «повсеместно или по всякую четверть или треть года». Правда, академик откликнулся на призыв покровителя прислать в Москву подшивку «Примечаний на Ведомости», тоже журнала научно-популярного, являвшегося приложением к «Санкт-Петербургским ведомостям». Просуществовали «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в ведомостях» 14 лет — с 1728 по 1742 год. Первые номера выпускал молодой Миллер, тогда еще не уязвивший Шумахера. Захали же «Примечания» в период академической смуты, по окончании которой о журнале все позабыли. И вот кто-то вспомнил о нем, и не факт, что это был Шувалов. Иван Иванович частенько выполнял поручения другого лица (понятно, какого), для которого, похоже, и искал «Примечания».

Естественно, прежде чем затевать издание нового журнала, имело смысл освежить в памяти предшествующий опыт, что, судя по всему, и было сделано. В результате 26 февраля 1754 года Разумовский уведомил господ академиков, что новым конференц-секретарем назначается Герард Фридрих Миллер. 7 марта он вступил в должность, подразумевавшую помимо ведения протоколов заседаний членов Академии наук распоряжение академическим архивом и прямое сношение с корреспондентами научного центра в Российской империи и за ее пределами. Иными словами, в руках Миллера оказалась техническая база, необходимая для издания журнала (солидный справочный аппарат, широкая информационная сеть и возможность пользования типографскими услугами). Впрочем, миновало еще полгода до того дня, когда было обнародовано главное решение. 20 ноября президент Академии наук подписал ордер об основании научного журнала, 23 ноября Миллер известил о том коллег. Примечательно, что Ломоносов тут же рекомендовал возложить на Академическое собрание функции предварительного цензора, а Тредиаковский его идею опротестовал. В итоге все согласились, что оптимальный вариант — ежемесячный журнал с правом привлечения к сотрудничеству любых творческих сил и с табу на статьи о религии и неэтичную лексику.

Разумовский утвердил мнение Конференции 12 декабря, доверив Миллеру «смотрение» над журналом, чей тираж намечался в две тысячи экземпляров, объем — в шесть печатных листов или 96 страниц («Примечания» довольствовались полулистом, то есть восемью страницами). Первый номер под заголовком «Ежемесячные сочинения» вышел в январе 1755 года. Кстати, заголовком издание обязано Ломоносову, с редкой придирчивостью следившему за его рождением. На «титул» «Санкт-Петербургские академические примечания» он обрушил невиданный огонь критики, которую при дворе слышали и учли. Миллер даже жаловался президенту, что давний недруг ревниво относится к его назначению на пост главного редактора. Возможно и так. Или же Ломоносов догадывался, что журнал — опасный конкурент «Истории», составляемой им самим. Ведь поскольку Миллер собирался публиковать помимо своей «Истории» также статьи по физике и химии, географии и математике, интересные новинки из европейской периодики, стихи, придворную хронику, общество активно приветствовало подобное начинание, и у патриотов из свиты императрицы при всем желании помочь Михаилу Васильевичу не хватило бы духу заикнуться о запрете «Ежемесячных сочинений» или об отстранении Миллера — единственного, кто мог справиться с непростой задачей^{72}.

Ломоносову поневоле пришлось ограничиться ролью пристрастного рецензента в ожидании первой серьезной оплошности соперника и поторопиться с завершением первой части собственной «Истории Российской». На ее основательную доработку было потрачено два года — 1756-й и 1757-й. Между тем в «Ежемесячных сочинениях» Миллер шаг за шагом знакомил российскую общественность с собственным взглядом на русскую историю. Принцип линейности не соблюдался, эпохи и темы чередовались произвольно. Так, в мартовском номере 1755 года увидела свет статья «Известие о бывшем городе Ниэншанце», в апрельском — «О первом летописателе российском, преподобном Несторе и его летописи и о продолжателях оных», в июльском — «О первых российских путешествиях и посольствах в Китай».

Конференц-секретарь явно осторожничал в выборе героев и событий — и не напрасно: Ломоносов бдительности не терял, забил тревогу при первом же подозрении в непатриотичности журнала. В марте 1757 года он, став членом академической канцелярии, вмешался в процесс верстки номера и отбраковал «пиесу» помощника Миллера, переводчика Григория Полетики «О начале, возобновлении и распространении учения и училищ в России», «понеже в оной с X века... по XVII век ни о каких школах в

России не упомянуто». Между учеными вспыхнул спор о правомерности называть школами команды подмастерьев и учеников при архитекторах, медиках, печатниках и т. д. Конфликт послужил поводом для попытки дискредитации Миллера в глазах президента Академии наук. Однако президент (читай — императрица) предпочел уладить распрю компромиссом: Миллер остался главным редактором, а статью набирать запретили. В тот раз Ломоносов не смог установить предварительную цензуру над журналом, однако добился своего через два года. Правда, без очередного странного совпадения опять не обошлось.

Летом 1758 года Михаил Васильевич подготовил к изданию первый том «Древней российской истории». 9 сентября Разумовский распорядился напечатать книгу, причем сумасшедшим тиражом — 2400 экземпляров. Типография приступила к исполнению 30 октября. За зиму размножили 48 страниц, и вдруг 8 марта 1759 года печатные станки замерли: профессор без объяснения причин забрал рукопись и ушел. Вернулся с ней лишь 28 февраля 1763 года, обосновав столь долгое отсутствие решением перенести примечания с полей в конец текста. Переносил четыре года. Биографы недоумевают, но... верят, затрудняясь выдвинуть более вразумительные версии. А ларчик просто открывался: Разумовский в сентябре 1758 года превысил полномочия, поспешив санкционировать публикацию книги без согласования с государыней, поскольку помнил о высочайшем благословении Ломоносова в марте 1753-го.

Между тем императрица не планировала допускать к обнародованию историю, на ее взгляд, необъективную, с наличием какого-либо идеологического уклона, в данном случае патриотического. И если под сукно легла «летопись» аккуратного в прославянском вымысле Татищева, то произведение Ломоносова, активного борца за патриотичность истории, она и подавно не позволила бы издавать. Судя по всему, Елизавета Петровна, узнав о самоуправстве Разумовского, отчитала его, и он настоятельно посоветовал Ломоносову под каким-нибудь предлогом взять рукопись из типографии. Академик, разумеется, подчинился. Однако сановных патриотов сия уловка не обманула. Они попробовали переубедить царицу, и та во избежание скандала пожертвовала Миллером: 13 марта 1759 года ему устроили разнос за «неприличные» стихи, помещенные во втором номере текущего года, после чего академическая канцелярия распорядилась отныне «прежде отдачи в станы» черновую или окончательную верстку всех статей «для ведения господ присутствующих вносить в канцелярию».

Февральскую книжку перетряхнули, как говорится, с ног до головы,

но, видно, ничего по-настоящему крамольного не отыскали, раз придрались к совершенно невинному сонету гвардии сержанта А. А. Ржевского, воспевшего красоту итальянской придворной танцовщицы Либеры Сакко. Хорошо, что автор зарифмовал зависть «неких дам», чей «язык клеветает тя хулою». Чем не намек на императрицу? По крайней мере, историки литературы абсолютно уверены в том, что дочь Петра по доброй воле отважилась на публичное признание в «неких дамах» себя. А если бы не Ржевский, пролистали бы январский номер, декабрьский... Впрочем, чем свежее выпуск, тем более искренним выглядит августейшее негодование.

Стороны снова загнали друг друга в тупик: Ломоносов лишил Миллера свободы слова, императрица лишила Ломоносова свободы печати, все вместе лишили российский народ русской истории. Мало того, слух о междоусобице из-за нее проник за рубеж. Англичанин Джонас Ханвей, познакомившийся с Татищевым в Астрахани в 1743 году, в «Описании путешествия из Лондона по России и Персии» (1754) оповестил Европу об «утеснениях» «Истории Российской» на родине автора, о намерениях опального губернатора найти помощь за границей. Ситуация складывалась прескверная да к тому же патовая.

Здравый смысл буквально подталкивал обе фракции к прекращению изматывающей борьбы и к взаимным уступкам, чтобы и дальше не оставлять русское общество без серьезных научных работ по национальной истории. Весной 1760 года такой момент, наконец, настал, сразу же после того, как не увенчалась успехом последняя попытка Елизаветы Петровны переиграть патриотическую оппозицию. Императрица попробовала отколоть от нее тех, кто почитал достижения европейского Просвещения, а потому под Новый, 1757 год поручила франкофилу И. И. Шувалову пригласить в Санкт-Петербург мировую знаменитость — Вольтера — «писать историю Петра Великого». Просветитель, помимо философских пьес и повестей прославившийся историями о шведском короле Карле XII, о веке французского короля Людовика XIV, уже давно мечтал сочинить биографию первого российского императора, опираясь на российские источники. Трижды он обращался к Елизавете Петровне за позволением приехать в Россию покопаться в государственных архивах, но та не откликнулась. Лишь весной 1746 года императрица отреагировала на хлопоты французского посланника д'Альона и профессора Делили, одобрив избрание философа почетным членом Санкт-Петербургской академии наук.

Понятно, почему Вольтера не звали на берега Невы. Только француза и не хватало патриотам в дополнение к немцу Миллеру! Характерно мнение

А. П. Бестужева-Рюмина: «Сходнее... поручить сей труд здешней Академии наук». Однако Татищев и Ломоносов с головой погрузились в древнюю историю, а Крёкшина при дворе всерьез не воспринимали. Посему Петровская эпоха ожидала своего часа. Дождалась в конце 1756 года, после восстановления дипломатических отношений с версальским двором. Императрица правильно рассчитала, что образовавшаяся вокруг юного Шувалова группа, в основном из аристократической молодежи, воспитанной на идеях французских просветителей, поддержит приезд лидера философов в Россию с любой важной миссией, даже историографической. И если авторитетный гость сумеет сочинить объективную историю Петра, она автоматически превратится в объект всеобщего подражания, а главное, раскрепостит творческую деятельность Миллера, руководившего своим журналом с оглядкой на сановных недругов из-за боязни ненароком нарваться на новые неприятности.

Увы, задумка провалилась. В феврале 1757 года отставной церемониймейстер русского двора Федор Павлович Веселовский в Швейцарии договорился с Вольтером об условиях партнерства. Ссылаясь на возраст, писатель предпочел не покидать место жительства — замок в Ферне. Поэтому Россия обязалась снабдить его всеми необходимыми материалами. За подборку взялись члены Академии наук — Ломоносов, Миллер, Штеллин. Пока Вольтер создавал первый том истории (от детских лет до полтавской виктории), из России привезли две большие подборки документов. Осенью 1759 года том был готов и отпечатан, а к следующему маю с ним ознакомились в Санкт-Петербурге. Книга разочаровала императрицу, ибо не соответствовала идеалу. То, что автор ставил европейские свидетельства выше российских, не желал признавать ошибки, допущенные им в прежних публикациях, всё время путался в русских географических названиях, не так расстраивало, как главный изъян произведения — просветительский идеологический стержень. Вольтер изобразил Петра Великого античным героем, уничтожающим Россию варварскую и строящим цивилизованную. Впрочем, вышедшее из-под пера французского просветителя жизнеописание вполне годилось в качестве средства пропаганды, улучшающего имидж Российской империи в глазах европейцев, читавших о далекой стране чаще басни и памфлеты, чем правдивые истории. Потому и контракт с Вольтером не расторгли, а разрешили продать первый том и завершить работу над вторым — он вышел в свет в апреле 1763 года (на русском языке сочинение Вольтера было издано лишь в 1809-м).

И вновь совпадение! 2 июня 1760 года академическая канцелярия

распорядилась отправить в типографию «Краткий российский летописец» Ломоносова. Тем же летом 1200 экземпляров лаконичного «перечня Российской истории» от Рюриковичей до Петра I поступили в продажу. Осенью в книжную лавку при Академии наук завезли вторую партию — 2400 штук, весной 1761 года — третью, такую же по размеру. Почему же Михаил Васильевич в 1759 году засел за «Летописец», а не доводил до кондиции примечания к «Древней Российской истории»? Не потому ли, что претензий к примечаниям ни у кого не имелось?

Шеститысячный тираж компенсировал автору фиаско с изданием полноценной истории. Но императрица раскошелилась не из милости. Жест доброй воли в адрес историка-патриота намекал его покровителям, что от них ждут того же. Большинство соратников государыни намек поняли и промолчали, когда Миллер рискнул разместить в «Ежемесячных сочинениях» «Опыт новейшая истории о России». Под внешне нейтральным названием скрывалась тема более взрывоопасная, чем истоки русской государственности: «времена Годунова и Разстригины». Январский, февральский и мартовский номера 1761 года дошли до читателя без каких-либо проблем. Апрельский, с описанием кончины царя Бориса, уже печатался. Ничто не предвещало скандала, разразившегося 19 апреля. Высочайшая конференция устами своего секретаря Д. В. Волкова вдруг отчитала Миллера за некие «непристойности» в истории о Смуте и запретила «впредь такая сомнения» публиковать.

Резолюция и перепугала, и обескуражила Миллера. Он попробовал выяснить у Волкова, что стряслось. Со дня распространения третьего номера миновал месяц, а четвертый номер типографию не покидал. Реприманд был явно незаслуженным. В чем же тогда причина? Вряд ли «жесткий выговор» стал результатом доноса Ломоносова. Скорее, историограф стал жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств, связанных с неформальным лидером Конференции П. И. Шуваловым. 18 февраля 1761 года вельможа женился на юной княжне Анне Ивановне Одоевской. Разумеется, до и особенно после свадьбы граф помышлял не об истории. А когда в середине апреля новобрачному попался на глаза журнал, иные заботы помешали ему сообразить, что и «отвага» Миллера, и невозмутимость коллег по Сенату и Конференции не случайны. Патриот Шувалов поспешил пресечь дерзость ученого немца, «без пристрастия» рассуждавшего о заслугах и преступлениях Бориса Годунова. Вот неблагонадежная статья и исчезла из апрельской книжки и не появилась в других, к великому сожалению многих подписчиков «Ежемесячных сочинений», в частности помощника оренбургского губернатора П. И.

Рычкова и сибирского губернатора Ф. И. Соймонова.

Императрице в те дни, судя по камер-фурьерскому журналу, сильно нездоровилось («почивальню» практически не покидала, куртаг, намеченный на 18 апреля, отменила). Она одернула виновного, но чуть позже. Так что следующий «опыт» — «Краткое известие о начале Новагорода и о происхождении российского народа, о новгородских князьях и знатнейших онаго города случаях» — Миллер беспрепятственно опубликовал в июле, августе, сентябре и октябре 1761 года. Не менее болезненные для русского патриота темы — погром Новгорода Иваном Грозным, шведский протекторат над городом в годы Смуты, церковный раскол при патриархе Никоне, ранее митрополите Новгородском — уже не встретили отпора со стороны кого-либо из конференц-министров^{73}.

Правда, продолжения не последовало. С воцарением Петра III проблема объективности исторического знания утратила актуальность. Екатерина II также не придавала ей первостепенного значения. И установленную Елизаветой «плотину», естественно, прорвало: в 1766 году вышла «Древняя Российская история» Ломоносова, в 1768-м — «Ядро Российской истории» А. И. Манкиева, в 1768—1784-м — четыре тома «Истории Российской» Татищева, в 1767—1769-м — три тома «Российской Истории» Ф. А. Эмина, в 1770—1791 годах — семь томов «Истории Российской от древнейших времен» М. М. Щербатова. Миллер, памятуя о прошлом, не искушал судьбу, в 1765 году переехал в Москву, где приводил в порядок государственные архивные фонды, сочинял статьи и книги по истории, правда, на «всероссийский» масштаб более не замахивался.

Глава десятая

МАЛОРОССИЯ

В августе 1744 года генеральный подскарбий Яков Маркович записал в дневнике:

«...6. Рано Ея Величество изволила подняться с ночлега и в Глухов ехать с церемониею... Приехавши к воротам, изволила с кареты встать. Епископ Черниговский Ея Величество у ворот поздравлял. Потом государыня изволила пешо итти до монастыря девичьяго, где слушала обедню и предиду черниговского архиерея. После обедни... ехать изволила до двора министерского, где мы имели аудиенцию. Речь поздравительную говорил пан Михайло Скоропадский. Потом изволила кушать. А после того изволила веселиться танцами наших жен, польскими и козацкими...

7. Сегодня наши подали чрез Разумовского прошение Ея Величеству о гетмане».

Так началось знакомство Елизаветы Петровны с важнейшим национальным регионом в составе Российской империи. И то, что казаки буквально на второй день высочайшего визита вручили государыне бумагу «о гетмане», говорило о многом. С лета 1648 года, времени возникновения казацкой республики, и для старшины, и для рядового казачества вопрос о собственной вольности, о самоуправлении считался первостепенным. В нем коренились и сила, и слабость Украины. Ради вольности казаки героически жертвовали собой и беспощадно убивали друг друга.

Тем не менее попытка сформировать «незалежное» государственное образование потерпела неудачу. Даже с талантливым, мудрым вождем Богданом Хмельницким независимость отстаивали трудно, посредством тотальной мобилизации и поголовного сплочения вокруг лидера. И всё равно пришлось искать могущественного протектора. Выбирая наименьшее из трех зол — мусульманской Турции, католической Польши и православной России, объединились с единой Москвой. Однако российское самодержавие, почти деспотичное, всегда смущало и вызывало недоверие. Оттого и раскололась Украина после смерти Хмельницкого в 1657 году на две половинки — «польское» Правобережье и «русское» Левобережье. Поляки свою часть от гетманской вольницы постепенно очистили, а на русской стороне Днепра автономия сохранилась. Потомки царя Алексея Михайловича не нарушали клятву, данную от имени династии, в том числе и самый деспотичный монарх Петр Великий. Даже

страшная измена Ивана Мазепы в критический для России момент не послужила поводом к тому, чтобы взять обратно данное украинцам слово. Строитель Российской империи понимал, насколько казачество дорожит самобытной формой правления, пусть и выхолощенной с годами едва ли не до декоративного внешнего атрибута.

Седьмого ноября 1708 года «по указу государеву казаки по обычаю... водными голосами выбрали в гетманы полковника стародубовского Ивана Скоропадского», 1 октября 1727 года «с изрядною церемониею» — миргородского полковника Даниила Апостола. И вдруг с кончиной Апостола «обычай» прервался. 1 февраля 1734 года Анна Иоанновна отважилась на то, на что не решился ее дядя после смерти Скоропадского: «до предбудущаго избрания гетмана и нашего о том всемилостивейшаго соизволения» заменила вечевую структуру бюрократической — генеральной войсковой канцелярией «во шти персонах», из троих русских и троих украинцев во главе с князем Алексеем Шаховским. Двенадцатью годами ранее первый император предпочел переворот ползучий, а не явный: учрежденная 29 апреля 1722 года Малороссийская коллегия постепенно отбирала власть у гетманской администрации и к концу 1723 года отобрала, оставив традиционному институту функции свадебного генерала. Впрочем, со смертью Петра Великого Украина быстро освободилась из-под диктата Малороссийской коллегии, возродив прежний порядок.

Анна Иоанновна попробовала повторить дядюшкину реформу, причем без всяких обиняков и сантиментов. Легко догадаться, как восприняло население Малороссии грубый демарш императрицы. Число сочувствовавших опальной цесаревне заметно возросло. Резонанс от опрометчивого царского поступка усиливался тем, что среди иерархов Русской православной церкви преобладали выходцы с Украины. Нетрудно предположить, о чем во второй половине 1730-х годов они иногда беседовали с «духовными чадами» — военными и статскими разных рангов. Так что 7 августа 1744 года Елизавета Петровна ознакомилась не просто с прошением — ей вручили счет, который требовал оплаты. А платить дочери Петра, в принципе солидарной с интеграционным курсом отца и двоюродной сестры, не хотелось. В тот же день после обеда она покинула Глухов. Только сюрпризы не закончились: чуть ли не на каждой станции к кортежу императрицы являлись верноподданнические делегации от каждого из десяти казачьих полков и подносили челобитные «с прошением гетмана».

Похоже, демонстрации казаков подпортили настроение августейшей

подруге Разумовского, приехавшей 29 августа 1744 года в Киев скорее на экскурсию, чем с рабочим визитом. За две недели проживания на берегах Днепра лозунг «Матушка, дай гетмана!» пришлось слышать неоднократно, и он до того надоел, что на обратном пути государыня приехала в Глухов нарочно ближе к полуночи, чтобы избежать приветствий самых рьяных сторонников восстановления почти упраздненного режима. Делегацию, уже спешившую навстречу царице, на подъезде к городу развернули грозным предупреждением: «Не велено быть встрече!»

В те дни все обратили внимание на щедрость, с какой императрица обласкала генерального бунчужного Демьяна Оболонского: 13 сентября пожаловала в вечное владение два богатых села — Вишняки и Горошино, а 22 сентября стала крестной его ребенка. Потом возникнет легенда о портретном сходстве жены Оболонского с Екатериной I. На самом деле причина высочайшего благоволения крылась в другом: хотя в старшинской иерархии Оболонский занимал третью ступень (на первой стояли два генеральных обозных, от армии и артиллерии, на второй — два генеральных судьи и генеральный подскарбий), на деле именно он возглавлял «гетманскую» партию и с ним украинское общественное мнение связывало надежды на возобновление гетманства^[74].

Разумеется, Елизавета Петровна в дни киевского вояжа это подметила и вознамерилась обезглавить движение, дискредитировав лидера в глазах сторонников. Деревеньки, крестины были всего лишь затравкой, а главный соблазн — приглашение ко двору. Чета Оболонских выехала из Глухова 22 января 1745 года. Радужный прием, блеск и роскошь Зимнего и Летнего дворцов, балы и куртаги, загородные увеселения, доброта императрицы не сбили с толку генерального бунчужного и не отвлекли от главной темы. Наоборот, он развернул среди сенаторов, придворных, земляков-украинцев активную агитацию за избрание нового гетмана. Без малого пять месяцев энергичной осады не пропали втуне. В конце июня Елизавета Петровна отступила на шаг — одобрила приезд в Санкт-Петербург специальной делегации от казаков.

Пятого июля Оболонский в компании генерального хорунжего Николая Ханенко решал, кого лучше вызвать. Остановились на кандидатурах генерального обозного Якова Ефимовича Лизогуба и бунчукового товарища Василия Андреевича Гудовича от верхушки и низов казачьей администрации, а в депутаты от среднего звена старшины кооптировали себя (кстати, Ханенко в столице занимался своими делами, хлопотать о гетманстве его никто не уполномочивал).

Письма, адресованные генеральной войсковой канцелярии, наутро

повез значковый товарищ Прокопий Затиркевич. В Глухов он прискакал 15 июля. Как ни торопились Лизогуб с Гудовичем, однако примчались в столицу лишь 22 августа, на сутки опоздав на бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. 25 августа квартет удостоился высочайшей аудиенции, на которой государыня приняла его нижайшую просьбу. Приняла, но рассматривать не собиралась. Между тем Оболонский не сидел сложа руки, а продолжал убеждать высший свет в необходимости избрания гетмана, часто навещал А. Г. Разумовского, донимая одним и тем же: скоро ли матушка начертает резолюцию? 7 октября делегаты и фаворит долго рассуждали «о гетмане». По итогам встречи Алексей Григорьевич донес царице, что недовольство казаков растет, а Демьян Васильевич уверился в том, что Разумовский еще не проникся важной для всех украинцев идеей, поэтому и запросил из Глухова «письмо от старшины генерал-ной» на имя непатриотичного земляка с внушениями соответствующего характера. Послание прибыло в конце ноября, и в первой половине дня 1 декабря Ханенко подал конверт возлюбленному государыни, а тем же вечером Лизогуб, Оболонский и Гудович провели с ним разъяснительную беседу.

Впрочем, полутора месяцами ранее, 20 октября 1745 года, случилось событие, окончательно разочаровавшее главу «гетманской» партии: Елизавета Петровна взяла малороссийскую делегацию на гос-обеспечение, то есть решила оплачивать из казны ее квартиру и кормовые припасы. Демьян Васильевич понял: резолюции не будет! Царица готова сколь угодно долго терпеть рядом с собой украинских гостей, лишь бы они позабыли о том, зачем приехали. Тогда казаки решили сменить тактику: не получилось по-хорошему, добьемся по-плохому!

Пятнадцатого декабря 1745 года, незадолго до дня рождения императрицы, супруги Оболонские демонстративно покинули Санкт-Петербург. Лизогуб, Ханенко и Гудович остались, имея прежнюю задачу: дожимать Разумовского, вербовать новых сторонников и сообща воздействовать на императрицу. Правда, особых иллюзий относительно сего способа лидер «гетманской» партии не питал, а потому по возвращении 13 января 1746 года в Глухов решил применить более эффективное средство, симметричное тому, что опробовала на нем дочь Петра: обезглавить... российскую администрацию на Украине. Исполнение плана облегчалось тем, что после кончины 24 мая 1745 года главного командира Малороссии Ивана Ивановича Бибикова Петербург не удосужился назначить ему столь же уважаемого преемника. Обязанности главного командира исполнял бригадир Иван Кондратьевич Ильин, с 1741

года вместе с полковниками Тютчевым (с 1745-го — Извольским) и Челищевым входивший в состав генеральной войсковой канцелярии от России. От Украины в ней заседали генеральный судья Федор Иванович Лысенко, генеральный подскарбий Михаил Васильевич Скоропадский, генеральный есаул Петр Васильевич Валькевич^{75}.

Пока императрица через А. Г. Разумовского морочила головы трем депутатам разными «обнадеживаниями», ложными надеждами (к примеру, на содействие А. П. Бестужева-Рюмина) и даже обещанием «декларации о бытии гетмана», в Петербург поступили жалобы на Ильина, который «великия обиды делает малороссийскому народу в делах их». Похоже, о «воровстве» бригадира проинформировал кто-то, на кого мог положиться Оболонский и кому в то же время безоговорочно доверяла государыня. Уж не Федор ли Яковлевич Дубянский? Слишком внезапно и порывисто отреагировала Елизавета Петровна на «сигнал»: тут же (18 октября 1746 года) продиктовала указ об отрешении Ильина, следствии и очных ставках, вызвала гвардии капитана Григория Полозова и отправила судьей в Малороссию.

Утром 11 ноября гвардеец примчался в Глухов и ознакомил с предписанием членов генеральной войсковой канцелярии, крайне удивив и Лысенко, и Скоропадского (Валькевич тремя неделями ранее отлучился в Петербург улаживать имущественный спор). Бригадир тогда же сложил полномочия. Спустя два дня Полозов начал регистрацию исковых заявлений от обиженных. За три месяца было подано 37 челобитных. Судья успел снять допросы по семнадцати, но 1 февраля 1747 года Ильин слег, а 6-го умер. В самый напряженный момент, в первых числах декабря, Глухов взбудоражила еще одна весть из Северной столицы — вот-вот выйдет распоряжение об отстранении Извольского...

Таким образом, русская половина малороссийского правления была нейтрализована, а украинская в одночасье превратилась в высший орган власти Малороссии, к тому же целиком подконтрольный Оболонскому. Императрица, кем-то из конфиденентов введенная в заблуждение, собственноручно сломала налаженный Ильиным и Бибиковым механизм не идеального, но вполне конструктивного русско-украинского партнерства. Опала Ильина на фоне вымученных тридцати семи «великих обид» выглядела скорее карой за диалог с казаками, чем справедливым возмездием. Скоропостижная смерть бригадира ситуацию усугубила. В народе наверняка перешептывались: «Вот, довели человека!»

Неизвестный соратник Елизаветы Петровны, оговоривший Ивана Кондратьевича, знал, на какой струне играть. Дочь Петра со дня воцарения

взяла Украину под личную опеку. Уже 15 декабря 1741 года она поручила Сенату подумать об «облехчениях» для края, много натерпевшегося при Анне Иоанновне, особенно «в бывшую турецкую войну» от «бытия тамо армии». Сенаторы запросили мнение малороссийских властей и тем ограничились. В середине мая 1742 года государыня поинтересовалась результатом. За неимением ответа из Глухова и Киева сановники за сутки наметили ряд мер, в основном касавшихся сокращения военных повинностей, и 22 мая утвердили проект доклада, который царица подписала 18 августа 1742 года. Попутно 21 мая Сенат узаконил озвученную 4 апреля обер-прокурором Брылкиным высочайшую инициативу о запрете брать малороссиян «во услужение себе подневолею». Мало того, тем же указом государыня даровала «черкасам» привилегию жениться на крепостных и не попадать при этом в рабство, а сенаторы добавили: «И с теми их женами быть им свободными». 3 июля ввиду многих нарушений указа о крепостных Елизавета Петровна продублировала его. Отправляясь в 1744 году в Киев, она везла с собой кипу дел, не решенных в Сенате, чтобы урегулировать все проблемы на месте. Помогал ей с разбором бумаг сенатский секретарь Михаил Иванович Новоторжцев.

Одним словом, дочь Петра надеялась стать для украинцев чем-то вроде гетмана, и вспышка гнева на Ильина вовсе не случайна — бригадир представлял Россию, а значит, и государыню. По его поведению казаки из слобод и хуторов судили об империи в целом и об императрице в частности. К сожалению, вышло так, что Елизавета, поторопившись с выводами, лишилась верного проводника своей линии. Теперь ей надлежало либо прислать нового комиссара, который наверняка столкнется с предубежденным отношением населения и кознями сторонников Оболонского, либо разрядить напряженность, удовлетворив чаяния украинцев^{76}.

Курьер с рапортом о кончине Ильина прискакал в Санкт-Петербург 16 февраля 1747 года. Почти два месяца Елизавета Петровна колебалась между двумя вышеописанными вариантами. 11 марта А. Г. Разумовский еще раз побеседовал с тремя товарищами Оболонского. Наконец к 11 апреля государыня решилась, и Алексей Григорьевич на встрече с В. А. Гудовичем объявил: «Вскоре состоится указ именный о гетмане». Однако это «вскоре» наступило лишь 5 мая. За три недели Лизогуб, Ханенко и Гудович дважды навещали Разумовского, спрашивая о причине новой отсрочки. А причина заключалась в том, что царица размышляла, как совместить несовместимое — выборного гетмана с единой и неделимой

империей. Ничего не придумала, а потому указ обернулся простой констатацией, что гетман на Украине был, есть и будет, как при Иване Скоропадском. Сенату поручалось, наведя справки, распорядиться об «учреждении и определении в Малой России нового гетмана». Так что, увы, выборы откладывались до момента, пока Сенат не наведет справки, а наводить их можно и неделю, и несколько лет...

В данном случае потребовалось полгода. К зиме государыня распутала головоломку. Подобие унии — вот что успокоит казаков. Гетманом нужно избрать кого-либо из близких императрице людей, а в дальнейшем создать традицию занятия этого поста кем-то из членов царской семьи, с детства приучая одного-двух отпрысков к мысли, что их судьба связана с Малороссией, прививать им любовь к украинским обычаям и культуре. Становясь гетманами — де-факто губернаторами, они по праву родства обладали бы большим влиянием и привилегиями. Понятно, кому закладывать традицию, — украинцу Алексею Григорьевичу Разумовскому или его брату.

Двенадцатого января 1748 года дневник Ханенко зафиксировал: на Украину пришлют особую персону, но до поры новость надо хранить в секрете. 14 марта посланец назван по имени: «Иван Симонович Гендриков... имеет быти отправлен в Малую Россию для избрания гетмана». 2 мая Разумовский сообщил Гудовичу, что «к отправлению графа Гендрикова всё уже готово». Но чье имя граф предложит казакам? Ханенко его не называет, хотя высока вероятность, что подразумевается всё-таки Алексей Григорьевич Разумовский, с лета 1744 года граф Священной Римской империи, по всем критериям наилучший кандидат в гетманы Войска Запорожского.

Всё рухнуло вечером 1 июня, когда солдат Гаврила Калугин привез в Санкт-Петербург весть о пожаре в Глухове 23 мая. Как быстро выяснилось, пожар — акт диверсионный, аналогичный московскому огню, вспыхнувшему в тот же майский день. Естественно, Елизавета Петровна передумала посылать любимого туда, где шпионы «из-за границ от соседей» с такой легкостью сожгли здание генеральной войсковой канцелярии и, следовательно, были способны осуществить не менее дерзкие акции. Кого же тогда выдвинуть в гетманы? О двадцатилетием младшем брате фаворита Кирилле Григорьевиче, графе Российской империи, вряд ли заходила речь. И по возрасту, и по таланту, и по знаниям юноша совсем не годился на роль связующего звена славянских наций. К тому же он уже два года нес другую общественную нагрузку, будучи президентом Академии наук.

Три малороссийских депутата не сразу почувствовали неладное. Сперва поездка Гендрикова была отложена под предлогом разорения Глухова. Лизогуб с товарищами сориентировался мгновенно, вспомнив о Батурине. Но идея о переводе резиденции в запасную столицу императрицу не вдохновила, и 15 сентября Сенат отклонил ее, сославшись на то, что в Батурине расположен не менее важный для государства объект — конногвардейский конный завод. А перед тем, 28 августа, Алексей Григорьевич сообщил друзьям Оболонского не менее «радостную» весть: они поедут в Москву вместе со всем двором. Значит, в этом году выборов не будет! Делегаты, правда, посчитали, что от государыни их инициативу утаили, и 28 сентября передали ей в руки «прошение... о Батурине». Реакции не последовало.

В первые дни января 1749 года Ханенко и Гудович переехали в Москву (Лизогуб захворал и 24 января скончался в Санкт-Петербурге). Неожиданно 17-го числа Разумовский уведомил их, что Гендриков «скоро отправлен будет». Откровение обернулось обыкновенной «уткой» — так Алексей Григорьевич периодически ободрял Ханенко с Гудовичем, а вот по чьей воле, своей или высочайшей, сказать затруднительно. Несомненно лишь то, что Елизавета Петровна посылать в Глухов никого не собиралась. Однако чем дальше, тем сложнее царице становилось уклоняться от данного обещания. Да и недоумение вперемежку с раздражением среди украинцев росло.

Между тем государыня по-прежнему не знала, кого рекомендовать в гетманы. За Алексея Разумовского боялась, Кирилл не годился, все прочие были неприемлемы либо для нее, либо для малороссийской старшины и казачества.

Ситуация зашла в тупик. А вывел всех из него, похоже, царский духовник Федор Яковлевич Дубянский. 4 октября 1749 года в первой половине дня священник обстоятельно поговорил с Разумовским «о гетманстве», и ровно через 12 дней проблема разрешилась. Елизавета Петровна смирилась с кандидатурой Кирилла Разумовского 16 октября, в день подписания указа об отправке Гендрикова в Глухов. Об этом свидетельствует отъезд Гендрикова 15 октября в трехнедельный отпуск в суздальские деревни. Получается, что 15 октября Елизавета Петровна еще не подозревала, что через сутки подпишет многострадальный вердикт. Что же случилось днем 16-го? Судя по всему, беседа с духовным отцом, который благословил дочь Петра за отсутствием идеального претендента выдвинуть лучшего из худших — Кирилла Разумовского.

Примечательный факт: 21 октября Ханенко и Гудович чуть ли не

впервые «довольный о нуждах наших малороссийских розговор имели» с К. Г. Разумовским и присоединившимся по ходу Г. Н. Тепловым. 25 октября нарочный поскакал за Гендриковым. А казачий дуэт тогда же почтил визитом асессора Теплова и вручил ему для изучения «2 копии грамот гетману Хмелницкому на права и водности, другой — шляхте малороссийской, да 2 Петра Великого на избрание гетмана Скоропадского и на уряд ему данных», а также копии прошения о возвращении резиденции в Батурин, мемориала «о делах малороссийских», прежде сообщенного А. Г. Разумовскому, «список пакт гадяцких». Обилие справочного материала, свалившегося в одночасье на Кирилла Григорьевича и Григория Николаевича, — безусловное свидетельство того, что прежде гетманская булава младшему брату фаворита не предназначалась.

Кстати, 30 октября депутаты привезли Теплову другой концептуальный документ — «сочинение о титуле». Следующей ночью в Москву вернулся Гендриков. Отныне и до самого отъезда на родину Ханенко и Гудович регулярно приезжали к Разумовскому-младшему, обсуждали насущные дела с Тепловым, наставником будущего гетмана, снабжали новой литературой по истории и праву Украины, иногда и трапезничали. Под Рождество они покинули Москву. Вслед за ними отправился на Украину и Гендриков.

Кирилла Григорьевича избрали гетманом заочно. 15 января 1750 года И. С. Гендриков приехал в Глухов. Через три дня на собрании высшего духовенства и старшины Разумовского объявили единым от всех кандидатом. 18 февраля в заново отстроенном доме генеральной канцелярии провели предварительное голосование, в котором участвовало до тысячи шляхтичей, а 22 февраля на площади у храма Николая Чудотворца — официальное при стечении множества народа. Тут же победителя провозгласили гетманом. 24 апреля Елизавета Петровна признала выбор глуховской «рады», но утвердила его только 5 июня, после того как украинская делегация во главе с Д. В. Оболонским поднесла ей подписанный всеми избирателями протокол.

Ф. Я. Дубянского государыня в знак благодарности пожаловала 25 ноября 1749 года в протопопы кремлевского Благовещенского собора Москвы, восстановив тем самым традицию, существовавшую в допетровской России, когда духовником монарха являлся именно благовещенский первосвященник^{77}.

Конечно, К. Г. Разумовский не был образцовым гетманом. Тем не менее главную задачу институт гетманства в его лице выполнил —

объединил две России, Малую и Великую, на основе, удобной для каждой из них. Жаль, что этот эксперимент не превратился в традицию, а через 14 лет завершился возрождением Малороссийской коллегии. И остается гадать, как бы повел себя украинский народ в 1917–1918 годах, если бы в течение предшествующего столетия им управляли не генерал-губернаторы, а гетманы — великие князья, младшие сыновья Павла I, Николая I, Александра III, с детства впитавшие культуру двух братских народов, воспитанные патриотами и России, и Украины.

Глава одиннадцатая

ЦЕРКОВЬ

О взаимоотношениях императрицы Елизаветы Петровны с российским духовенством обычно судят по мемуарам обер-прокурора Синода (1741–1753) князя Я. П. Шаховского. С его легкой руки стал хрестоматийным образ набожной государыни, часто впадающей в разные заблуждения по вине корыстных и лицемерных архиереев, с которыми мемуарист вел непримиримую борьбу. Между тем воспоминания — и творение Шаховского не исключение — источник крайне субъективный, в каждом из подобных повествований имеется свой подвох, этакая мина замедленного действия.

Автор описывал минувшее на склоне лет, желая запечатлеть на бумаге наиболее яркие эпизоды собственной деятельности на важном посту и не ставя перед собой цель всесторонне раскрыть религиозную жизнь Российской империи в первое десятилетие царствования дочери Петра. В итоге получился не столько обзор церковной политики «веселой» императрицы, сколько собрание исторических анекдотов на ту же тему, брать которое за основу исторического исследования весьма опрометчиво. Куда информативнее и бесстрашнее документы из архива Правительствующего синода (выборочно опубликованы в четырех томах в 1899–1912 годах, частично процитированы или пересказаны в восьмитомной антологии, изданной в 1907–1916 годах), несколько иначе освещающие благочестивую политику императрицы Елизаветы.

Оказывается, государыня в духовной сфере практически сразу по воцарении столкнулась с серьезной проблемой — прямым и неизбежным результатом Петровских реформ, изменивших православный мир лишь внешне, а изнутри нисколько не поколебавших старомосковскую традицию. Увы, Всешутейший собор Петра Великого, вырвав Российское государство из православно-ортодоксального плена, ни на йоту не раскрепостил российский православный клир. Наоборот, вынужденное насилие над святой верой сплотило подавляющее большинство священнослужителей вокруг устаревших, подчас абсурдных догм, которые фанатично отстаивали и нередко старались навязать своим прихожанам коллеги Феофана Прокоповича разных рангов.

Елизавете Петровне пришлось считаться с немалым влиянием воинственного и непреклонного духовенства на соотечественников всех

сословий, когда она замахнулась на самый болезненный для подданных пережиток прошлого — чрезмерно жесткие нормы бракосочетания. Понятен запрет на венчание двоюродных братьев и сестер. Но иерархи настаивали на большем, препятствуя союзу даже не дальних, а совсем не родственников. К примеру, весной 1743 года царица думала, как поступить с Петром Михайловичем Голицыным и Марией Ивановной Барятинской, желавшими сыграть свадьбу, но встретившими сопротивление священников, поскольку родная тетка жениха по отцу Дарья Голицына вышла замуж за Ивана Барятинского, отца невесты, рожденной от другого брака, с Натальей Гавриловной Головкиной. Хотя кровное родство отсутствовало, императрица не рискнула спорить с Синодом, чтившим старомосковские заветы, и 17 мая передоверила высшему духовенству вынесение окончательного вердикта, который, естественно, был отрицательным.

Как видим, не так-то просто было самодержавной монархине в середине XVIII столетия помочь влюбленной паре. Требовалось пойти наперекор Церкви, вовсе не склонной к компромиссам, а, наоборот, готовой по малейшему поводу осудить любого скептика, в том числе и венценосного. Но могла ли Елизавета Петровна, сама мечтавшая о мезальянсе, смириться с тем, что нелепые табу мешают людям устраивать собственную судьбу? Правда, в ее положении ссориться с православным синклитом не стоило. Расплата за сожительство с лицом «подлого» сословия не заставила бы себя ждать. Как же дочь Петра Великого вырвалась из этих тисков?

Прежде чем реформировать Церковь, императрица сделала так, чтобы не она боялась ссоры с Церковью, а та остерегалась разрыва с ней. Репутация идеального православного монарха далась недешево. Любезным, отзывчивым отношением к архипастырям, личным обаянием и стремлением к безукоризненному соблюдению исконных обрядов, разумеется, не обошлось. Священство поверило, что государыня — настоящий оплот и опора православия, когда та в религиозном фанатизме превзошла самых фанатичных иерархов. Всё началось 1 декабря 1741 года. Царица предписала две лютеранские кирки, по желанию фельдмаршала Миниха сооружавшиеся на Украине, освятить заново как православные храмы.

Тогда же Елизавета Петровна поинтересовалась количеством армянских храмов. Таковых насчитали три — каменный и деревянный в Астрахани и домовая церковь в Москве. Кроме того, в обеих столицах тамошние армянские диаспоры строили еще по каменной церкви. 8 января

1742 года Синод признал их «еретическими диоскорова злочестия». Царица прислушалась к его мнению и 16 января распорядилась закрыть все армянские храмы, кроме каменного в Астрахани.

Спустя год настала очередь евреев. 2 декабря 1742 года императрица велела выслать за пределы Великороссии и Малороссии «мужеска и женска полу жидов», за исключением принявших веру греческого исповедания.

Следующими пострадать надлежало западным христианам — католикам и протестантам. 5 февраля 1743 года царица в Сенате приказала «лютурскую, католицкую, швецкую, калвинскую кирки, имеющие в Санкт-Питербурхе близ Большой Прешпективной дороги, вывезть на другие места». «Киркам» повезло, что цена вопроса зашкаливала за 200 тысяч рублей, о чем Сенат уведомил государыню 21 мая, предупредив, что государству и без того не хватает денег на «самонужнейшия росходы». Елизавета Петровна взяла сенатский доклад «для собственного своего рассмотрения», а резолюцию «изустно» объявила 15 марта 1744 года: «Об оном впредь, до указу, обождать». Судя по всему, обождать согласилась не императрица, а высшее духовенство, не пожелавшее раскошелиться на очищение Невского проспекта от пяти иноверческих молелен. А еще через год нужда в потакании всем капризам архиерейского сообщества отпала...

О мусульманах тоже не забыли. 28 сентября 1743 года императрица в угоду Синоду запретила совместное проживание в одной деревне крещеных и некрещеных татар^{78}.

Впрочем, государыня завоевывала сердца элиты православия не только посредством ущемления иноверцев. 26 декабря 1741 года она по просьбе Синода разрешила продажу обличавшей протестантизм книги Стефана Яворского «Камень веры», изданной в 1728 году и запрещенной при Анне Иоанновне. 5 мая 1742 года императрица ввела еженедельные воскресные проповеди в дворцовой церкви. Первую прочитал 16 мая архимандрит Киево-Братского монастыря Сильвестр Кулябка, будущий соратник Елизаветы Петровны в деле обновления Церкви. 1 октября 1742 года она позволила архимандритам ношение крестов для отличия от игуменов и иеромонахов, 11 июня 1743-го повысила статус Киевской епархии до митрополии, 29 августа согласовала с Синодом порядок ежегодного крестного хода от Казанского собора до Александро-Невской лавры в день одноименного святого, который уже на следующий день был опробован. 17 февраля 1744 года монархиня сформировала комиссию из синодальных членов для завершения исправления канонического текста Библии по греческим первоисточникам, начатого еще в 1712 году и со временем приостановленного; в конце ноября поддержала исследование

чудотворности иконы Пресвятой Богородицы в Ахтырке. А самый щедрый подарок царица преподнесла Церкви 15 июля 1744-го, упразднив Коллегию экономии и подчинив огромное монастырское хозяйство страны напрямую Синоду^{79}.

Три года невиданной набожности, искреннего смирения и великих жертв во благо Церкви взрастили желанный плод. «Благочестие, кое доходит у ней до ханжества самого неумеренного, есть также достоинство, всеобщее восхищение вызывающее» — такое впечатление сложилось у прусского посланника Карла Вильгельма Финка фон Финкенштейна, приехавшего в Россию на смену Акселю Мардефельду в январе 1747 года. Он уличил русское духовенство в «крайнем невежестве», «отвращении... от всех наук», «стараниях... науки сии удушить в зародыше и нацию возвратить к первоначальному варварству»^{80}. Конечно, с «варварством» дипломат перегнул. Архиереи стремились не к реставрации допетровского государства, а к реанимации нравственных ценностей. Отсюда и предубеждение к науке, и пиетет к древним канонам и обычаям предков, даже нелепым. В общем, у Русской православной церкви не получалось преодолеть старозаветные предрассудки без посторонней помощи, каковую Елизавета Петровна и оказала.

Тринадцатого декабря 1744 года «по полудни в шестом часу» духовные отцы столкнулись с неприятным сюрпризом: государыня вдруг вмешалась в конфликт Церкви с супружеской четой Николаевых, властно предписав Синоду, во-первых, прекратить попытки расторжения их брака из-за того, что Мавра Афанасьевна Николаева прежде была обручена с надворным советником Семеном Луниным; во-вторых, впредь о всех подобных коллизиях докладывать ей. Естественно, Синод подчинился высочайшей воле, хотя позднее, в декабре 1747 года, посоветовал государыне передумать и по первому пункту, дискредитировавшему московского архиепископа Иосифа, запретившего Семену Лунину жениться, пока Мавра Николаева не умрет, и по второму. Царица отреагировала в своей излюбленной манере: помолчав больше года, 12 марта 1749-го повторно повелела архиереям, чтобы «впредь бы таковых дел, не доложась Ея Императорскому Величеству, Святейший Синод не решал».

Оскорбил ли православных иерархов демарш дочери Петра? Несомненно. В 1742 году они бы без колебаний возмутились и не простили августейшей особе подобную дерзость. А теперь перед каждым возникла дилемма: обижаться или нет на ту, которая настолько заботлива,

предупредительна к нуждам Церкви, да и набожна. Елизавета Петровна — тонкий психолог — точно рассчитала комбинацию. Духовенство, выбирая из двух зол наименьшее, в итоге предпочло не замечать высочайшее согрешение, как и последующие, лишь бы благоприятная для Церкви политика в целом не претерпевала изменений.

По большому счету она и не изменилась. Правда, западные христианские храмы пришлось оставить в покое, как и свободное обращение светской, в первую очередь научной, литературы. К примеру, попытка архиепископа Сарского и Подонского Платона Малиновского осенью 1745 года ввести для всех ввозимых из-за границы книг цензуру на предмет их «противности» Русской православной церкви (что фактически подразумевало замедление, если не прекращение распространения в России западных научных теорий) была пресечена императрицей тотчас же по получении ею разъяснения А. П. Бестужева-Рюмина о невозможности быстро проверить на таможне книжный импорт. Любопытно, что канцлер особо нажимал на угрозу свободному обороту не абстрактных научных книг, а именно исторических.

Что касается семейного права, то здесь дочь Петра опять «отличилась» 12 марта 1749 года — взяла под защиту прокурора сенатской конторы А. Г. Щербинина, прослышав, что кто-то из епископов добивается аннулирования второго брака чиновника, официально разведенного еще в 1729 году^[81]. Однако подлинное «святотатство» государыня совершила два года спустя. Неспроста Кулябка, тогда уже епископ Костромской, 2 июля 1750 года удостоился чина архиепископа Санкт-Петербургского. Елизавета Петровна поручила ему обвенчать 28 января 1751 года офицера гвардии Дмитрия Михайловича Голицына с камер-фрейлиной Екатериной Дмитриевной Кантемир. Свадьба, с помпой отпразднованная при дворе, имела нюанс, для ортодоксального православного архиерея неприемлемый: к алтарю шли двоюродный брат и родная сестра другой замужней пары — Анастасии Дмитриевны Голицыной и Константина Дмитриевича Кантемира. На сей раз государыня не осторожничала, а, напротив, сделала всё, чтобы создать прецедент. И Синод промолчал, подкупленный правом управления монастырской собственностью, казенным финансированием с 1745 года московской Славяно-греко-латинской академии, сочинением с 1746 года кодекса «о всех чиновных обрядах, службах и установлениях, чего ради оныя узаконены и какая в них сила и подобие заключаются», пожалованной малороссиянам в марте 1749 года привилегией с семнадцати лет постригаться в монахи без высочайшего одобрения, возобновлением с августа 1749 года избрания архиереями двух кандидатов на епископские и

архиепископские кафедры, набором в синодальной типографии откорректированного варианта Библии, вышедшего в свет в первой половине декабря 1751 года...^{82}

Синод молчал целых восемь лет. Однако весной 1759 года, когда на точно такое же «прегрешение» осмелились Николай Иванович Лодыженский и Мария Исаевна Шафирова, разразился страшный скандал. Рязанский епископ Палладий и смоленский епископ Гедеон опротестовали венчание и 10 мая двумя голосами против одного (Кулябки) признали брак незаконным. Елизавета Петровна напомнила им о прецеденте 1751 года, в ответ те же архиереи и его квалифицировали как нарушение канона, хотя за прошедшие годы новая норма вошла в практику.

Высочайшие соизволения от 23 февраля и 13 марта 1752 года, с опорой на прецедент 1751-го, подтвердили браки смоленских шляхтичей Богдана Друцкого-Соколинского и Семена Швыйковского. 23 октября Елизавета Петровна предписала Синоду при рассмотрении аналогичных конфликтов взять эти дела за образец, что было тут же совершено при разборе спора смолян Дениса Ефимовича и Александра Швыйковского с Церковью. Двоюродная сестра отца Швыйковского и матери Ефимовича Анна Швыйковская вышла замуж за Дмитрия Друцкого-Соколинского, дочери которого от предыдущего брака, Евдокия и Меланья, стали супругами Д. Ефимовича и А. Швыйковского соответственно в 1727 и 1734 годах. Смоленский епископ Гедеон осудил действия местных священников и инициировал бракоразводный процесс. Однако заступничество императрицы спасло эти две семьи, а заодно и прочие с той же степенью родства: 4 декабря 1752 года Синод признал законность обоих браков^{83}.

Почему же в 1759 году духовная коллегия восстала против того, с чем вроде бы давно смирилась? Не по причине ли «разведки боем», проведенной Елизаветой Петровной 30 сентября 1757 года? В тот день на заседании Высочайшей конференции она порассуждала вслух: «... монастыри, не имея власти употреблять свои доходы иначе, как толко на положенные штатом расходы, имеют толко напрасное в том отягощение, что должны стараться о собирании оных и охранении остальных, разсылая для того монашествующих часто и по таким местам, где за неимением церкви и служба Божия прямо отправляема быть не может». Ратуя якобы исключительно об интересах монастырей — «чтоб... с болшим доводством доходы свои с деревень получали и монашествующия от всяких мирских попеченей свободны были» — императрица предложила:

«1-е. Чтоб помянутые деревни управляемы были не монастырскими

слушками, но из отставных штап и обер афицерами.

2-е. Помянутые деревни переложить все в помещичьи оклады.

3-е. Сей новой доход собирать весь на монастыри.

4-е. При том смотреть, чтоб из того не было болше употребляемо в расход, как толко что по штатом положено, а остальное везде хранимо было особливою и ни на что без имянного Ея Императорского Величества указу не употребляемою суммою так, чтоб всегда Ея Императорское Величество, ведая о числе оной, могла из того раздавать на строение монастырей...»^{84}

Что это, как не первый шаг к возрождению Коллегии экономии? Не была ли атака на брак Лодыженского и Шафировой ответом Синода, осознавшего, что «разсуждениями» дело не ограничится? Императрице намекнули: высшее духовенство не потерпит реформы, ущемляющей экономические интересы Церкви. И, похоже, обе стороны хорошо поняли друг друга: царская инициатива не получила продолжения, а Лодыженский и Шафилова в конечном итоге создали семью.

Расширение традиционных рамок заключения брака, подобно локомотиву, потянуло за собой упразднение иных изживших себя религиозных запретов. 17 апреля 1754 года Елизавета Петровна уравнила великороссиян с малороссиянами в праве занимать высокие архиерейские и архимандритские должности. 14 июня 1757-го по инициативе императрицы Синод отменил постный рацион питания для солдат заграничной армии С. Ф. Апраксина. Причем вечером того же дня государыня лично позаботилась об оперативной рассылке синодального постановления полковым священникам^{85}. Почувствовала ослабление православного фанатизма и российская наука — правда, не без странного «приключения».

Духовенство, не добившись в 1745 году полного контроля над книжным импортом, в принципе, согласилось — разумеется, с большой неохотой — играть по предложенным сверху правилам: священники и ученые занимают разные ниши и в чужую сферу компетенции не вступают. Конечно, бесконечно так длиться не могло, ибо стороны жестко оппонировали друг другу в наиглавнейшем вопросе — о строении Вселенной. Академическая «партия» признавала истинной гелиоцентрическую систему (Земля вращается вокруг Солнца), синодальная — геоцентрическую (Солнце вращается вокруг Земли).

Российские архиереи терпели «еретиков», почитавших теорию Коперника, пока те рассуждали о ней в кругу просвещенной части общества. Круг этот был очень узким, о чем свидетельствовали отчеты академической книжной лавки. Напечатанная в 1740 году книга «Разговоры

о множестве миров» Бернара ле Бовье Фонтенеля расходилась среди петербуржцев и гостей столицы не слишком бойко, хотя перевод, в занимательной форме объясняющий законы небесной механики, принадлежал весьма известной в России персоне — поэту и дипломату Антиоху Кантемиру, да и стоил фолиант всего 50 копеек.

Около десяти лет соблюдалось вышеозначенное перемирие. В 1755 году после выхода первых номеров «Ежемесячных сочинений» хрупкое равновесие нарушилось. Журнал, быстро завоевавший популярность, очень хитро развернул пропаганду новых космологических представлений: Миллер давал слово не профессорам астрономии и физики, а поэтам и риторам. Читателю же, чей интерес к тайнам мироздания пробуждали и подогревали художественными образами, следовало поспешить в книжную лавку Академии наук и приобрести беседы Фонтенеля, секретаря Французской академии, с некой маркизой о природе звезд, их орбитах, движении планет.

Кампания началась в августе 1755 года с публикации отрывка («восемнадцатого мечтания») прозаической поэмы «Грезы» немецкого философа и доктора медицины из Хельмштедта Иоганна Готлиба Крюгера в переводе А. А. Нартова под названием «Сон». Продолжение — «девятнадцатое мечтание» — было напечатано в ноябре. Впрочем, уже в сентябре тему развил Александр Сумароков в духовной оде, а точнее, в довольно вольном переложении 106-го псалма, космологии никак не касавшегося. Процесс достиг кульминации в январе 1756-го: подписчики ознакомились с русским переводом философской повести Вольтера «Микромегас», посредством фантастического сюжета описавшего всё многообразие Вселенной. Судя по всему, рекламная акция увенчалась полным успехом: общество обсуждало «Разговоры» Фонтенеля, раскупило остаток тиража и столь страстно судачило в салонах и трактирах о «множестве миров», что в академической канцелярии задумались о втором издании фонтенелевских бесед.

Между тем члены Синода не сразу спохватились, несмотря на то, что не кто иной, как Василий Тредиаковский, явно из ревности к старому сопернику, еще 13 октября 1755 года предупредил их о неблагонадежных стихах Александра Сумарокова, появившихся в «Ежемесячных сочинениях». Похоже, архиереи поначалу не верили в силу периодической печати, а когда убедились в ней, то отреагировали, видимо, на редкость эмоционально и энергично, раз сам Иван Шувалов предпочел не ссориться с ними, а отослать 19 августа 1756 года рукопись русского перевода книги англичанина Александра Поупа «Опыт о человеке», в которой тоже

содержались размышления о «множестве миров», на церковный суд. Синод, естественно, потребовал убрать крамольные пассажи, о чем и уведомил любимца государыни 16 сентября. Шувалов, невзирая на протесты переводчика Н. Н. Поповского, ученика Ломоносова, подчинился архиерейской воле.

А вот Миллера гнев священников и уступчивость первого министра несколько не насторожили — скорее, наоборот, раззадорили. Смелость ученого поразительна. В ноябрьском номере журнала за 1756 год он поместил стихотворное «Размышление о Величестве Божиим», переведенное из французской книжки «Увеселение разума» юным кадетом Семеном Порошиным, не просто пропевшее гимн идеям Николая Коперника и Джордано Бруно, а поставившее под сомнение само Священное Писание. Придворный историограф накликал-таки на себя беду.

Двадцать первого декабря Синод адресовал императрице доклад с жалобой на «Ежемесячные сочинения», в коих «не токмо много честным правам и житию христианскому, но и вере святой противного имеется, особенно некоторые и переводы, и сочинения находятся, многия, а инде и безчисленные миры быти утверждающия». Архиереи настаивали на изъятии из продажи и у населения соответствующих номеров журнала, а заодно и книги Фонтенеля, по вине дерзких авторов попавшей в центр всеобщего внимания. Кроме того, документ требовал официально запретить «писать и печатать как о множестве миров, так и о всём другом, вере святой противном», и пригрозить заслушание «жесточайшим наказанием». Под обращением подписались архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр Кулябка, епископ Рязанский Дмитрий Сеченов, архимандрит Троице-Сергиевой лавры Афанасий Вольховский, архимандрит Донского монастыря Варлаам Лащевский.

Едва ли названные члены Синода сомневались в том, какой будет высочайшая резолюция на поданной бумаге. Недаром же Иван Шувалов принял все замечания Церкви и 17 февраля 1757 года отправил исправленный вариант «Опыта о человеке» на апробацию переяславского епископа и архимандрита Воскресенского Новоиерусалимского монастыря Амвросия Зертис-Каменского. Владыка возглавлял синодальную контору в Москве, и от него зависело, когда рукопись Поповского пойдет в набор в типографии Московского университета. Однако архиереям пришлось пережить не торжество, а шок. Вместо царского указа в конце старого или в первые дни нового года Санкт-Петербург наводнили листы с виршами:

Не роскошной я Венере,

*Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвалну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.*

*Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена...*

Обычно о знаменитом «Гимне бороде» Ломоносова вспоминают в связи с цензурными искажениями, которым Церковь подвергла «Опыт о человеке» Николая Поповского: вроде как придирки духовенства рассердили учителя, и тот отомстил за ученика. Версия с защитой «Ежемесячных сочинений» не рассматривается по причине давней вражды академика с Миллером. Тем не менее гимн — прежде всего акт солидарности с теми, кто проповедовал «множество миров», чего автор нисколько не скрывал, посвятив центральной теме целую строфу:

*Естли правда, что планеты
Нашему подобны свету,
Конче в оных мудрецы
И всех пуще там жрецы
Уверяют бороною,
Что нас нет здесь головою.
Скажет кто: мы вправды тут,
В трубе там того сожгут.*

Учитывая, что патрон Ломоносова Иван Шувалов капитулировал перед Синодом практически без боя, а судьбу Миллера царица еще не решила, сатира о бороде, хотел того Михаил Васильевич или нет, приобретала важное политическое значение, давая редактору научно-популярного журнала шанс одолеть Синод в неравном поединке. А расчет здесь простой: если группа архиереев спорит с одним Миллером,

последнего, нерусского и неправославного, можно обвинить в том, что он нападает на Церковь либо из личной неприязни, либо в угоду иностранным державам. И тогда власть должна покарать заносчивого склочника, а то и чужеземного агента. Если же Миллер выступает в союзе с русским академиком, то налицо конфликт интересов двух общественных корпораций — духовной и ученой, который власть обязана урегулировать мирным путем.

Не случайно Кулябка с товарищами, прежде чем искать у государыни сатисфакции, постарались рассекретить имя автора «Гимна бороде», для чего, видимо, в первой половине февраля встретились с Ломоносовым и прямо спросили его, не он ли тот «школьный (образованный. — К. П.) человек», сочинивший «оной пашквиль». Ответ Ломоносов «да», и какой-то формы епитимьи ему не миновать, зато Миллер был бы спасен. «Нет» означало как минимум чистку редакции ежемесячника и введение в нем предварительной церковной цензуры. Михаил Васильевич выбрал не то и не другое, а «золотую середину»: иронией, насмешками выразил сочувствие «Имну», но автором себя не признал. Зато после свидания он написал злую и опять же анонимную эпиграмму против бородатых священников, что хуже и самих «козлят малых»... В итоге 6 марта 1757 года члены Синода потребовали у царицы отослать к ним для «увещевания и исправления» Ломоносова как подозреваемого, а не виновного в греховном проступке. И что же Елизавета Петровна?

Похоже, летом 1756 года Иван Шувалов не ради простой демонстрации лояльности православным иерархам отнес на церковную экспертизу стихи Поповского, а пожертвовал ими нарочно, чтобы, когда понадобится, Синод не мог упрекнуть сановника и стоявшую за ним императрицу в потворстве ученым вольнодумцам. Власть заранее позаботилась о том, чтобы в назревавшем противоборстве выглядеть неангажированным арбитром. Как мы помним, у императрицы эта роль — излюбленная. С ее помощью она неоднократно без ущерба для собственной репутации реализовывала проекты, не имевшие безоговорочной общественной поддержки. И на сей раз Елизавета Петровна не собиралась примыкать к большинству. Оттого и столкнулся Синод сначала с одним академиком, а потом и с другим. По поведению и Миллера, и Ломоносова видно, что оно кем-то координировалось: они, не ладя друг с другом, действовали сообща. Оба, дразня духовенство, откровенно нарушили грань дозволенного, и оба проигнорировали пример первого министра Ивана Шувалова, уклонившегося от ссоры с Синодом. Наконец, то, что вспыльчивый Ломоносов, беседа с архиереями, выдержал правильную

линию и не наговорил сторяча лишнего, тоже подразумевает присутствие за его спиной кого-то, чье доверие академик постарался оправдать.

И этим доверителем могла быть единственно Елизавета Петровна, намеревавшаяся окончательно избавить российскую науку от навязчивой и подчас вредной опеки православного духовенства. Понятно, что настроить против себя целое сословие ей вовсе не хотелось, почему и потребовалась услуга двух уважаемых профессоров, взявших на себя неблагодарную миссию отважных оппонентов Синода. Миссия же государыни состояла, наоборот, в ласковом убеждении первосвященников оставить ученых в покое, не нервировать их и не провоцировать обвинениями в ереси на сочинение сумасбродных и обидных стихов. Более чем вероятно, что от императрицы исходил еще один совет архиереям, которым они не преминули воспользоваться: месяца через три, в июле 1757 года, по столице разошлись вирши некоего Христофора Зубницкого «Передетая борода, или Имн пьяной голове» — пародия на ломоносовские рифмы, больно задевавшая академика, питавшего слабость к хмельному зелью. Михаил Васильевич принял вызов и ответил эпиграммой, высмеивавшей как автора пародии (скорее всего, им был епископ Дмитрий Сеченов), так и его консультанта Василия Тредиаковского, с членами Синода весьма дружного. Завязалась довольно ожесточенная полемика не без пользы для главного дела: на «Ежемесячные сочинения» церковные деятели с тех пор уже не покушались. Популяризация системы Коперника фактически стала легальной, что и подтвердило второе издание «Разговоров» Фонтенеля, вышедшее без каких-либо препон в 1761 году тиражом свыше 1200 экземпляров.

Таким вот образом, двумя большими «дискуссиями» — о правилах бракосочетания и о пропаганде «множества миров» — дочь Петра Великого сумела добиться от российского духовенства постепенного смягчения идейной нетерпимости, отказа от консерватизма в обрядовых вопросах и агрессивности в отношениях с наукой. Тактика, избранная Елизаветой, вынудила Синод смириться с новым порядком (духовенство обращает августейшее внимание на те или иные погрешности, а государыня в зависимости от политической целесообразности либо исправляет, либо узаконивает их), обеспечившим плавность и мирный характер процесса, которые, учитывая нравы многих священнослужителей, изначально вовсе не гарантировались. Достаточно вспомнить пример епископа Ростовского Арсения Мацеевича, легендарного борца с церковной реформой Екатерины II, расстриженного и посаженного в тюрьму великой императрицей. И как не подивиться тому, что «легкомысленная»,

«капризная» «тетушка» «северной Семирамиды» умела добиваться поставленных целей, не ссорясь с упрямыми вроде Мацевича...[186](#)

Глава двенадцатая

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

То, что крепостное право осуждала Екатерина II, общеизвестно. А как к рабству крестьян относилась ее предшественница на троне? Многие не поверят, но тоже отрицательно. В этом императрицы схожи, различаются же поступками. Если Екатерина дальше зондирования общественного мнения на заседаниях Уложенной комиссии не продвинулась, то Елизавета предпочла не тратить время попусту на то, что и без всяких депутатских прений понимала. Помещичья Россия отречься от крепостничества не собиралась. Да что Россия — даже казацкая Малороссия не прочь была охолопиться, и грозные елизаветинские указы 1742 года, запрещавшие неволить казаков, при случае с удовольствием игнорировались, и самодержица, увы, нередко оказывалась бессильной перед наметившейся тенденцией.

К примеру, когда в декабре 1747 года два ходока от малороссийского села Хвоевичи через знакомого в Царском Селе сумели пожаловаться государыне на стремление шляхтичей Чернолусских закабалить односельчан, та, явно стесняясь собственной слабости, слукавила, отослав обоих в Глухов к гвардии капитану Григорию Полозову: мол, офицер уполномочен принимать и разбирать любые крестьянские протесты (реально, как мы помним, Полозов не имел на это права, о чем и хвоевичские ходатаи прекрасно знали)^[187].

Миновало почти десять лет правления, прежде чем в светлой голове родилось интересное соображение, как снизить классовый антагонизм в деревне. Ясно, что в конфликтах крестьян с помещиком последний обладал преимуществом, опираясь на закон, образование, военные команды, наконец. Крестьяне имели фору разве что в численности, чего конечно же мало для создания между двумя спорящими сторонами равновесия, побуждающего вести диалог, а не войну. Перекос в пользу помещика, провоцирующий произвол, надлежало как-то нейтрализовать. Памятуя о политической пассивности и неорганизованности крестьянства, Елизавета Петровна предположила, что выправить ситуацию способно периодическое вмешательство монарха в наиболее жаркие ссоры крестьян с хозяином путем принудительного приобретения в казну мятежного имения. С одной стороны, появление постоянной угрозы потерять взбунтовавшееся село или

деревню должно было подтолкнуть помещика к умеренности в отношениях с холопами. С другой стороны, сохранение за императрицей свободы в вопросе, быть или не быть ей арбитром, охлаждало бы горячие головы, стремящиеся искусственно натравить крепостных на барина.

Изящный план обещал, по крайней мере, уменьшить социальное напряжение в деревне, а в идеале сбалансировать противоречия двух главных сословий империи — но только при условии, что известная пассивность и неорганизованность крестьянства не зависят от влияний извне. Иначе красивая задумка превращалась в опасную затею, чреватую катастрофой. К сожалению, проверить точность своих расчетов царица могла только на практике: историческая наука отсутствовала, а память о Великой смуте, о мотивах крестьянского участия в походе Степана Разина и в устном, и в письменном виде страдала чрезмерной субъективностью и к тому же целенаправленно искажалась в выгодном для династии свете. Императрице поневоле пришлось пойти на эксперимент, воспользовавшись первым же удобным казусом.

Таковым стал конфликт между Никитой Никитичем Демидовым и крестьянами села Ильинского Оболенского уезда. Демидов купил имение (сёла Ильинское и Хрусталь с деревнями) у камер-юнкера П. И. Репнина за 68 тысяч рублей, однако крестьяне на сходе решили добиваться права на выкуп вотчины родственником прежнего хозяина Николаем Васильевичем Репниным. Отправленный в Санкт-Петербург к его матери делегат, крестьянин Макар Васильевич Воробьев, заручился ее согласием при условии, что сельчане отыщут необходимую сумму — те же 68 тысяч рублей. Между тем жители сел в мае 1751 года воспрепятствовали канцеляристу с двумя солдатами отписать имение новому господину, а 5–6 июля прогнали и воеводу Серпухова Афанасия Скрыплева с командой в 30 человек. 7 октября к Ильинскому подошел усиленный отряд драгун во главе с майором Дешlichem, однако офицер не рискнул атаковать две тысячи упрямых крестьян и расположился в отдалении, ожидая новых распоряжений.

Осада длилась более двух месяцев, пока в Москве искали чиновника для руководства подавлением бунта. Назначенные сенатской конторой советники Г. Карин и В. Поляков под разными предлогами старались уклониться от миссии. В итоге В. Я. Левашев приказал ехать в Серпухов Василию Полякову, а отряд Дешлича укрепили киевскими драгунами. Именно в этот момент и вмешалась Елизавета Петровна. 24 декабря 1751 года она продиктовала: «...повелеваем нашему Сенату отказывать за него, Демидова, той вотчины не велеть, и от владения оною ему, Демидову,

отказать, и зборов никаких с них збирать ему не велеть, ибо мы оную вотчину указали приписать к нашим собственным вотчинам». Императрица мотивировала свои действия тем, что Демидов вроде бы «принуждает к заводским работам и, якобы за послушание, крестьян держит под караулом с тем намерением, чтоб оными розыскивать».

Естественно, и Сенат, и московские власти исполнили высочайшую волю без промедления. 29 декабря курьер Яков Зверев вручил ордер майору Дешличу. К ночи о решении императрицы узнала вся округа, а на другой день Поляков официально известил о нем жителей Ильинского, после чего военная команда убыла на постоянные квартиры. Репнинские крестьяне с восторгом отпраздновали победу, пока императрица с тревогой ожидала развития событий. Ее демарш конечно же насторожил помещиков. Однако процесс налаживания диалога между двумя сословиями не успел начаться, ибо теперь крепостные были готовы бороться за поголовный переход из помещичьих в дворцовые. Увы, личностный фактор повлиял на превращение крестьян, увидевших в императрице авторитетного покровителя, из пассивной и аморфной массы в активную и организованную, идущую к цели напролом.

Выкупом репинского имения Елизавета Петровна, не желая того, выпустила джинна из бутылки. Прецедент воодушевил крестьян соседних сел, в первую очередь демидовских. Уповая на продолжение царского патронажа, знамя восстания подхватили жители села Ромодановского с прилегающими деревнями (2268 душ). На Святой неделе 1752 года в деревне Игумново стихийно сформировалась инициативная группа — крестьяне Горох, Рыбка и Петров. 1 апреля названная троица уломала старосту Алексея Бурлакова провести собрание крестьян официально «для дележа господского хлеба», а фактически для решения вопроса, как «на помещика просить, как бы от него отойти и быть дворцовыми, как и бывший князь Репнина Оболенской волости крестьяня от одного помещика их отошли».

На следующий день на сходе в Ромоданове мужики двадцати восьми сел и деревень единодушно проголосовали за программу действий (большинство охотно, меньшинство под угрозой расправы) и выбрали исполком в составе девяти человек, а в воскресенье 5 апреля при содействии ромодановских священников в церкви присягнули на верность принятому решению, «чтоб помещика их не слушать и, ежели по челобитью того помещика их из города для взятья их... прислана будет команда или полки, тоб, пока по челобитью их указ о приписке ко дворцу воспоследует, не даватца и друг за друга стоять».

Комитет развил бурную деятельность: на Фоминой неделе наладил контакт с ильинскими крестьянами, один из которых, Ермолай Кондратьевич Позняков, вскоре приехал в Ромоданово рассказать об успешном опыте своих земляков, а другой, Тимофей Иванович Елифанов, позднее находился в очаге восстания, наблюдая за сражением ромодановцев с военными. Среди отставных служивых крестьянские вожди отыскали гвардейца-семеновца Сидора Дмитриевича Дмитриева, который согласился обучить мужиков, как «стоять противу команд з дубинами, шеренгами, и наперед велел противиться бросаньем камнями, а потом дубинами и протчим дреколием». Позаботились лидеры и о запасах вооружения — жердей, дубин, кольев, копий, кос и камней, ведя учет каждому найденному ружью (всего 12 штук), а еще демонстративно разорили принадлежавший Демидовым Выровский завод.

Восемнадцатого апреля в Санкт-Петербург с челобитной императрице отправились три делегата — Федор Клементьевич Горелой шестидесяти лет, его ровесник Семен Алфимов и сорокалетний Тимофей Лазаревич Воробьев. Прорваться к государыне им не удалось, несмотря на помощь репнинцев Ермолая Познякова и Петра Черкасова. Первых двух ходяков вместе с Позняковым взяли под стражу утром 12 мая, на второй день пребывания в Санкт-Петербурге; третий, разминувшись по дороге с товарищами, прожил в городе неделю и попался в руки полиции во дворе Н. Ю. Трубецкого 13 мая. 21-го числа арестантов, за исключением Познякова, высекли кнутом, заковали в кандалы и под конвоем отослали в Калугу.

Чуть раньше, 15 мая, их односельчане отразили первую попытку вмешательства военных. Несколько сотен мужиков оттеснили четыре роты рижских драгун от паромной переправы через Оку. Командир отряда не осмелился разогнать толпу кровопролитием. Посему в Калуге с благословения московской сенатской конторы решили откомандировать на усмирение восставшей округи весь Рижский драгунский полк (330 пеших и 142 конных) во главе с полковником Петром Ивановичем Олицем. Около часа ночи 22 мая полк выдвинулся из города, под утро на пароме форсировал Оку и, оставив у каната охрану из восьмидесяти солдат, к десяти часам утра приблизился к Ромоданову. Так как село располагалось недалеко от Калуги, то за акцией наблюдали тысячи жителей городских предместий. Олиц, остановив подчиненных в 200 сажнях от мятежной толпы более чем в тысячу человек, сгрудившейся на окраине Ромоданова, предложил крестьянам выслушать вердикт Сената. Те не возражали, но по окончании чтения крикнули, что только «ежели де прислан будет за

подписанием собственнй Ея Императорского Величества руки указ, то де они в послушании у показанного Демидова будут». Полковник дважды пробовал уговорить мужиков прекратить сопротивление, но тщетно. Тогда солдаты зарядили ружья пыжами, а обер-офицер подошел к мужикам с последним предупреждением. Ответ был прежний. После этого крестьяне, «окончав крик, не знаемо по какому обычаю, сели всем собранием на землю и, мало посидев, встав, все вдруг оборотись к селу, глядя на церковь, крестились, потом, взяв свое разного звания оружие и камень нажав в пазухи и полы, тронулись с места».

Крестьянская атака оказалась страшной. Холостой залп толпа просто не заметила, а перезарядить ружья драгуны не успели. Копья, колья, косы впивались в их тела с адской болью. Дубины и камни били наповал, ломая ноги, руки, ребра и пробивая головы «до мозгу». Ошеломленные мужицким натиском солдаты тотчас обратились в бегство. В возникшей суматохе попал в плен ушибленный камнем командир отряда, а его тяжело раненного заместителя подполковника фон Рена вынесли из боя с большим трудом. Лишь у парома, соединившись с резервом, драгуны сумели охладить пыл крестьянской армии, дав по ней залп боевыми патронами. Потеряв 59 человек убитыми и 42 ранеными, мужики ретировались в село.

Затем настал черед переговоров. Возглавившему полк капитану Алексею Долгово-Сабурову пришлось увести своих людей за Оку ради сохранения жизни плененного полковника, «наемщика Демидова». Получив от Олица письменный приказ, он во втором часу дня отступил к Калуге, вывозя в город раненых офицеров и солдат (30 — смертельно, 197 — легко). Тем временем победители подсчитали трофеи: 209 фузей, 188 шпаг, десять пар пистолетов, 143 лядунки с патронами, четыре барабана.

Разгром Рижского драгунского полка при Ромоданове усилил брожение в соседних деревнях других помещиков. Пример Ромоданова приободрил крестьян тульского купца Лариона Ивановича Лугинина, владельца полотняной мануфактуры в Алексинском уезде. В селе Сорокалетове и деревне Железной Белевского уезда образовалась собственная инициативная группа, которая увлекла односельчан на ту же стезю апелляции к императрице и неподчинения барину и всем прочим начальникам. Складывалась опасная тенденция. Движение за признание помещичьих крестьян дворцовыми вот-вот могло принять массовый характер. Обеспокоенные Военная коллегия и Сенат 29 мая предписали Федору Тимофеевичу Хомякову, шефу бригады, включавшей Рижский и Киевский драгунские полки, немедленно подтянуть из Тулы к Калуге второе соединение, после чего обезвредить и ромодановцев, и

сорокалетовцев: «...села и деревни, разделясь на разные команды, окружить и от одной к другой к сообщению камуникации пресечь, и потом всех переловить и по рукам разобрать». На случай каких-либо осложнений ему в помощь перебрасывались из других команд два драгунских и два пехотных полка. Впрочем, вторая встреча на поле боя двух армий, профессиональной и крестьянской, не состоялась. 4 июня член Военной коллегии Петр Спиридонович Сумароков ознакомил Елизавету Петровну с трагическими подробностями разгрома полка Олица, после чего услышал высочайший ордер: если крестьяне «от того злаго своего начинания еще по увещанию в ыстинное раскаяние не придут и доброволно сущаго извинения не принесут, то велеть жилища их жечь и, не допуская к сражению, палить по ним ис пушек и, всею командою наступя, бить и разбирать по рукам всех без остатку... И во всём с ними яко с сущими государственными злодеями и противниками и недоброжелателми всеобщаго внутренняго покоя поступать без всякого послабления с такою предосторожностью, чтоб будущим при том воинским людям повреждения и упадку приключитца не могло».

Как ни парадоксально, жестокий приказ императрицы спас Ромодановскую волость от резни. Бригадир Хомяков, прибывший в Калугу 31 мая, уведомился о царской воле 10 июня и на рассвете следующего дня устремился с рижскими и киевскими драгунами (всего 1362 человека) к Оке, надеясь на капитуляцию крестьян. Основание к тому давали состоявшиеся на прошедшей неделе успешные переговоры: 4 июня ромодановцы отпустили полковника Олица, 6-го вернули часть вооружения. В шесть утра 11 июня бригада достигла переправы, но, к немалому удивлению, на другом берегу реки обнаружилась толпа не покорных, а вооруженных мужиков, готовых обрубить паромный канат и сражаться насмерть.

Впрочем, Хомякова это не смутило. Сперва заговорили пушки и с десяток ядер полетело в крестьян, нисколько их не испугав. Затем командир погрузил на одно плавсредство две гренадерские роты, на другое — два конных эскадрона. В момент отплытия обоих транспортов крестьяне перерубили канаты и рассредоточились вдоль берега. Хотя паром с кавалерией наскочил на мель и застрял, гренадеры сумели с помощью шестов вплотную приблизиться к берегу. Выстроившись в шеренги, они по очереди выпалили из ружей. Но мужики не побежали, а по-прежнему собирались всей массой навалиться на врага. Могла повториться история с Олицем, и Хомяков, памятуя об августейшем распоряжении, поспешил протрубить отбой. Гренадеры и конный отряд ретировались. Обмен

парламентерами (в Ромоданово отправился капитан Оболмасов, а в стан военных — мужицкая делегация) окончился безрезультатно: 12-го числа крестьянин Михаил Осипов привез бригадиру письмо от имени общины с упреком за гибель семидесяти пяти человек и ранение пятидесяти двух и выражением недоверия ко всем бумагам и обещаниям, не исходящим лично от государыни.

Девятнадцатого июня Хомяков предпринял вторую попытку покорить бунтующую волость. На сей раз форсированию Оки никто не препятствовал, а когда полки, уничтожив огнем опустевшие окрестные деревни, появились у Ромодановского, их встретили 214 крестьян, тут же сдавшихся на милость властей. Как выяснилось позднее, орудийные залпы на Оке убедили мужиков в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Еще 16 июня ромодановцы на общем собрании постановили снарядить в Петербург несколько делегаций с челобитной в надежде, что кому-нибудь повезет кинуться в ноги императрице. Затем те, кто не хотел капитулировать, покинули село и разбрелись «по буеракам и по лесам», а прочие предпочли смириться с поражением.

Со временем арестантский список Хомякова вырос до 674 человек, среди которых значились уже восемь предводителей восстания (девятый, Иван Петров, погиб 22 мая). Вскоре после падения Ромоданова сложили оружие и защитники Сорокалетова. Расследовать обстоятельства бунта и судить виновных Сенат поручил комиссии во главе с генерал-майором М. С. Опочининым, явившимся в Калугу 13 июля. Василий Горох и Михаил Рыбка были приговорены к колесованию, Алексей Бурлаков, Андрей Степанов, Андрей Семенов, Иван Рык, Филипп Волков и Иван Чупрунов — к повешению.

На Елизавету Петровну трагедия ромодановцев, похоже, произвела неизгладимое впечатление. Информацию о ней государыня получила и от соратников, и от самих крестьян. Двум ходакам — Тимофею Лазаревичу Воробьеву (тому самому, который умудрился вырваться на волю) и Осипу Кирилловичу Никитину — посчастливилось без паспортов окольными лесными тропами за месяц дойти до Царского Села. Потом оба около недели разыскивали место пребывания государыни, для чего, рискуя угодить под караул, сутки бродили по столице и столько же по Петергофу, откуда опять возвратились в Царское, где подрядились каменщиками на дворцовые стройки и, выждав удобную минуту, преподнесли царице челобитную. Из нее дочь Петра узнала о произволе Никиты Демидова и об истинной цифре крестьянских потерь во второй баталии, при Оке: шесть убитых и 26 раненых. Царица велела взять под охрану челобитчиков и

содержать при Сенате. Пока шло разбирательство, 27 ноября умер Тимофей Воробьев. Оставшийся в одиночестве Осип Никитин в адвокаты восставших не годился, ибо с марта по июнь отсутствовал на родине. Судя по всему, Никитина выбрали в компаньоны Воробьеву именно потому, что он неплохо ориентировался в столице. Тем не менее главные судьи — генерал Опочинин и сенаторы — рекомендовали побить челобитчика кнутом.

Так трагически завершилась крестьянская «реформа» Елизаветы Петровны. Ромодановцы наглядно продемонстрировали, насколько велик потенциал русского крестьянина и как аккуратно нужно с ним обращаться, дабы не спровоцировать на беспощадное и бессмысленное разрушение. К счастью, соблазнительный для сотен тысяч крестьян процесс пере-присяги крепостных новому, самому влиятельному в Российской империи, хозяину успели прервать в начале и, благодаря Елизавете Петровне и Хомякову, с минимальными жертвами. Жители окрестных деревень вовремя поняли, что продолжения вдохновляющей развязки спора о селе Ильинском не будет, поскольку царица не намерена вступаться за мужиков, а значит, у их последователей нет ни единого шанса на успех и браться за дреколье бесполезно.

Судьбу активистов ромодановского возмущения — восьми вождей и делегата Никитина — решал Сенат. Опочинин судил их по традиционным меркам. Ромодановские крестьяне уже волновались в 1741 году. Хотя Демидов и относился к своим крепостным лучше, чем прежний барин М. Г. Головкин (работающим на заводах платил исправно, не требовал столовых припасов, а собственную долю хлеба и прочих продуктов отдавал крестьянам), мужики так тяготились заводской повинностью, что не видели в поблажках равноценной компенсации. Из Калуги даже прислали отряд из двадцати пяти солдат под командой поручика. Военных мужики прогнали, а демидовского приказчика Терентия Карнеева зашибли насмерть. За бунт и убийства полагалась смертная казнь. Осенью 1742 года двух убийц приказчика повесили, трех их соучастников высекли кнутом и сослали в Сибирь, девяноста четырем крестьянам — равнодушным свидетелям преступления — тоже прописали кнут, но без ссылки, а тридцати восьми — плети. В 1753 году восемь вожжаков ромодановской «революции» неминуемо заплатились бы головой, если бы не действовавший с 1744-го мораторий на смертную казнь. Поэтому 26 марта сенаторы обрекли всех на кнут и вечную каторгу на сибирских заводах Н. Н. Демидова, а делегата-челобитчика, памятуя о высочайшей воле, не тронули, но также порекомендовали висечь перед освобождением.

Экзекуция над предводителями свершилась на одной из калужских площадей 20 апреля. Кстати, они были чуть ли не последними, кто избежал клеймения, введенного одновременно с отменой смертной казни 29 марта 1753 года^{88}.

И все-таки, несмотря на поражение, Елизавета Петровна не сдалась — потеряла еще восемь лет, но решила головоломку, как развести недовольных друг другом барина и его крепостных. 13 декабря 1760 года Сенат уполномочил помещиков отправлять на поселение в Сибирь принадлежавших им воров, пьяниц и прочих нерадивых холопов, обязательно с женами и предпочтительно с детьми. В зависимости от возраста за ребенка платили хозяину от десяти до двадцати рублей. Соблазн для помещика состоял в том, что мужика засчитывали за рекрута следующего набора. Выгода для мужика с семьей заключалась в освобождении по прибытии в Сибирь от крепостной зависимости. Закон особо подчеркивал, что требуются рабочие руки для освоения Дальнего Востока «летами не старше 45 лет». Государственных, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян привозить в пункты приема в городах Поволжья не возбранялось только при наличии письменных доказательств вины (приговоров общинных собраний, заверенных священниками)^{89}.

Таким образом, от неугодных лиц избавляться мог лишь барин, а не управляющий или староста. В итоге возникал канал для выпуска социального пара в наиболее подверженном бунту месте — в деревне. Попутно закон добивался другой благородной цели — сокращения числа крепостных. Точно неизвестно, кто придумал эту комбинацию. Впрочем, если судить по «почерку», то, кажется, он узнаваем...

Глава тринадцатая

КАДРЫ: ЛЮДИ ИЗВЕСТНЫЕ

С кадровой политикой Елизаветы Петровны связан один парадокс. Если достоинства команды соратников Петра I, Екатерины II или Александра II — заслуга в первую очередь самих монархов, назначавших или переставлявших людей, то у нашей героини, коли верить историографии, всё сложилось само собой, благодаря удивительному везению. Перечислим имена членов ее «команды», уважаемых потомками и широко известных: канцлеры Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и Михаил Илларионович Воронцов, генерал-адъютанты Петр и Иван Ивановичи Шуваловы, обер-прокурор Синода и генерал-прокурор Яков Петрович Шаховской, президент Коммерц-коллегии Яков Матвеевич Евреинов, главный судья Монетной канцелярии и президент Берг-коллегии Иван Андреевич Шлаттер, генерал-инженер Абрам Петрович Ганнибал, генерал и профессиональный инженер Людвиг Иоганн Люберас, генерал-губернатор Риги и фельдмаршал Петр Петрович Ласси, губернатор Оренбурга Иван Иванович Неплюев, губернатор Сибири Федор Иванович Соймонов, кабинет-секретари Иван Антонович Черкасов и Адам Васильевич Олсуфьев, советник президента Академии наук и малороссийского гетмана Григорий Николаевич Теплов, конференц-секретарь Дмитрий Васильевич Волков, дипломаты Иоганн Альбрехт Корф, Герман Карл Кейзерлинг, Генрих Гросс, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Алексей Михайлович Обресков, Федор Дмитриевич Бехтеев, дипломат и обер-гофмейстер великого князя Никита Иванович Панин, директор русского публичного театра Александр Петрович Сумароков, обер-архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, главный командир Герольдмейстерской конторы Василий Евдокимович Ададунов, математик и шифровальщик Христиан Гольдбах.

К фамилиям, попавшим в анналы истории, добавим те, что незаслуженно обойдены вниманием ученых: помощник кабинет-секретаря Василий Иванович Демидов, лейб-медик Павел Захарович Кондоиди, генерал-полицмейстер Алексей Данилович Татищев, главный командир Дворцовой канцелярии Яков Андреевич Маслов, дипломаты Петр Григорьевич Чернышев, Федор Иванович Чернев, Василий Федорович Братищев, Федор Львович Черкесов, гофмаршал Карл Ефимович Сиверс...

Подавляющее большинство лиц из приведенного списка, безусловно,

неполного, выдвинулось или возвратилось к делам из опалы по инициативе Елизаветы Петровны. Почему не упомянут Василий Никитич Татищев? К сожалению, знаменитого сподвижника Петра Великого соратником его дочери назвать нельзя, и не только из-за споров о русской истории. Сановник крупно насолил Елизавете Петровне и на государственном поприще, причем, похоже, так и не осознал этого, искренне считая свою поднадзорную жизнь, практически домашний арест в подмосковном имении Болдино явной несправедливостью. Причина сей немилости кроется, естественно, не в нанесении казне убытка в размере 480 рублей вследствие недопоставки продовольствия гарнизону Кизляра в 1742 году.

Татищева подвело собственное высокомерие. 31 июля 1741 года Анна Леопольдовна отправила Василия Никитича в почетную ссылку — главным командиром калмыцкой комиссии. От беспокойной личности, видимо, очень торопились избавиться, если назначили на первую подвернувшуюся вакантную должность. Татищев — крепкий хозяйственник, хороший историк, возможно, и дипломат, но не на Востоке. Калмыки, татары, кабардинцы и иные «дикари», проживавшие вблизи Астрахани, вселяли тихий ужас в неутомимого борца с произволом Демидовых и беспощадного вешателя восставших башкир. Он растерялся перед необходимостью улаживать семейную распрю в правящей калмыцкой династии. По приезде на место «комиссар» запаниковал и затребовал в товарищи кого-либо знакомого с калмыцкой спецификой. «А без него я ничего делать не смею, и опасно», — отрапортовал Татищев 25 октября 1741 года. В конце концов советник выполнил правительственное задание — при содействии полковника Лукьяна Боборыкина и переводчика Федора Черкесова отстранил Джанну, вдову хана Дондук-Омбо, и вручил власть Дондук-Даши, двоюродному брату покойного владельца.

Почти три года Татищев, с 1742 года астраханский губернатор, и Дондук-Даши, наместник калмыцкого хана, жили вполне подобрососедски. Но вдруг 15 августа 1744 года скончался единственный сын наместника Асарай, обретавшийся в Астрахани на правах почетного заложника, и русско-калмыцкие отношения стремительно покатались к разрыву. Дондук-Даши не обвинял русскую сторону, а всего лишь желал, чтобы русские просто посочувствовали отцовскому горю, посетили улусы и выразили сожаление в связи с тем, что не уберегли «принца». Однако когда особый посланец наместника родовой старшина (зайсанг) Бордон 18 октября прямо намекнул ему о том, Татищев категорически воспротивился: «В свидании нужды нет».

В отместку оскорбленный отец по совету родни решил увести все

улусы в Крым, в татарское подданство. Только счастливое стечение обстоятельств (раскрытие заговора родного брата наместника, Бодонга, планировавшего его свержение по прибытии в Крым) буквально в последний момент предотвратило кровопролитие. Дондук-Даши передумал прорываться через не слишком плотные русские заслоны и уничтожить присматривавший за ним отряд подполковника Никиты Григорьевича Спицына (110 солдат и казаков). Три дня он склонял к отказу от побега старшину и, наконец, в ночь на 14 июня не без помощи духовенства добился своего, после чего арестовал брата-изменника. Подоспевшая вскоре весть об увольнении Татищева от калмыцких дел высочайшим указом от 19 июля окончательно удовлетворила всех и ускорила русско-калмыцкое примирение. Заметим, высокомерие Василия Никитича едва не обрушило геополитическое равновесие на юге России, так что наказали губернатора за дело. Его изоляция в деревне способствовала не только восстановлению доверия калмыков к России, но и улучшению текста сочиненной им первой русской истории^[90].

Другой петровский «пленец», Иван Иванович Неплюев, в противоположность Татищеву «дикарей», опекаемых Оренбургской экспедицией, не чурался, почему и был из ссылки возвращен в Санкт-Петербург. Правда, для этого он трудился, выводя регион из числа депрессивных, 16 лет: заново, на более удобном месте, основал Оренбург, построил десятки крепостей и острогов на реках Яик и Уй, сдружился с ханами киргиз-кайсацких орд, расширил торговлю и сеть горнорудных, железных, медных заводов, стараясь вовлечь в процесс созидания коренное население — татар и башкир, поладил с яицким казачеством. В общем, по его собственному признанию, «видев делам моим успех в пользу отечества, был совершенно доволен и спокоен, забыв ту прискорбность, с кою в сию экспедицию прибыл». Елизавета Петровна оценила рвение Неплюева: 15 марта 1744 года преобразовала экспедицию в губернию, 25 ноября 1752-го пожаловала губернатора в действительные тайные советники, в феврале 1758-го вызвала в столицу, а 16 августа 1760-го произвела в сенаторы.

На главное награждение, конечно, повлияла та ловкость, с какой оренбургский губернатор потушил башкирское восстание 1755 года. Вспыхнуло оно под тем же лозунгом, который едва не провозгласили калмыки в 1745 году: «Уходим из России!» К кому? К киргиз-кайсакам (казахам), у которых обосновался мулла Абдулла Мягзылдин по прозвищу Батырша. По его наущению и всколыхнулись кибитки Бурзенской волости Ногайской «дороги». 15 мая башкиры ринулись на прорыв через Яик, убили по дороге группу каменотеса Брагина и двух проезжих крестьян и,

опрокинув пикет драгун, 21 мая ушли к киргиз-кайсакам.

Их примеру последовали жители еще четырех волостей, также с боями пробиравшиеся за Яик, разорявшие попутно русские и казачьи поселения, почтовые станы, заводы. Три «дороги» — Казанская, Осинская, Сибирская — к движению не примкнули, как и половина Ногайской. Чувствуя провал затеи, Батырша попробовал в сентябре 1755 года раскатать Осинскую «дорогу», но ее старшины сами же и угомонили бунтовщиков. К зиме больше уже никто не хотел бежать за Яик — сработала хитрость Неплюева, который 29 мая и 7 июня отправил к владельцам Малой и Средней казахских орд (жузов) Нурали-хану и Абылай-хану посланцев с заманчивым предложением: Россия не будет возражать, если кочевники обеих орд ограбят беглых башкир и обратят в рабство. Нурали-хану идея понравилась, а Абылай, в чьих владениях обретался Батырша, отказался. Впрочем, первой на пути башкир лежала Малая орда. Из трех тысяч бежавших большинство очутилось в плену. Прослышав о том (Неплюев позаботился о своевременном оповещении), расхотели эмигрировать и те, кто искренне сочувствовал организовавшему мятеж мулле. К тому же 14 сентября губернатор обнародовал царский акт об амнистии, на который откликнулись те, кто умудрился выскользнуть из киргиз-кайсацкого плена.

Впрочем, о захваченных в плен тоже не забыли. После ряда переговоров с Нурали-ханом 21 августа 1756 года русская сторона уговорила старшин Малой орды «...находящихся у всех киргиз-кайсаков беглых... башкирцов... з женами... и з детьми, також и с... пожитками, которые доселе не разграблены, возвратить обратно». За первый месяц вернулось свыше четырехсот человек^{91}.

Парадокс, но мятеж башкирской Ногайской «дороги» прежде всего аукнулся Русской православной церкви. Елизавета Петровна ответила на диверсию Батырши уменьшением дискриминации мусульман. 3 сентября 1755 года она приостановила действие закона об отселении некрещеных татар от крещеных, а 26 сентября добавила: «...с иноверцов, кои по ныне некрещены, за новокрещенных доимочных и нового нарядов рекрут не взыскивать, також и подушной за тех новокрещен по нынешней 1755 год доимки со всех же некрещеных иноверцов не взыскивать же и из доимки выключить, дабы оные от того взыскания во изнеможение притти не могли»^{92}. Основной костяк иноверцев, обложенных податями, составляли как раз магометане. Правда, этот указ больше задевал интересы Сената, чем Синода. А в Сенате командовал Петр Иванович Шувалов.

Великий прожектер XVIII столетия, фактический глава правительства

дочери Петра, первый вельможа империи, властный, тщеславный, корыстный — вот как выглядит в глазах потомков Петр Шувалов, блеском посмертной славы затмивший память о старшем брате Александре. Смущает одно: если Петр Иванович и впрямь был таким замечательным государственным мужем, то почему Елизавета Петровна не ему поручила свою безопасность и не его первым произвела в генерал-адъютанты?

Процитируем пруссака Акселя Мардефельда: «Генерал-поручик граф Шувалов некоторым доверием пользуется благодаря жене и, хоть и трусоват, часто против канцлера выступает. Брюзжит постоянно, не имея на то резонов». Характеристика примечательна тем, что автор — старожил Санкт-Петербурга — еще не в курсе грядущих событий и описывает человека по впечатлениям, самое позднее, первой половины 1746 года, перед своим отъездом из России. И портрет вырисовывается несолидный — подкаблучника, вечно чем-то недовольного. Действительно, настоящий лидер в семье Шуваловых — жена Мавра Егоровна, «наперсница государыни», «хитрейшая из всех», ненавидящая канцлера Бестужева. Муж ее побаивался и главу Иностранной коллегии осуждал поневоле. Зависимость от супруги была Шувалову-младшему не по нутру, и в раздражении он мог выкинуть какой-нибудь фортель. Так, осенью 1742 года при дворе разразился громкий скандал: Мавра Егоровна заподозрила мужа в адюльтере с камер-фрейлиной Варварой Алексеевной Черкасской, и тот не стал ее «разочаровывать».

В отличие от непутевого, зато любознательного младшего брата старший был немногословен, организован и надежен. Взявшись за дело, никогда не подводил, а потому служил шталмейстером — заведующим всем конным хозяйством Елизаветы Петровны еще в бытность ее цесаревной, а после переворота — телохранителем, став преемником А. И. Ушакова на посту шефа Тайной канцелярии. И привилегию прямого доступа к государыне в должности генерал-адъютанта Александр Шувалов получил раньше брата — 9 июня 1746 года. Не по его ли настоянию Шувалов-младший женился на фрейлине Шепелевой в двадцать с небольшим лет — чтобы было кому за ним присматривать?..

Двадцать седьмого июля 1744 года Елизавета Петровна отправилась из Москвы в Киев. На ночь остановилась в Коломенском. Там и пожаловала А. И. Румянцева, А. Б. Бутурлина и П. И. Шувалова в члены Сената. Два с половиной года она примеривалась, на каком поприще женатый «философ» принесет больше пользы. Посчитала, что в Сенате, и не ошиблась. Рано или поздно обе черты графского характера — склонность к брюзжанию и любознательность — проявились бы, произведя нужный эффект: коллеги,

поднаторевшие в заседаниях, не потерпели бы высказываемого Шуваловым недовольства и тем спровоцировали бы его на нестандартные идеи, способные освежить дискуссии. Так и случилось.

Около года Петр Иванович вживался в коллектив. С конца 1745-го сенатские протоколы начали фиксировать активность Шувалова в предложении чего-то неординарного — к примеру, досрочной, до окончания переписи населения, раскладки податей среди тех, кто уже был переписан, или уравнивания цен на соль и вино, увеличивающего в доходах бюджета долю косвенных налогов. Тогда от многого отмахнулись, не веря в продуктивность непривычных способов. Однако рост расходов в преддверии войны на несколько фронтов — с Турцией, Францией и Швецией — вынудил реанимировать проекты, сулившие существенное пополнение казны. В 1747 году они уже обсуждались всерьез, и на их основе в декабре 1749-го — феврале 1750 года стартовал процесс сокращения прямого налогообложения посредством расширения косвенного. В итоге правительство с 1751 года брало с каждой души подушных денег на три копейки меньше, а в декабре 1752-го простило податным сословиям недоимки за 23 года (1724–1747).

Прочитируем Карла Вильгельма Финкенштейна, высказавшего свое впечатление во второй половине 1748 года: «Шувалов, нынче первому министру помогающий как в делах сенатских, так и в интригах придворных... всеми качествами русского царедворца обладает — податлив, хитер и лжив без меры». За два года трусоватый брюзга преобразился в правую руку канцлера Бестужева. О покровительстве жены — ни слова, хотя та по-прежнему отъявленная интриганка и «у императрицы числится в любимицах». Вот что значит найти человеку правильное применение. Дальше страсть Петра Ивановича ко всему новому привела к упразднению в декабре 1753 года внутренних таможен и семнадцати таможенных сборов при повышении внешнеторговой пошлины до 13 копеек с рубля, созданию летом 1754-го дворянского и купеческого банков, кодификации законодательства в комиссии по составлению нового Уложения, проведению в масштабах страны межевания земель, оснащению русской артиллерии «единорогами», «близнятами» и секретными гаубицами^[93].

Между прочим, инициативу банковской реформы Шувалову приписывают напрасно. Первой о ней заговорила Елизавета Петровна на одном из заседаний Сената, а 1 мая 1753 года при встрече с Петром Ивановичем «всемилоостивейше повелеть соизволила Сенату, [как] для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить

государственной банк ис казенной суммы для дворянства со осторожностью тою, дабы оные надежны к возвращению быть могли, иметь разсуждение, всемилостивейше упоминая, что в высочайшее присутствие в Сенате о том разсуждать изволила, и сочиня подать всеподданнейший доклад». Министр просто развил августейшую идею, присовокупив к дворянскому банку коммерческий. Из текста распоряжения видно, зачем 13 мая 1754 года учредили эти заведения: не для модернизации отечественной промышленности, а всего лишь ради обуздания алчности ростовщиков, поднявших к тому времени ставки по ссудам до 20 процентов. Государственные шесть процентов поневоле побуждали частных кредиторов подстраиваться под официальную цифру, чтобы не растерять клиентов. Если учесть данное обстоятельство, то нарекания историков в адрес банков образца 1754 года уже не кажутся вполне обоснованными^[94].

Стоит заметить, что Шувалов — не единственный предприимчивый реформатор, выпестованный Елизаветой Петровной. Манифестами февраля 1762 года о ликвидации Тайной канцелярии, вольности дворянства и секуляризации церковных земель Россия обязана Дмитрию Васильевичу Волкову. А как он выбился наверх? Инсценировав собственное исчезновение. Сын секретаря Московской губернской канцелярии и Главного комиссариата Василия Борисовича Волкова записался в службу в июне 1742 года студентом при Коллегии иностранных дел, в 1745-м дорос там до юнкера, в 1747-м — до переводчика. 26 октября 1749 года канцлер выхлопотал ему у государыни ранг коллежского секретаря. Толковый и расторопный двадцатилетний парень приглянулся Бестужеву, тот сделал его личным секретарем. И всё вроде бы шло хорошо, как вдруг 3 декабря 1754 года обнаружилось, что чиновник двумя днями ранее сбежал неведомо куда.

Чего только не передумали за три дня, в течение которых выясняли, что с ним случилось. Чуть в шпионы не определили. Истина вызвала всеобщее недоумение. Волков спрятался в можайской деревне, боясь наказания за карточные долги, растрату двухсот казенных червонцев и какие-то канцелярские промахи. Как чиновник надеялся затворничеством в деревне уберечься от кары? Сам он вразумительного ответа не дал даже в покаянном письме на высочайшее имя, сочиненном по возвращении в Санкт-Петербург 18 декабря. Ссылался на безденежье, нищету семьи, стремление в бродяжничестве найти спасение от позора...

Какая участь ожидала секретаря при Петре I или Екатерине II? Император загнал бы штрафника куда-нибудь за Урал, а императрица

выгнала бы дурака из знатного учреждения. Дочь Петра по обыкновению «учудила» — 1 января 1755 года «всемиловейше отпусая ему сию отлучку, указала, чтоб он паки в прежнем его чине был и прежнюю должность отправлял». Пожалела? Но почему тогда в октябре 1756 года доверила «беглецу» заведовать канцелярией Высочайшей конференции и повысила до конференц-секретаря в ранге подполковника? Как мы знаем, Волков не подвел благотельницу, управлял секретариатом высшего совещательного органа на редкость искусно, а при Петре III и вовсе возглавил правительство.

Так что же — повезло? Или Елизавета Петровна расшифровала подлинную причину устроенного Дмитрием Васильевичем скандала? Ведь секретарь, по существу, сыграл ва-банк, предвидя скорое отстранение Бестужева от реального руководства внешней политикой России. Преемник Бестужева М. И. Воронцов Волкову нисколько не симпатизировал и постарался бы задвинуть в коллегии на малозначительную должность или откомандировать в какое-либо посольство. Поэтому секретарь канцлера и попробовал неординарным поступком обратить на себя высочайшее внимание, а значит, за время работы досконально изучил характер государыни, знал, что та пожелает докопаться до истины, после чего по достоинству оценит сообразительность молодого клерка. Это в результате и произошло.

По мельчайшим деталям, в том числе наблюдениям за карьерой И. И. Шувалова, Волков спрогнозировал неизбежность смены правящей партии — «английской» на «французскую», а вместе с тем и лидеров (Бестужева на тандем Шувалова — Воронцова) за полтора года до события и почти за год до визита в Санкт-Петербург шевалье Дукласа с предложением версальского двора о возобновлении дипломатических отношений. Ну разве можно было разбрасываться такими кадрами? К тому же с хорошим чувством юмора. Не кто иной, как Волков, посмеялся над еще одним брюзгой — историком Михаилом Щербатовым, шепнул князю по секрету: мол, дочь Петра понятия не имеет, «что Великобритания есть остров». А Михаил Михайлович поверил и потомкам рассказал...^[95]

Глава четырнадцатая

КАДРЫ: ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

О Павле Кондоиди, лейб-медике Елизаветы Петровны и директоре Медицинской канцелярии, нечасто пишут в трудах, посвященных «веселой царице», а в уважительном ключе и вовсе редко. В научно-популярной литературе доктор предстает заурядным придворным льстецом и искателем царской благосклонности; в специальной, по истории медицины, он выглядит по-другому, но кто ж ее читает... Между тем участковые или домашние врачи, роддома, инфекционные отделения, мединституты, медицинские библиотеки зарождались в России в ту легендарную эпоху развлечений и балов благодаря энергичным усилиям обрусевшего грека, выпускника Лейденского университета, снискавшего признательность фельдмаршала Миниха за наведение санитарного порядка в армии, воевавшей против турок и татар.

После воцарения Елизаветы Петровны военный доктор стал первым помощником Иоганна Лестока, помощником неудобным, с собственным взглядом на медицинские проблемы. В течение 1742 года, пока двор обретался в Москве, Павел Захарович отвечал за здравоохранение Северной столицы. Не прошло и полугода после возвращения императрицы, а вместе с ней и главного придворного медика, как Кондоиди (видно, крепко поспоривший с патроном) вернулся к прежнему месту службы — в расквартированные на Украине войска. Через полтора года Лесток оттаял и позвал строптивца обратно. С весны 1745 года по осень 1747-го на Кондоиди помимо врачебной практики лежало всё хозяйство Медицинской канцелярии. Подчас управлял медициной страны не Лесток, увлеченный большой политикой, а его заместитель.

Разумеется, в какой-то момент усидчивый доктор попал в поле зрения императрицы. 13 октября 1747 года высочайшее мнение о нем определилось: Кондоиди стал третьим придворным врачом после Лестока и Каау-Бургава. 13 ноября 1748 года заигравшийся в политику первый лейб-медик угодил под арест, чуть позже — в ссылку, благодаря чему 6 декабря Кондоиди поднялся на ступеньку выше. Наконец, 9 октября 1753 года, через два дня после смерти Бургава, Кондоиди официально возглавил Медицинскую канцелярию. 17 октября новый директор удостоился аудиенции императрицы. Похоже, на ней Павел Захарович изложил Елизавете Петровне свою концепцию реформы здравоохранения и получил

августейшее одобрение. Отметим еще один штрих в управленческом стиле Елизаветы Петровны: она не опутывала министра мелочной опекой, если не сомневалась в том, что он ясно и четко представляет, чего и как намерен добиться. Реформы Кондоиди — яркий тому пример.

Интересно, что в 1753 году государыня не поручила Павлу Захаровичу, как Лестоку и Бургаву, две должности, ограничившись одной — главы ведомства. Первым лейб-медиком грек стал только 8 марта 1754-го. Верно, в Кондоиди Елизавета ценила именно административный талант, не считая его лучшим доктором, в отличие от предшественников, которые были в первую очередь личными врачами императрицы и лишь во вторую — министрами. Судя по всему, за шесть лет общения с Кондоиди Елизавета ознакомилась в общих чертах с его планами переустройства всей медицинской системы империи и они ей понравились, оттого государыня нарушила традицию совмещения двух важных медицинских постов.

Больше всего новый главный врач носился с идеей участковых лекарей. Ее Елизавета Петровна и разрешила опробовать. Заручившись 17 октября царской поддержкой, директор без промедления приказал придворным лекарям лечить больных не в течение дежурства, сдавая при смене напарнику, а от начала недуга до выздоровления пациента. Свыше четырех месяцев государыня отслеживала ход эксперимента и, безусловно, финал ее не разочаровал, раз в итоге она поощрила Кондоиди постом первого лейб-медика.

С того дня Павел Захарович обрел полный карт-бланш на преобразования. Императрица не вмешивалась. Во взаимодействии с Сенатом директор Медицинской канцелярии за полтора года учредил службу государственных акушерок — «повивальных бабок» (апрель 1754 года), сформировал столичную группу врачей-инфекционистов, купировавших очаги заражения оспой, корью и другими болезнями (апрель — июнь 1755 года), разбил учебный процесс в госпитальных школах на семь лет занятий по предметным курсам (июль 1754 года), приступил к регистрации семейных врачей (декабрь 1755 года), ввел при дворе систему участковых врачей (июнь 1754 года), открыл вторую в государстве публичную библиотеку — медицинскую (9 января 1756 года). А кто же тогда наблюдал за августейшим здоровьем? Только благословив Кондоиди на свершения, Елизавета Петровна позаботилась о себе — в июне 1754 года выписала из Голландии отца и сына Гортеров, по многим отзывам прекрасных докторов. 8 сентября Иоганн Гортер стал вторым лейб-медиком, его сын Давид — третьим.

Семилетняя война замедлила реформирование российской медицины,

ибо пришлось целиком сосредоточиться на бесперебойном функционировании фронтовых и тыловых госпиталей в Польше, Восточной Пруссии и европейской части России. Тем не менее после смерти П. З. Кондоиди (30 августа 1760 года) Елизавета Петровна сохранила порядок, введенный в 1754-м: попечение о здоровье нации и государя в одних руках не совмещать. Медицинскую канцелярию возглавил помощник реформатора доктор Иван Яковлевич Лерхе, а за самочувствие царицы с 29 сентября 1760 года отвечали Джеймс Маунси и Иоганн Шиллинг, преемники Гортеров, летом 1758 года взявших абшид по старости отца семейства^{96}.

К слову, аналогично вела себя государыня и с главным командиром Дворцовой канцелярии Яковом Андреевичем Масловым. Ветеран Северной войны, воевавший под командованием М. М. Голицына в Финляндии, с 1736 года сменивший военное поприще на статское, руководивший с 1740 года Судным приказом, с весны 1744-го управлял огромным дворцовым хозяйством и... постоянно конфликтовал с шефом Придворной конторы Д. А. Шепелевым, вечно недовольным снабжением обслуживающего персонала разными припасами. В 1747 году Маслов даже завел особый журнал, где фиксировал все стычки с обер-гофмаршалом по разным поводам.

Естественно, о каждой вспышке высочайшего гнева из-за качества питания там тоже упоминалось. И вот что свидетельствует беспристрастный источник: прежде чем взыскать за оплошность, Елизавета Петровна всякий раз требовала найти истинного виновника, испортившего блюдо. Образ вздорной барыни, направо и налево отвешивающей оплеухи, увы, растиражированный в литературе с подачи Екатерины II, делопроизводственными документами не подтверждается. И в распрю двух сановников, несмотря на бесчисленные призывы одного и интриги другого, государыня вступать избегала. Ведь Шепелева волновал престиж царского двора, Маслова — состояние царского кошелька, первый тратил деньги, второй их копил. Споры и вражда двух чиновников рождали «золотую середину»: русский двор восхищал европейских и азиатских вояжеров роскошью, но не разорялся. И чтобы ненароком не нарушить сложившийся баланс, императрица предусмотрительно уклонялась от роли арбитра в дуэли двух знающих свое дело администраторов^{97}.

Впрочем, профессионализм еще не гарантировал тому или иному соратнику дочери Петра безоблачное будущее. Не меньше, если не больше значила совесть. В этом пришлось убедиться Василию Ивановичу

Демидову. Замечательный бюрократ, которому поверялись бесчисленные политические тайны императрицы, весьма влиятельная фигура среди царского окружения, он заслуженно метил в преемники И. А. Черкасова и после кончины последнего 21 ноября 1757 года тут же отдал первые распоряжения в качестве начальника Кабинета. Елизавета Петровна, прослышав о том, возмутилась и 22 ноября отправила вице-капрала Лейб-компания Николая Рославлева в дом советника с выговором за вступление в руководство царским секретариатом явочным порядком. Кроме того, посланец предупредил Демидова, что отныне ему запрещается участвовать в деятельности личной канцелярии государыни. Фактически Василия Ивановича выпроводили в отставку. За что?

Оказывается, годом ранее помощник Черкасова не просто не пустил на свой двор постояльцев, как того требовал закон, а пригрозил полицейской команде: «...впредь, кто придет постой ставить, будет выталкивать в шею», — и, словно в насмешку, соорудил на дворе дополнительные помещения, не согласовав проект с полицией. 13 ноября 1756 года генерал-полицмейстер А. Д. Татищев за обеденным столом пожаловался на Демидова Елизавете Петровне. Императрица отреагировала мгновенно: «В дом ево, действительного статского советника Демидова, постой за ту ево противность по числу находящихся в доме ево покоев поставить вдвое. А ежели у него особливых для того постоев покоев нет, то оной постой ввесть в собственные ево покои. А построенное им, Демидовым, бес позволения главной полиции на дворе ево строение по силе имянного 1715 году сентября 14-го дня указу сломать»^[98].

Похоже, сим фактом сановного чванства лучший бюрократ страны испортил себе карьеру. Государыня подобной заносчивости не терпела. Замену Демидову она подыскивала без малого два года и в конце концов выбрала Адама Васильевича Олсуфьева. Выпускник кадетского корпуса угодил на военную службу и, чувствуя к ней отвращение, несколько лет добивался перевода на «гражданку», попутно вел иностранную переписку у фельдмаршала Миниха, затем у И. И. Неплюева, сопровождал посольства И. А. Корфа в Копенгаген. Мечта сбылась 25 октября 1742 года: по ходатайству Бестужева Сенат переименовал поручика Олсуфьева в коллежского секретаря при русском посольстве в Дании. На родину он возвратился осенью 1746 года и не без хлопот со стороны канцлера удостоился высочайшего внимания. В феврале 1752-го Елизавета Петровна дважды отличила его: в первой декаде месяца пожаловала в церемониймейстеры, а в третьей сделала членом Иностранной коллегии, присутствующим в Секретной экспедиции. Оттуда 19 октября 1758 года

дипломат и перешел в императорский Кабинет, где справлялся с новыми обязанностями столь же успешно (недаром Екатерина II назначила Олсуфьева статс-секретарем)^{99}.

Но бывало, что Елизавета Петровна ошибалась с опалой. Один из пострадавших — Василий Федорович Братищев, выпускник Славяно-греко-латинской академии, с 1734 года студент при российской миссии в Персии, изучающий арабский и персидский языки. В 1742 году, будучи переводчиком, возглавил миссию, а 13 мая 1743-го по ходатайству Бестужева обрел ранг резидента. Однако вскоре на молодого человека посыпались доносы: «...оной... едва ли не весь шаховой стороне преданным находится... с Хулефою (первым министром шаха Надира. — К. П.) и другими персиянами крайнюю дружбу имеет».

Двадцать второго июня 1745 года поверивший извечникам канцлер убедил императрицу, что Братищев — изменник, которого надо осторожно выманить из Персии, когда туда приедет посол Голицын. Так и поступили. Адмирал добрался до Решта в апреле 1747-го, а в июле вернулся в Астрахань. Тогда же Каспий переплыл и Братищев, не подозревая, что на родине угодит под следствие. Немилость продлилась восемь с половиной лет. Без жалованья, работы и под подозрением Василий Федорович в Санкт-Петербурге томился неизвестностью, периодически посещая здание Двенадцати коллегий, чтобы справиться, нет ли высочайшей резолюции. Ожидание завершилось реабилитацией 30 мая 1756 года: в один день его повысили в чине до канцелярии советника, назначили послом в Китай и предписали выплатить жалованье за девять простояных лет по ставке 600 рублей в год.

В Пекине и Жехе, летней резиденции богдыхана под Хара-Хото, Братищев пробыл с 29 августа до 4 октября 1757 года и за столь малый срок умудрился разрядить напряженность, возникшую в русско-китайских отношениях после оккупации китайцами Джунгарского ханства, жители которого потоком хлынули в Россию и нашли здесь убежище, к большому неудовольствию главы Срединной империи. Под конец визита император уже не возражал против приезда в Пекин новой партии русских учеников, желающих выучить маньчжурский и нанкинский языки. Русско-китайский дипломатический протокол предусматривал всего три официальных ранга — великого посла, директора торгового каравана и курьера. Поскольку первой отправлять посла Елизавета Петровна не хотела, а формирование седьмого каравана отложили до завершения джунгарского кризиса, Василий Федорович приехал в Китай всего лишь «под именем

куриера»^{100}.

Сослуживец Братищева, пожалованный в канцелярии советники 31 мая 1756 года, Федор Иванович Чернев, такой же закоренелый холостяк, не имевший крепостных и деревень, был «рабочей лошадкой» елизаветинской дипломатии, трудоголиком, умел снискать уважение в стране пребывания, но оставался вечным секретарем. В этой должности он отправился в Данию в 1740 году. Два года спустя его перебросили в Пруссию, в 1744-м — в Швецию (временным поверенным, готовить приезд первого посланника Л. Любераса), в 1745-м — опять в Данию (на время отлучки Корфа в Голштинию), в 1746-м — в Саксонию, в 1747-м — в Австрию.

В Вене Чернев задержался до 1754 года. Посол М. П. Бестужев-Рюмин (1749–1752), родной брат канцлера, познакомился с ним еще в Берлине, а в австрийской столице сильно привязался к нему и не хотел расставаться, когда пришлось переехать в Саксонию, в Дрезден. В сентябре 1753 года Михаил Петрович добился перевода Чернева к себе «для препровождения в возвратном... пути» в Россию, и с тех пор они уже повсюду ездили вдвоем. Летом 1755 года вместе вернулись в Санкт-Петербург и осенью 1756-го поспешили во Францию. Там Михаил Бестужев и скончался на руках Чернева 26 февраля 1760 года. Федор Иванович, переживший патрона на 11 лет, умер тоже в Париже 6 марта 1771 года в особняке трактирщика Лионе на улице Сен-Дени.

Интересно, что М. И. Воронцов, узнав в декабре 1760 года о смерти русского посла в Голландии А. Г. Головкина, в первую очередь вспомнил о Черневе, думая отправить его в Гаагу поверенным в делах, пока императрица решит, кому быть послом. Однако в итоге Париж покинул титулярный советник Н. К. Хотинский. Не отказался ли Чернев от поручения, весьма обидного, учитывая его прошлые заслуги? С другой стороны, и Елизавета Петровна, и Воронцов дорожили им именно как дипломатом, которого при форс-мажоре можно перебросить с тихого участка на «горячий», а в спокойное время держать в резерве в одной из главных столиц — Вене, Париже, Берлине или Лондоне. Потому, верно, и не назначили даже резидентом в Гамбурге или Гданьске, ибо, в отличие от секретаря, резидент, не говоря уже о посланнике и после, прежде чем уехать на новое место службы, должен соблюсти все тонкости этикета и непременно дожидаться прощальной аудиенции. В общем, с Черневым приключилась та же беда, что и с И. Н. Рудаковым, «вечным» командиром дворцового караула^{101}.

Судьбе было угодно, чтобы лучший посольский секретарь Российской

империи начинал и заканчивал карьеру под руководством лучшего посланника Петра Григорьевича Чернышева. В 1741 году они встретились в Копенгагене, в 1742–1744 годах сотрудничали в Берлине, а в апреле 1761-го вновь свиделись в Париже. Если секретаря использовали при чрезвычайных обстоятельствах организационного плана (при отсутствии в нужной столице постоянного дипломатического представителя), то посланника кидали в самые кризисные точки континента. Таковой в первые годы правления Елизаветы Петровны являлась Пруссия. Императрице требовалась объективная информация о короле, взорвавшем европейское равновесие, и Чернышев за четыре года удовлетворил ее интерес. После присоединения России в мае 1746 года к австро-английскому блоку августейшее внимание привлекал в первую очередь Лондон — наиболее слабое звено антипрусской коалиции. Присматривать за британским правительством и, по возможности, пресекать негативные тенденции пришлось опять-таки Чернышеву, в сентябре 1746 года переправившемуся через Ла-Манш.

К 1754 году императрица завершила подготовку к весьма вероятной переориентации с Англии на Францию, и Петру Григорьевичу позволили отдохнуть. В октябре 1755-го семья графа возвратилась в Санкт-Петербург. В течение года, до отправки Бестужева в Париж, Чернев и Чернышев вполне могли общаться. В третий раз государыня мобилизовала своего главного дипломата в июле 1760-го. Понимая, что молодой Д. М. Голицын, в 1759 году прикомандированный к больному Бестужеву, не сумеет предотвратить франко-прусские сепаратные переговоры, прикрывать новое уязвимое направление императрица послала опять же Чернышева. Петр Григорьевич выполнил задание — до воцарения Петра III Франция мир с Пруссией не заключила. А в 1762 году его пребывание в Париже утратило смысл, и вскоре он выехал в Россию^{102}.

Чернышев в 1746 году сменил на посту российского посланника в Англии Ивана Андреевича Щербатова, видного дипломата, посланного самим Петром Великим в Испанию торговым консулом в Кадиксе и чуть позже ставшего российским полномочным министром при мадридском дворе. Нетрудно догадаться, что Щербатов питал слабость к коммерции. Недаром царь долго колебался в выборе места службы для молодого человека, несколько лет за свой счет изучавшего науки в Европе. После года службы в Иностранной коллегии и года в Коммерц-коллегии появился «кадикский» компромисс.

При Анне Иоанновне склонность Щербатова к коммерции практически не использовалась. Елизавета Петровна не сразу поняла, в чем

сильная сторона князя, и летом 1743 года вернула его туда, откуда отозвала в 1741-м — в Великобританию, хотя еще 8 февраля Сенат выдвинул дипломата кандидатом в обер-президенты Главного магистрата, причем главный соперник Щербатова князь Василий Петрович Хованский 21 февраля взял самоотвод якобы по болезни. Императрица, ознакомившись с сенатским докладом, сообразила, что дело не в болезни, сочла претензии Щербатова необоснованными и 21 мая 1743 года поручила магистрат именно Хованскому, а Ивана Андреевича поспешила выпроводить за границу.

Дипломатическая командировка завершилась через три года. В январе 1747-го Щербатов возвратился в Россию и больше года надеялся на то, что теперь-то ему повезет занять должность обер-президента Главного магистрата, освободившуюся со смертью Хованского 29 декабря 1746 года. Напрасные надежды! Елизавета Петровна к тому времени разобралась, в чем состоят таланты Ивана Андреевича, и нашла им оптимальное применение — отправила сановника в Сенат, где имелся более широкий простор для его самореализации при обсуждении вопросов коммерции и дипломатических проблем.

Правда, государыне пришлось смириться с одним недостатком нового сенатора — пристрастностью. Если задевались интересы близких князю лиц, он голосовал в их пользу, а не по совести. Елизавета Петровна сразу подметила эту черту, но какое-то время молчала. К сожалению, Иван Андреевич доброту государыни истолковал неправильно. 15 марта 1751 года терпение императрицы иссякло: вникнув в очередной сенатский вердикт и в протест на него Щербатова, она предписала обер-прокурору Н. Г. Жеребцову «объявить... князю Щербатову... чтоб он... впредь голоса свои веема осмотрител нее и сходнее регулам подавал и болше б знал Сенат, а не Военной коллегии держался, ибо и прежде поданными ево, сенатора князя Щербатова, голосами Ея Императорское Величество недоволна». Судя по всему, реприманд произвел на князя должное впечатление^{103}.

Пристрастность иного рода отличала другого соратника «веселой царицы» — Алексея Даниловича Татищева. Боевой офицер-преображенец, денщик Петра Великого с 1718 года, затем камер-юнкер двух императриц — Екатерины Алексеевны и Анны Иоанновны, Татищев не знал меры, заботясь о благополучии родных — матери Ульяны Андреевны, братьев Афанасия и Сергея, сестры Прасковьи, по мужу Дашковой, своих детей, племянников и т. д. Овдовев, придворный сошелся с собственной крепостной Аграфеной Савиной и любил ее так, что мог испортить жизнь

любому ее обидчику — и простолюдину, и дворянину В феврале 1740 года в дни празднования окончания Русско-турецкой войны Анна Иоанновна пожаловала Татищеву чин камергера, а спустя пять лет, 21 октября 1745-го, Елизавета Петровна поручила ему важный пост генерал-полицмейстера, сиречь министра внутренних дел.

На новом поприще Татищев проявил себя с наилучшей стороны, если, конечно, служебные интересы не пересекались с интересами семьи. Похоже, дочь Петра, подметив хватку придворного в опеке дражайших родственников, рассчитывала на ту же ревность Татищева в новой роли ответственного госслужащего и не обманулась. Алексей Данилович весьма добросовестно смотрел за порядком в столице: за уборкой нечистот, за колебаниями уровня воды в Неве, за регулярностью жилой застройки. Выше говорилось, за что пострадал действительный статский советник Демидов. И он не исключение. Генерал-полицмейстер не давал спуска никому, какой бы ранг или статус ни имел нарушитель. К примеру, лейб-компанцы, наводившие страх на петербуржцев сумасбродным, задиристым поведением, Татищева боялись — генерал штрафовал их с особой суровостью.

Кстати, именно Алексею Даниловичу принадлежит заслуга разоблачения знаменитой московской коррупционной группы. О ней частенько упоминают в литературе, расписывая «подвиги» главного героя Ивана Осипова — Ваньки Каина, крепостного мужика купца П. Д. Филатьева, сбежавшего от хозяина, промышлявшего воровством, а 27 декабря 1741 года сдавшегося властям в надежде на амнистию, провозглашенную накануне манифестом Елизаветы Петровны. Попутно Каин навел полицию на притоны, где скрывались три десятка его товарищей. Успех акции надоумил кого-то из членов Сысского приказа, судя по всему, асессора Афанасия Яковлевича Сытина, провести эксперимент: доверить искоренение уголовной преступности в Москве бывшему вору. Эксперимент, естественно, провалился.

Став официальным «доносителем» Сысского приказа, заработав очки на поимке более ста профессиональных воров и мошенников, Каин постепенно превратил свою должность в доходное место. Не покушаясь на имущество и покой дворянства и чиновничества, он вымогал деньги и вещи у тех, кто не принадлежал к высшим классам. Преступный мир истреблял избирательно: сотрудничавших с ним «воров» покрывал, неподконтрольных вылавливал. Лояльность мелких клерков Сысского приказа Осипов купил, а покровительство главных судей того же ведомства заслужил регулярными арестами разного неблагонадежного люда и

угодливостью; в общем, сотворил в Москве мафиозную структуру.

Ее-то и разгромил А. Д. Татищев по приезду в Москву в декабре 1748 года (кстати, впервые в качестве генерал-полицмейстера). 20 января 1749-го он ознакомился с жалобой солдата Федора Тарасова, у которого «доноситель» похитил юную дочь, и тут же распорядился взять Каина под стражу. В подоплеке дела разобрался быстро и уже 19 марта рекомендовал императрице образовать специальную комиссию для детального расследования разбойной сети. Следствие длилось шесть лет и завершилось в 1756 году наказанием Каина по статье, заменившей смертную казнь: ему после битья кнутом вырезали ноздри, прижгли на лбу и щеках три буквы, затем отослали на каторгу в Рогервик. И вот парадокс истории. Ваньку Каина народ запомнил, а Алексея Татищева и Афанасия Сытина — нет. Не оттого ли, что оба чиновника, в отличие от вора «при Балтийском порте^[4] в 1764 г.», «автобиографий» не сочиняли?..^{104}

Глава пятнадцатая

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Ежегодно 25 января российские студенты отмечают свой праздник. Центром торжеств неизменно становится Московский государственный университет. Ведь именно это учебное заведение было основано в день Святой Татианы в далеком 1755 году, когда Елизавета Петровна подписала указ о создании Императорского университета в Москве. В исторических трудах часто вспоминают легенду о том, что царица специально приурочила апробацию учредительных документов ко дню ангела матери основателя университета Татьяны Родионовны Хитрово (?—1756), урожденной Ротиславской, в первом браке Шуваловой.

Что ж, возможно, совпадение дат действительно неслучайно. Однако при внимательном прочтении высочайшей резолюции на сенатском докладе обнаруживаются куда более интересные вещи: «Быть по сему. Кураторами быть камергеру Шувалову и Лаври[н]тию Блюментрос[т]у, директору — Алексею Аргамакову. А в дополнение штата о[т]дается [в] волю кураторов». Почему кураторов два? О каком «дополнении штатов» идет речь? И почему императрица разрешила «дополнять», то есть изменять ею же утвержденный штат?

Второй куратор — Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост, человек преклонных лет, некогда лейб-медик Петра Великого и президент Петербургской академии наук, а в описываемое время старший доктор московского госпиталя, имевший немало обязанностей на основной службе. В университете он, безусловно, являлся бы фигурой декоративной^{105}. Но тогда зачем Шувалову напарник? Не затем ли, чтобы в дуэте составить коллегию, аналогичную Военной, Иностранной, Адмиралтейской, Камер-, Берг-и др.?

Парадокс, но открыто сформировать соответствующую коллегию Елизавета Петровна не могла, ибо под нее пришлось бы изымать учебные заведения из подчинения разных учреждений, что неминуемо породило бы конфликт между новой и старыми структурами. Достаточно перечислить имена тех, чьи интересы задевала реформа: гетман К. Г. Разумовский (гимназия и университет при Академии наук, полковая школа измайловцев), тайный советник Б. Г. Юсупов (Сухопутный кадетский корпус), адмирал М. М. Голицын (московская навигацкая школа,

петербургские Морская академия и гардемаринская школа), генералы И. Ф. Глебов, А. П. Ганнибал и П. И. Шувалов (военно-инженерная и артиллерийская школы), архиепископы Новгородский Стефан Калиновский, Петербургский Сильвестр Кулябка и Московский Платон Малиновский (Александрово-Невская семинария, Славяно-греко-латинская академия, Крутицкая семинария и сеть епархиальных семинарий), генералы С. Ф. Апраксин, А. Б. Бутурлин и А. Г. Разумовский (полковые школы преображенцев, семеновцев, конногвардейцев), генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой (сенатская школа для юнкеров разных коллегий), лейб-медики Г. Бургав и П. Кондоиди (четыре столичные госпитальные школы). Понятно, какое мощное лобби поспешили бы сколотить названные лица, чтобы саботировать работу «школьной» коллегии.

Причем угадать лидера этой оппозиции в 1755 году не составляло труда — Петр Иванович Шувалов, откровенно метивший в кураторы Сухопутного кадетского корпуса, планировавший превратить его в подготовительный курс для устраиваемого по европейским стандартам «училища военных наук», выпускающего элитных младших офицеров. 24 марта 1754 года Сенат провел первое слушание проекта, окончательное — 27 октября 1755-го и единодушно одобрил инициативу, так как Шувалов нимало не покушался на права полковых школ в гвардии, армии и гарнизонах. А о том, что тем самым офицерский корпус разбивался бы на две касты — высшую (воспитанников нового училища) и низшую (в ней оказались бы и А. В. Суворов с Г. А. Потемкиным), сенаторы как-то не задумывались. Разумеется, их предприимчивый коллега использовал бы все рычаги влияния для нейтрализации программ конкурентов.

Таким образом, в России в середине XVIII века сложились не очень благоприятные условия для создания единой системы высшей и средней школы. Прямолинейный путь почти не имел шансов на успех. А обходной — посредством маскировки новой коллегии под «ректорат» университета? Как и любая другая коллегия, эта тоже обладала бы прерогативой на «дополнение штата», то есть на реорганизацию и расширение — конечно, с санкции Сената. За несколько лет ей без лишнего шума предстояло, во-первых, найти оптимальную модель школы низового уровня, для губернских и уездных городов; во-вторых, завести высшие учебные заведения в отраслях знаний, не представленных ведомственными «институтами». Параллельно через слияние разных школ конкретной отрасли и назначения в заинтересованные учреждения командиров, лояльных реформе, создавались бы предпосылки для первого шага к введению единой общегосударственной системы образования.

Велик соблазн связать данную стратегию с именем И. И. Шувалова. Однако ряд фактов свидетельствует о том, что не он руководил процессом. В декабре 1752 года три морские школы — навигацкая, гардемаринская, Морская академия — становятся Морским кадетским корпусом. В августе 1758-го объединяются артиллерийская и военно-инженерная школы. В октябре 1759 года при дворе появляется Пажеский кадетский корпус. В 1751 году Кабинет императрицы учреждает при Колывано-Воскресенских заводах первую провинциальную медицинскую школу. В сентябре 1751-го российский посол в Вене Людовик Ланчинский присылает И. А. Черкасову устав австрийской «академии живописного, резного и архитектурного художеств».

Причастность личной канцелярии Елизаветы Петровны к расширению государственной учебной сети, практическая синхронность создания аналогов Сухопутного кадетского корпуса для пажей, моряков, инженеров и артиллеристов (с ликвидацией дублирующих структур) прямо намекают на то, что за И. И. Шуваловым стояла более влиятельная персона, заранее рассчитавшая программу плавной замены раздробленной ведомственной системы обучения единой общегосударственной. По-видимому, в 1751 году завершилась ее разработка и определились ключевые исполнители — М. М. Голицын, П. И. и И. И. Шуваловы. Государыня изящно превратила первых двух сановников из противников реформы в ее проводников: и адмирал, и генерал, вряд ли подозревая о конечной цели, просто исполнили, каждый в своем ведомстве, поручение императрицы по централизации учебного процесса.

В случае с Петром Ивановичем Елизавета Петровна прибегла к маленькой хитрости — направила реформаторскую энергию сенатора в конструктивное русло: вместо проведения экспериментов над Сухопутным шляхетским кадетским корпусом велела взять под опеку инженерную и артиллерийскую службы, включавшую, помимо прочего, воспитание новых офицерских кадров. Сенат проголосовал за учреждение военной академии 27 октября 1755 года, а 31 мая 1756-го царица назначила генерал-фельдцейхмейстером (главнокомандующим русской артиллерией) П. И. Шувалова. Слияние артиллерийской и инженерной школ состоялось 22 августа 1758 года. А 12 февраля 1759-го шефом Сухопутного шляхетского корпуса неожиданно стал великий князь Петр Федорович, с которым Шувалову, естественно, тягаться было крайне тяжело.

Кстати, идея объединения двух учебных заведений принадлежала А. П. Ганнибалу, и по логике именно ему следовало доверить это дело. Однако требовалось отвлечь П. И. Шувалова от Сухопутного корпуса, и 14 декабря

1755 года Военная коллегия (С. Ф. Апраксин и П. С. Сумароков) рекомендовала в командиры канцелярии главной артиллерии и фортификации не Абрама Петровича, а Петра Ивановича. Как поступить с крестником отца, государыня не знала. Думая развести двух «медведей» по разным «берлогам», она 25 декабря 1755 года переименовала генерал-майора инженерных войск Ганнибала в армейского генерал-лейтенанта и предписала ему ехать губернаторствовать в Выборг. Правда, уже спустя два дня почетная ссылка была отменена, после чего Ганнибал около полугода обретался генералом от армии среди артиллеристов и инженеров, пока 4 июля 1756-го не удостоился нового звания в рамках старого ведомства — генерал-инженера, то есть командующего всеми инженерными частями России на правах первого заместителя Шувалова^{106}. Так причудливо елизаветинская реформа образования отразилась на судьбе прадеда А. С. Пушкина.

Впрочем, жизнь другого человека из-за нее претерпела метаморфозы совсем удивительные. О фаворе Ивана Ивановича Шувалова бытует много легенд. Самая популярная связывает политический взлет скромного и нечестолюбивого юноши с интригами Мавры Егоровны Шуваловой. Иная версия выдвигает в «первые двигатели» шуваловского «случая» великую княгиню Екатерину Алексеевну, якобы сблизившуюся с ним на почве любви к чтению и непрестанно поощрявшую стремление молодого придворного к самообразованию. Но не стоит слишком доверять досужим сплетням и тем более словам того, кто всей душой ненавидел «русского Мецената». К тому же в нашем распоряжении есть беспристрастные свидетели, прежде всего делопроизводственные документы Придворной конторы. В одной из подшивок, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов под № 61190, среди множества списков придворных находится отчет учителя пажей Иоганна Фрейслебена об успеваемости его подопечных. Только почему он лежит не вместе с аналогичными отчетами, не в бумагах пажеского гофмейстера, а среди совсем других документов? Судя по всему, его по какой-то причине изъяли из «родного» собрания, а после использования не вернули обратно. Дата на нем — 17 апреля 1748 года. Очевидно, рапорт предшествовал массовому выпуску пажей в офицеры и пожалованию И. И. Шувалова в камер-пажи (8 сентября 1748 года).

Фрейслебен докладывал о знаниях пажей обер-гофмаршалу Д. А. Шепелеву. А кому мог докладывать глава Придворной конторы? Императрице. Ей же сведения об успеваемости пажей понадобились, чтобы... выбрать того, кто, во-первых, под видом юного царского фаворита

займет место лидера профранцузской фракции в правительстве, во-вторых, поможет ей с реорганизацией системы образования. Наилучших результатов в обучении, согласно ведомости гофмейстера, достиг паж «Иван меншей Шувалов»: «...совершен во французском языке, изрядно говорит по-немецки, учил историю, географию, арифметику, геометрию и немного фортификации». С ним и пожелала познакомиться поближе Елизавета Петровна. Как мы знаем, знакомство ее не разочаровало. Молодой человек с удовольствием исполнял важную миссию и, похоже, был не марионеткой, а товарищем и единомышленником «веселой царицы».

Его испытательный срок длился менее года. 4 сентября 1749-го двадцатилетний камер-паж (чин равнялся капитанскому в армии) с ходу пополнил ряды генералитета, став камер-юнкером (что приравнялось к армейскому бригадиру), после чего приступил к исполнению своих главных обязанностей: для начала — к поиску в Академии наук готового к сотрудничеству профессора^{107}. Содействие последнего требовалось, во-первых, для мирного переподчинения Петербургского университета будущей коллежской структуре, во-вторых, при основании нового, Московского университета. Наверняка изучением ситуации, сложившейся внутри академии, камер-юнкер занялся еще в Москве, где императрица провела 1749 год. Приватные беседы с Г. Н. Тепловым, наперсником президента Академии наук К. Г. Разумовского, вполне могли привлечь внимание молодого фаворита к М. В. Ломоносову, ученому-стихотворцу с репутацией скандалиста, благо осенью 1749 года вокруг него разгорелись новые страсти. Отсутствие отчества Шувалова в газетном сообщении о пожаловании камер-пажу камер-юнкерского чина рассердило государыню. Теплов, наведя справки, назвал виновником выпускающего редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» Ломоносова. Хотел насолить «заклятому другу» — и ошибся.

Когда 20 декабря императрица возвратилась в Санкт-Петербург, Шувалов не преминул встретиться с «обидчиком» и очень быстро завел с ним приятельские отношения. То, что Иван Иванович действовал не по собственной инициативе, подтверждает на редкость быстрое получение Ломоносовым высочайшей аудиенции в Царском Селе, состоявшейся уже 27 августа 1750 года. Причем царица не ограничилась общими фразами и дежурным пожалованием к руке, а поинтересовалась мнением профессора о состоянии российской науки — иначе тот не воскликнул бы в специально сочиненной по сему случаю оде: «Но истинно Петрова Дщерь к наукам матерски снисходит!» Мало того, академик и императрица коснулись в

разговоре и русской истории. Михаил Васильевич рассказал о своем замысле написать трагедию, посвященную Куликовской битве, и, похоже, тем окончательно подкупил Елизавету Петровну. Она одобрила предложенную Шуваловым кандидатуру на роль куратора Петербургского университета.

Впрочем, прежде им надлежало создать новый университет в Москве, больше того — продумать основы высшего российского образования. В 1748 году профессор Г. Ф. Миллер внес на рассмотрение академической канцелярии проект регламента Петербургского университета. Полгода документ обсуждался его коллегами, в том числе и Ломоносовым, считавшим, что необходимо учредить университет с тремя факультетами (юридическим, медицинским, философским). В январе 1749 года И. Д. Шумахер отослал проект и рекомендации на апробацию в Москву. Ответ был неожиданным. 10 августа 1750 года с подачи Г. Н. Теплова и по ордеру К. Г. Разумовского, озвучившего высочайшую точку зрения, академические университет и гимназия зажили по временной инструкции^{108}.

Итак, с осени 1750 года до весны 1754-го Ломоносов и Шувалов подготовили проект университетского устава. Первым о нем заговорил конечно же Иван Иванович в одной из бесед с ученым. Ломоносов с энтузиазмом поддержал идею и вскоре получил от покровителя черновик ее обоснования, адресованного Сенату. Академик немедленно снабдил Шувалова предложениями по университетской конституции, которые делал еще в 1748 году. Менее опытный Иван Иванович не возражал, и ломоносовская схема послужила каркасом российской модели университета. Они тщательно отшлифовали все детали, и в июле 1754 года документ, включавший 45 параграфов, был представлен сенаторам, 19-го числа получил их одобрение, а 22-го — подписи и законным порядком был отправлен на утверждение императрице.

Елизавета Петровна ознакомилась с ним еще до конца месяца, но что-то ей не понравилось, из-за чего процитированная выше августейшая резолюция появилась на полях лишь спустя полгода. Какое из положений документа заронило сомнения, неизвестно, но, скорее всего, это была либо статья пятая (относившая историю к философскому, а не юридическому факультету), либо 44-я (о порядке «пополнения» устава новыми пунктами).

Задержка с утверждением проекта не помешала решению «жилищного» вопроса: 8 августа 1754 года императрица определила местом пребывания учебного заведения здание бывшей аптеки у Воскресенских ворот. Что касается затянувшихся колебаний, то их преодолели после консультаций с Блюментростом. Тот по именному

повелению «для конференции» выехал из Москвы 4 или 5 января 1755-го, Петербурга достиг между 8 и 12 января, без проволочек попал на прием к Елизавете Петровне и, судя по всему, помог разрешить августейшие сомнения, раз вместе с И. И. Шуваловым тут же удостоился членства в новой правительственной структуре. 17 января в придворной церкви оба присягнули на верность царице в новой должности. К сожалению, их партнерство на ниве реформы образования не успело сложиться — 27 марта Лаврентий Лаврентьевич скончался.

Увы, к торжественному открытию Московского университета 26 апреля «коллегия просвещения» де-факто уже не существовала. Но главное, что она функционировала де-юре, и когда наступил кульминационный момент, не замедлил появиться другой номинальный куратор — Федор Павлович Веселовский, специально отозванный из отставки 21 августа 1760 года. Пока же всю рутину непосредственного руководства университетом взял на себя коллежский советник Алексей Михайлович Аргамаков, член Мануфактур-коллегии и сотрудник комиссии по составлению нового Уложения. И. И. Шувалов в декабре 1754 года пригласил его в Петербург без объяснения причины и лишь при личной встрече сделал заманчивое предложение стать директором Московского университета.

Понадобилось три года, чтобы поставить на ноги центральное учебное заведение. В апреле за парты сели питомцы двух гимназий — для дворян и разночинцев. В июле 1755 года слушать лекции пришли студенты философского факультета, а юридический и медицинский возникли в августе 1758-го. Накопленный опыт позволил перейти к следующему этапу — отработке оптимальной модели провинциальной гимназии. Полигоном выбрали Казань. 13 июля 1758 года Сенат санкционировал инициативу И. И. Шувалова. Директором Казанской гимназии назначили помощника директора Московского университета коллежского асессора Михаила Ивановича Веревкина. Он приехал к месту службы 19 января 1759 года, а уже 25 января казанские гимназисты приступили к занятиям. Через год Иван Шувалов имел на руках нужные данные для доклада, раскрывавшего смысл всех мероприятий, проведенных им с 1750 года^[109].

Третьего ноября 1760 года сенаторы ознакомились с проектом реформы системы российского образования, предусматривавшей введение единого для всех дворян трехступенчатого обучения:

1. Столичные высшие учебные заведения (кадетские корпуса, университеты).
2. Дворянские гимназии в губернских и крупных уездных центрах с

преподаванием европейских языков и «оснований» наук.

3. Дворянские школы в прочих городах с изучением русской грамматики и арифметики.

К тому времени проблема переподчинения важнейших ведомственных «вузов» практически была урегулирована. С 16 декабря 1756 года Сухопутный шляхетский корпус контролировал в должности корпусного полковника добрый приятель Ивана Шувалова бригадир Алексей Петрович Мельгунов, которого 12 февраля 1759 года защитил собственным высоким статусом великий князь Петр Федорович. 19 января 1760 года полномочным главой Петербургского университета и гимназии стал М. В. Ломоносов, за 1758–1759 годы на правах члена академической канцелярии реорганизовавший обе структуры по «московским» принципам. 25 октября 1759 года возник Императорский пажеский корпус под управлением швейцарца-гофмейстера Теодора Генриха Чуди, бывшего у Ивана Шувалова секретарем и редактором основанного в 1755 году и издававшегося на французском языке журнала «Литературный хамелеон». Судя по высочайшей инструкции, корпус задумывался как элитное учебное заведение наподобие британских Кембриджа или Оксфорда, воспитывающее разносторонне развитых и ответственных молодых людей, которые должны были прийти на смену чиновникам, урывками учившимся при Сенате «чему-нибудь и как-нибудь». После отъезда Чуди за границу (1760) обучением пажей руководил учитель немецкого языка и физики Иоганн Филипп Литке, с 1755 по 1759 год преподававший в гимназиях Московского университета. Наконец, 23 октября 1757-го куратор Шувалов, используя привилегию на «дополнение штата», провел через Сенат создание в Петербурге общегосударственной Академии художеств в пику разрозненным «ремесленным училищам» живописцев, архитекторов, скульпторов и т. д., имевшимся, во-первых, при Академии наук, во-вторых, чуть ли не у каждого мастера того или иного направления искусства (в число пострадавших попала и авторитетная школа архитектора Д. В. Ухтомского, в 1749–1764 годах работавшая в Москве).

Четырем из вышеперечисленных «институтов» первой очереди (Сухопутному кадетскому корпусу для военных, двум университетам для гражданских, Академии художеств для творчески одаренных), о которых и шла речь в шуваловском представлении Сенату, предстояло, перейдя под власть куратора Императорского Московского университета (читай — президента Коллегии образования), наладить механизм обеспечения армии и госучреждений достойными кадрами. Учебные заведения, отвечавшие за подготовку специалистов особых квалификаций (Морской, Инженерно-

артиллерийский, Пажеский корпуса), судя по всему, ожидало то же, но позднее. Самое интересное, что гимназии и школы, похоже, назывались дворянскими номинально, ибо в них могли бы учиться, пусть и отдельно от дворян, юноши всех сословий, за исключением крепостных (разумеется, при наличии необходимой для содержания денежной суммы), потому что именно такую практику завели гимназии Московского и Петербургского университетов, которым конечно же старалось бы подражать большинство провинциальных школ (в Казанской гимназии разночинное отделение появилось 10 мая 1759 года).

Итогом сенатского обсуждения, состоявшегося 3 ноября 1760 года, стала рекомендация Шувалову: не пренебрегая консультацией с профессорами Академии наук, внести на апробацию штат общегосударственной системы обучения. Но в академических стенах Иван Иванович столкнулся с пассивным сопротивлением реформе: господа ученые не торопились с подачей мнений, а из тех, кто успел высказаться, многие отрицательно отзывались о возможности приема в гимназии разночинцев. Не потому ли царский фаворит 20 марта 1761 года предложил Сенату, не дожидаясь сочинения академией «оних штатов», запросить высочайшую резолюцию по принципам реформы, «дабы прежде, нежели в подробности школ вступить, поведено было воспитание и учение и вступление в службу на таком основании, как от меня подано, установить»?

Похоже, эти планы всерьез задели очень влиятельных персон. В заседании 3 ноября 1760 года участвовали А. Д. Голицын, Я. П. Шаховской, И. Г. Чернышев, А. Г. Жеребцов, Р. И. Воронцов. Кто-то из пятерки напомнил реформатору о «вспоможении» Академии наук. Тогда же хозяева Петербургского университета догадались, что вот-вот потеряют университет с гимназией, и стали исподволь противодействовать сопернику. Едва ли Шувалов удивился тому, что 20 марта сенаторы не поддержали идею обращения к императрице. Пришлось кое-кого хорошенько припугнуть, и 5 июня Сенат согласился попросить государыню «для лутшаго распорятку» пожаловать в товарищи президента Академии наук Г. И. Головкина, гофмаршала великого князя. «За воспоследовавшими обстоятельствами» доклад в царские руки не попал (под резолюцией расписались И. И. Неплюев, А. Г. Жеребцов, Р. И. Воронцов, М. И. Шаховской). Зато 20 августа сенаторы возобновили прения, 13 сентября продолжили и 19 октября проголосовали за то, чтобы посоветовать царице одобрить акт о незачислении дворян в службу до семнадцати лет, дабы «обучатца им в назначиваемых в городах школах и гимназиях, а потом в здешнем и московском университете и в кадетском корпусе», после чего

«по беспристрастном экзамене определять по склонности их и наукам и по желаниям в военную или гражданскую службу прапорщичьими чинами». Кроме того, отличников планировалось поощрять дополнительным трехлетним обучением, до двадцати лет, с правом выпуска в чине подпоручика, поручика или капитана армии, а лентяев, ограничивающихся знанием российской грамоты, выпускать унтер-офицерами.

Цейтнот, отсутствие союзников (П. И. Шувалов уже тяжело болел), фактическая автономия университета и гимназии под опекой Ломоносова, протекции Шувалова, помешали сторонникам Разумовского и Теплова дать реформаторской партии должный и эффективный отпор. Как всегда, Елизавета Петровна рассчитала комбинацию до мелочей. И, как обычно, себе отвела роль независимого арбитра, который в сложившихся условиях не может не утвердить полезный для общества проект даже в ущерб интересам одного из уважаемых ведомств. 29 октября 1761 года белой копией доклада завизировал Неплюев, затем Жеребцов, Воронцов и Шаховской. Однако на этом процедура и застопорилась: замешкались или тянули с подписанием А. И. Шувалов и Костюрин; прочие сенаторы «по сему не при-судствовали». А 25 декабря скончалась Елизавета Петровна, немного не успев с приданием реформе необратимого характера^{110}.

Преемники же ее распорядились достигнутым результатом по-разному. Петр III предпочел не связываться с оппозицией, тормозившей начинания Шувалова, и удовлетворился тем, что 14 марта 1762 года переподчинил ему как директору Сухопутный шляхетский кадетский корпус, а 24 апреля Морской (30 апреля М. М. Голицына выпроводили на пенсию) и объединенную Инженерно-артиллерийскую школу (с апреля по август и с октября 1762 года — корпус), осиротевшую в январе после смерти П. И. Шувалова. Покушаться на Петербургский университет — бастион К. Г. Разумовского и Г. Н. Теплова — император не отважился и сенатский вердикт от 19 октября 1761 года не узаконил.

Екатерина II не завершила дело «тетушки» по другой причине — из-за личной неприязни к И. И. Шувалову. Внушения противников реформы просто легли на благодатную почву. Менее чем за год конструкция, возведенная Елизаветой и Шуваловым, подверглась полному разгрому. Сенатский доклад отправили в архив, Шувалова — путешествовать за границу (9 октября 1762 года), Веселовского — в отставку (21 октября). 18 февраля 1763 года императрица велела В. Е. Ададурову (куратору после увольнения Веселовского) превратить Московский университет в обычное учебное заведение, а 2 марта постановила «совсем от университета

отделить» Академию художеств и поручить ее И. И. Бецкому^{111}.

Военные учебные заведения забирали у Шувалова по очереди: в августе 1762 года — Морской (директор И. Л. Голенищев-Кутузов) и Инженерно-артиллерийский (директор М. И. Мордвинов) корпуса, в марте 1763-го — Сухопутный кадетский корпус (директор Н. В. Репнин). Наконец, 2 мая 1763 года в отставку отправили проводника шуваловской линии в Петербургском университете М. В. Ломоносова. Только вмешательство Г. Г. Орлова позволило быстро исправить эту ошибку: через 11 дней императрица отменила прежний вердикт.

К лету 1763 года всё завершилось. Был упущен реальный шанс обрести — возможно, первыми в мире — единую общегосударственную систему образования. Через год Екатерина II осознала, что сотворила, и попыталась восстановить разрушенное. Сочинением нового проекта занялся Г. Ф. Миллер, но из сей затеи ничего не вышло. Второй раз за реформу школы взялись через полтора десятилетия, воспользовавшись проторенным Елизаветой путем: 7 сентября 1782 года была сформирована правительственная Комиссия по учреждению народных училищ, которая подготовила принятие 5 августа 1786 года закона о системе народных училищ в губернских и уездных городах. Таким образом решили проблему общегосударственного низшего и среднего образования, но трогать высшую школу не осмелились — она так и осталась раздробленной по ведомствам.

Не стоит думать, что Екатерина II осенью 1777 года по собственной воле вернула И. И. Шувалова в Россию. Реабилитация елизаветинского министра — заслуга исключительно Е. А. Потемкина. Именно он настоял на возвращении Шувалова, а затем и организовал формальное примирение его с императрицей, признавшей, что оба они — «одной матери дети». В Петербург Иван Иванович приехал 17 сентября, а упомянутая выше встреча государыни с подданным состоялась 8 октября в присутствии придворных в саду потемкинского Аничкова дворца^{112}. С нее и можно вести отсчет второго «случая» Ивана Ивановича при русском дворе. Правда, теперь ему покровительствовала не высочайшая особа, а «монарх» из дворянского «народа», бывший когда-то учеником московской университетской гимназии и отчисленный из нее в 1760 году за прогулы.

Глава шестнадцатая

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Судя по камер-фурьерскому журналу и иным документам, императрица Елизавета Петровна впервые посетила Петергоф 4 мая 1743 года и, несомненно, в течение двух дней, до отъезда утром 7 мая через Ораниенбаум в Кронштадт, побывала в Монплезире. Побродив по комнатам любимой летней резиденции отца, она не могла не предаться грустным воспоминаниям. Ведь Монплезир — не просто место отдыха на берегу Финского залива, а первая картинная галерея Российской империи, первый музей живописи... оказавшийся никому не нужным после смерти основателя. Около двухсот картин голландских и фламандских художников, развешанных на стенах девяти из одиннадцати покоев дворца, своего предназначения — пробудить в русском человеке интерес к западноевропейской форме осмысления окружающего мира — так и не выполнили.

Напрасно Петр I при посредничестве Ю. И. Кологривова и С. Л. Владиславича-Рагузинского закупал шедевры нидерландских мастеров, тратил огромные суммы на обучение в живописных школах Голландии и Италии талантливой молодежи, приглашал из-за рубежа в Россию с десяток маститых художников. Дальше создания семейных портретных собраний затея не продвинулась. Разглядывать царскую коллекцию, а тем более украшать собственные жилища аллегорическими, религиозными или жанровыми сюжетами спешили единицы. Подавляющее большинство отнеслось к проекту царя-реформатора равнодушно. Монплезир пустовал. Спрос на услуги «малеров», как русских, так и заграничных, почти отсутствовал, посему они все стремились пристроиться на казенные работы по росписи дворцов и соборов. Неудачники из числа иноземцев возвращались на родину, россияне либо спивались, либо становились иконописцами.

Характерна судьба трех лучших петровских «пансионеров», обучившихся европейской живописной манере за границей, — Ивана Никитича Никитина, Андрея Матвеевича Матвеева и Михаила Александровича Захарова. «Гофмалера» Никитина в 1729 году лишили казенного жалованья, в 1732-м арестовали за связь с недругами Феофана Прокоповича, в 1737-м сослали в Тобольск, при возвращении из которого в 1742 году он и умер. Матвеев и Захаров устроились в команду живописцев

Канцелярии от строений. Первый возглавлял ее до апреля 1739 года, второй — с апреля по август. Оба скончались молодыми в том же году, и, похоже, спиртное сыграло в этом существенную, если не решающую роль.

Вполне закономерен забавный эпизод, описанный академиком Якобом Штелином: по-видимому, в июле 1732 года в дни продолжительного отдыха в Петергофе императрица Анна Иоанновна пожелала осмотреть Монплеизир. Естественно, прогуливаясь по анфиладе, она обратила внимание на картины и попросила объяснить ей смысл изображений. Увы, знатока не нашлось ни среди свиты, ни среди хранителей павильона...

Сама дочь Петра прониклась симпатией к западноевропейскому искусству с детских лет. Судя по всему, еще девочкой она помогала батюшке разбирать привезенные из Амстердама или Венеции раритеты и по ходу дела пристрастилась жить в их окружении. Спустя многие годы Елизавета Петровна помнила не только мизансцены затерявшихся картин из отцовской коллекции, но и стоимость некоторых. Не забыла государыня и о стремлении отца открыть картинную галерею в Санкт-Петербурге, в Летнем саду. Она размещалась в деревянном одноэтажном корпусе у Лебяжьей канавки, но проработала недолго. При Анне Иоанновне музей закрыли, а три сотни картин на время, пока рабочие артели не соорудят каменные палаты, сложили в какой-то гардеробной. Старое здание приспособили под часовню. Новое, впрочем, так и не построили...

В 1743 году Елизавета распорядилась разыскать утраченную коллекцию. Хотя Штелин датирует ее обнаружение 1744 годом, нашли пропажу раньше — в ноябре или декабре предыдущего. Согласно именному указу от 21 декабря 1743 года, «имеющиеся в ведомстве Камор-цалмейстерской канторы в наличности, живописной работы портреты и исторические картины, и другие куншты» отдавались «в смотрение и содержание придворному живописцу Гроту». Контора помимо прочего отвечала и за сохранность царского платья, то есть именно ей принадлежала гардеробная, принявшая в 1730-х годах вторую подборку картин царя Петра. Командовал учреждением камер-цалмейстер Д. А. Симонов. От него и получил обветшавшие, подпорченные шедевры «малых голландцев» немецкий художник Георг Христофор Гроот (1716–1749), второй придворный живописец — первым был француз Луи Каравак (1684–1754), принятый на русскую службу в ноябре 1715-го.

Почему же императрица доверила картины малознакомому молодому мастеру, а не его знаменитому коллеге? 10 октября 1741 года Гроот заключил с Придворной канторой двухлетний контракт. По истечении срока договор продлили. Ничего особенного до декабря 1743 года

уроженец Штутгарта не совершил. Правда, его отец Иоганн Христофор Гроот являлся «гофмалером» и с 1737 года «галереи инспектором» при дворе герцога Вюртембергского. Гроот-младший, покинувший родину в 1737 году, учился живописи в отчем доме и знал, как при активном участии отца формировалась княжеская коллекция, более того, по мере сил помогал комплектовать ее и приводить в порядок галерею.

А вот Каравак аналогичного опыта не имел. Карьеру в России он начал миниатюристом и постепенно овладевал навыками станковой живописи, однако идеала, по отзывам современников, не достиг. Тогда кто же создавал картинные галереи Петра I? Швейцарский художник Георг Гзель, приехавший с семьей в Санкт-Петербург в 1718 году. Кстати, справку для Анны Иоанновны касательно петергофских сюжетов сочинять пришлось ему. Но мэтр скончался в ноябре 1740-го, а потому Елизавете Петровне и выпало выбирать из других кандидатов. Царица отдала предпочтение Грооту, что свидетельствует о ее желании возобновить галерейную эпопею. Неутешительный финал отцовского почина государыню несколько не смущал, ибо она придумала, каким образом изменить общественный настрой в пользу европейского искусства.

Петровский метод завлечения публики в музеи общеизвестен: царь присовокуплял к бесплатному «билету» скромное угощение. Императрица развила идею до организации застолий на фоне четырех стен, увешанных сверху донизу картинами. Подобные картинные кабинеты устраивались и прежде. Но Елизавета Петровна первой рискнула разместить в картинной галерее столовую. Затея, на просвещенный взгляд дикая, оказалась на редкость эффективной. Судите сами: чем займется сановный гость после того, как накушается и набеседуется вволю? Станет со скуки озираться по сторонам и... рассматривать картины, ведь ничего другого в комнате нет. Рано или поздно он спросит о них что-нибудь. Слово за слово — и обмен репликами о каком-либо полотне нетрудно развернуть в познавательную и интересную лекцию об авторе и истории произведения или о запечатленном событии. И можно не сомневаться: сегодня одному, завтра другому, послезавтра третьему обязательно захочется приобрести и для себя что-то похожее. Эти купленные под влиянием извне «игрушки» положат основание приватным коллекциям вельмож, а те, в свою очередь, подтолкнут к собиранию заграничной изящной старины несановных дворян и посодействуют обучению отечественных талантов творческим профессиям. Перенимать их художественные вкусы начнут разночинцы и т. д.

Прочитируем искусствоведческие заметки академика Штелина: «...

галерея... размещалась... зимой в Зимнем дворце, а именно в соседнем с большим залом покое, в котором во время праздников во дворце имели обыкновение ужинать великий князь и с ним чужестранные министры». «Большой зал» — это Тронный зал в северном флигеле Зимнего дворца, где устраивались публичные церемонии, аудиенции иностранным послам, роскошные банкеты. «Соседний покой» — «наугольная» комната с правой стороны от трона, в западном выступе флигеля, выходившая двумя окнами на Адмиралтейство. Четыре других окна открывали вид на Неву и стрелку Васильевского острова. Отсюда часто наблюдали за праздничными фейерверками и иллюминацией, зажигавшимися на помосте, возведенном на стрелке. В этом-то помещении и распорядилась императрица развесить вызволенную из гардеробного плена коллекцию отца.

Похоже, дебютировала «наугольная» в новом качестве на новогодних торжествах 1744 года, а проработала меньше месяца, ибо с 21 января этого года по 27 января следующего Елизавета Петровна не жила в Санкт-Петербурге (кроме четырех дней — 20–23 декабря). Тем не менее нескольких застолий вполне хватило, чтобы заинтересовать западной живописной манерой, по крайней мере, одного соратника государыни — Михаила Илларионовича Воронцова.

Камергер, граф, а с июля 1744 года вице-канцлер буквально заболел картинной лихорадкой. Как ни странно, полюбились ему не фламандцы, богато представленные в галерее, а итальянцы эпохи Ренессанса. По приезду в свите императрицы в Москву он начал посещать дома и подмосковные усадьбы именитых приятелей в надежде раздобыть завалевшиеся у них с петровских времен «драгоценные оригиналы». То, что посчастливилось отыскать, как правило, выглядело жалко: хозяева не ценили заморские диковинки, выписанные ими в Россию единственно ради угождения Петру Великому, по смерти императора непонятные предметы быстро очутились в кладовых и на чердаках среди хлама, и неудивительно, что за 20 лет многое было утрачено или испорчено. Наконец, 19 июня 1744 года в Люберцах граф услышал, что неподалеку на реке Пахре есть «необычайно красивое поместье» осужденного Анной Иоанновной Д. М. Голицына. Воронцов поскакал туда, будучи уверенным, что у князя, ценителя прекрасного, шедевры сохранились в первозданном виде. «Целую комнату, полную превосходных итальянских и брабантских картин», обнаружил он в Богородском, но увиденному не обрадовался: «... некоторые из самых больших и дорогих картин висели частью покрытые плесенью, частью продырявленные, другие лежали, сваленные в кучу».

О пережитом в тот день разочаровании вельможа позднее поведал

Штелину, неверно указав местоположение усадьбы — рядом с Новоиерусалимским Воскресенским монастырем. Действительно, возле обители на Истре Голицыну принадлежало ныне знаменитое имение Архангельское. Только «красивым поместьем» оно стало под конец XVIII века, при внуке опального князя Н. А. Голицыне, а в описываемое время было скромным одноэтажным деревянным домиком в 13 покоев, длиной 13 сажень, тогда как в селе Богородском имелись двухэтажный каменный дворец (длина 22 сажени), роскошный сад, высокая каменная ограда вокруг имения и в придачу две мельницы — бумажная и мучная. Да и не ездила Елизавета Петровна в 1744 году в Новый Иерусалим, зато 20 июня посетила другой монастырь — Николо-Угрешский — в 22 верстах к юго-востоку от Москвы, вблизи Люберец. Этой оказией и воспользовался Михаил Илларионович, чтобы осмотреть живописное собрание, наверняка вместе с сыном покойного «верховника» сенатором А. Д. Голицыным.

Вероятно, плачевное состояние голицынской коллекции развеяло иллюзии императрицы о возможности формирования не одной, а многих полноценных картинных галерей за счет внутренних художественных резервов, созданных при царе-реформаторе. Даже немалая часть полотен, изъятых из царского гардероба, нуждалась в руке реставратора. Кстати, государыня учредила соответствующую мастерскую, определив в нее по рекомендации Георга Гроота его соотечественников Лукаса Конрада Пфандцельта и Антониуса Броннера (Брунера), присвоив обоим звание гезелей (помощников) «галереи директора», то есть Гроота. Мастерская возникла в 1743 году и, понятно, крайне медленно пополняла казенный художественный фонд восстановленными картинами.

Между тем зимой 1745 года по возвращении двора в Санкт-Петербург экспозиция «в картинной комнате» Зимнего дворца возобновила деятельность. Причем роль хлебосольного хозяина чаще исполнял великий князь Петр Федорович. Судя по всему, царица переложила на племянника обязанность пропагандировать среди россиян достижения европейского искусства, благо тот имел великолепных консультантов, хорошо разбиравшихся в западной живописи: профессора Якоба Штелина и голштинского посланника Иоганна Фрайхера Пехлина, прибывшего на берега Невы в октябре 1745 года. Разумеется, обедали или ужинали с престолонаследником не одни иностранцы. И российский генералитет, и придворные чины регулярно участвовали в тех заседаниях в «картинной комнате». Реже там чествовали новобрачных — к примеру, 14 и 15 октября 1745 года пили за здоровье обвенчавшихся в придворной церкви Карла Ефимовича Сиверса и Венедикты Федоровны Крузе.

Пока советники Петра Федоровича посвящали сановных гостей в тонкости европейской живописи, императрица позаботилась об открытии третьей картинной галереи — в Царском Селе, избрав для выставочного зала «наугольную палату правого флигеля» (высочайшее повеление о том датировано 22 мая 1745 года). Впрочем, вскоре выяснилось, что запасы добротных полотен в ведомстве Гроота исчерпаны^{113}. Для организации Царскосельского музея требовалось найти иной, заграничный источник заимствования. 3 сентября М. И. Воронцов с женой отправился в путешествие в Италию, а через три месяца в Австрию выехали Пфандцельт и Броннер.

Если помощники «гофмалера» торопились привезти в Россию из Праги партию картин «наилучших мастеров» (115 штук), которую их шеф, пользуясь отцовскими связями, сторговал у богемских аукционистов для Царского Села, то супруги Воронцовы посетили юг континента ради удовлетворения собственных эстетических вкусов. Двигаясь по маршруту Берлин — Дрезден — Вена — Флоренция — Рим — Неаполь, они привлекли к себе внимание коммерсантов, подвизавшихся на продаже живописи. Визит в Прагу двух придворных гезелей подогрел интерес данной публики к зарождавшемуся российскому художественному рынку, и уже весной 1746 года в Петербург из Гамбурга явились первые коммивояжеры с живописным товаром.

Самый предприимчивый, господин Морель, рекламировал свое собрание из полутора сотен холстов особым каталогом, однако раскупили у него меньше половины. Тем не менее торги продемонстрировали, что усилия дочери Петра даром не пропали. Эксперимент с размещением картин в столовой увенчался успехом: трапезы в окружении старинных полотен под занимательные рассказы Штелина, Пехлина и иже с ними рекрутировали в ряды почитателей классического искусства новых сиятельных завсегдатаев царских застолий, среди прочих — Петра Борисовича Шереметева и Петра Ивановича Шувалова, взявшихся за собирательство с удвоенной энергией. Они-то и обеспечили Морелю львиную долю выручки. Мало того, Шереметев вознамерился обзавестись домашним «малером» широкого профиля, умеющим писать не только портреты, и тогда же, в 1746 году одаренный крепостной парнишка Иван Аргунов сделался учеником самого Георга Гроота.

Таким образом, процесс приобщения высших кругов русского общества к европейским художественным традициям сдвинулся с мертвой точки и далее вполне мог развиваться самостоятельно, без августейших понуканий. Похоже, Елизавета Петровна посчитала свою миссию

выполненной, ибо закупка за рубежом новых партий картин для казенных галерей более не проводилась. Комплектование царского живописного фонда произведениями старых мастеров практически завершилось доставкой в середине мая 1746 года пражской коллекции, позднее делались лишь единичные приобретения понравившихся государыне полотен.

Зато частные собрания множились и росли, пусть медленно, зато верно. В середине августа 1746 года в Россию возвратились Воронцовы с римскими, неаполитанскими и парижскими раритетами. В Риме супруги познакомились с сенатором графом Нильсом Бьелке, и тот де-факто стал культурным агентом России в Италии. Постоянно поддерживая с ним связь, Михаил Илларионович через него выписывал для себя, друзей и царицы картины, скульптуру, иную изящную старину, а также квалифицированных в разных художествах специалистов. Второй канал пополнения коллекций наладили иностранные коммерсанты. За господином Морелем шедевры голландцев, фламандцев, итальянцев, французов в Санкт-Петербург повезли другие оборотистые «факторы» — Бодиссоны, Гральянер, Дюбукир, Линдеман, Фридрихе. Даже придворный скрипач Доменико Далольо пользовался конъюнктурой, чтобы подзаработать, и каждый раз после очередного отпуска на родине приезжал в Россию с запасом венецианских пейзажей.

Собиранием картин также занимались К. Е. Сиверс, К. Г. Разумовский, И. И. Шувалов, Н. А. и Г. А. Демидовы. Их особую активность на сем поприще отметил вездесущий Якоб Штелин^{114}. Барон Сергей Григорьевич Строганов коллекционером не стал, однако уважением к сему «ремеслу» проникся. И когда в 1755–1756 годах его сын Александр, будучи в Италии и Франции, увлекся живописью Ренессанса и купил для собственного «кабинета» картины Корреджо и Перуджино, а слугу Матвея Ивановича Печенева (Пучинова) пристроил в Риме учеником к знаменитому художнику Помпео Баттони, Строганов-старший отнесся к «капризу» юноши с пониманием и тут же оплатил изначально непредусмотренные расходы. «Вещи» заложили основу знаменитой строгановской картинной галереи, а крепостной со временем стал членом Академии художеств и преподавателем «исторической» живописи^{115}.

Год от года мода на европейский художественный стиль среди российского дворянства возрастала. Роль же монархини в этом поветрии, напротив, неуклонно снижалась. Очевидно, Елизавету Петровну коллекционирование само по себе не прельщало — ей просто нравилось иногда проводить время в окружении картин, отчего и сформировала она

только две камерные галереи — столичную и загородную: первая в зависимости от сезона согревала душу государыни поочередно то в Зимнем, то в Летнем дворце, вторая с 1746 года разместилась в любимой царскосельской усадьбе. Третья, петергофская, оберегалась в память об отце.

Насколько нам известно, зачислением 15 декабря 1748 года в придворный штат замечательного анималиста Иоганна Фридриха Гроота, младшего брата «галереи директора», она подвела черту под личным участием в пробуждении у соотечественников интереса к западной живописи. Эту миссию взяла на себя великокняжеская чета — и, надо признать, с успехом ее завершила. Занимательные беседы Штелина и Пехлина вдохновили Петра Федоровича на основание Ораниенбаумской и Петерштадтской картинных галерей. А Екатерина Алексеевна, также присутствовавшая на трапезах в «наугольной» картинной зале, пошла еще дальше, покупкой в Европе роскошных собраний И. Э. Гоцковского, Г. Брюля, Э. Ф. Шуазеля, Л. А. Кроза де Тьера, И. К. Кобенцля и других коллекционеров заложив фундамент нынешнего Государственного Эрмитажа.

Похоже, внезапное охлаждение Елизаветы к начатому ею же делу встревожило тех ближайших соратников, что уже пристрастились к коллекционированию, прежде всего М. И. Воронцова. Не потому ли вице-канцлер сам попробовал найти достойную замену Г. Х. Грооту, скончавшемуся 17 сентября 1749 года? Хотя все три казенные галереи тут же возглавил Лукас Пфандцельт, Воронцов обременил римского друга поиском лучшего кандидата на должность первого художника страны. Вероятно, Михаил Илларионович планировал через него лично координировать пополнение царских галерей новыми картинами. Бьелке порекомендовал Георга Гаспара Преннера, немецкого портретиста, практиковавшегося в Италии.

В августе 1750 года претендент приехал в Санкт-Петербург. То, что его прочили на место Гроота, нисколько не скрывалось. Однако в контракте пункт об управлении картинными галереями отсутствовал — царица явно не желала, чтобы кто-то помимо Пфандцельта занимался ее живописным собранием. Тем не менее вице-канцлер явно обещал Преннеру пост «галереи директора», но слово не сдержал. В итоге между ними возникли трения. По мере приближения дня окончания трехлетней службы при русском дворе иноземец всё больше высказывал недовольство своим положением. Воронцов же, невзирая на непочтительные и обидные упреки, в протекции ему не отказывал. Чувствовал себя виноватым? Надеялся

выжать-таки из государыни назначение? Так или иначе, Преннер всё же покинул Санкт-Петербург 26 июля 1755 года, не дождавшись ни продления контракта, ни получения заветной должности^{116}.

Впрочем, не он один метил в шефы Пфандцельта. Стоило императрице недвусмысленно отвергнуть кандидатуру протеже вице-канцлера, как попытать счастье отважился куратор Московского университета Иван Шувалов — без проволочек выписал из Дрездена итальянского художника Пьетро Антонио Ротари. Воронцов, проведав об этом, выдвинул в качестве альтернативы французскую знаменитость Луи Токе. По общепринятому мнению, обоих вызвали в Россию для портретирования государыни. Но почему же тогда два министра вступили в нешуточную борьбу, мешая мастеру из конкурирующего лагеря приехать в Россию первым? Шувалов, между прочим, не постеснялся в середине июля 1755 года убеждать царицу не писать в Париж, «докуда... Ротария... успехи не увидим». Встретиться с итальянцем надеялись тем же летом, но художник пересек русско-курляндскую границу лишь 21 мая 1756 года, ненамного опередив соперника с семьей, миновавшего Ригу 16 июля.

В результате, как ни старался Иван Иванович, Елизавета Петровна позировала сразу двум живописцам. Токе исполнил несколько великолепных портретов августейшей особы и 31 августа 1758 года через Фридрихсгам проследовал в Швецию. Ротари изобразил императрицу не хуже оппонента, увековечил на полотнах чуть ли не всех кавалеров и дам русского двора и, пользуясь протекцией Шувалова, прожил в Санкт-Петербурге втрое дольше француза — не потому ли, что тоже мечтал о должности директора царской коллекции картин? Напрасно, ибо государыня, невзирая ни на что, сохранила руководство галереями за учеником Гроота. А Екатерина II узаконила волю дочери Петра, официально утвердив Пфандцельта главой Эрмитажа^{117}.

Глава семнадцатая

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО

Как должен выглядеть главный дворец Российской империи, столичная резиденция монарха? Ответ вовсе не однозначен, как может показаться. Да, в середине XVIII века в Европе господствовала архитектура барокко. Здания возводились по стандартам, отмеренным полутора столетиями ранее. Образцом служили творения итальянцев Франческо Борромини (1599–1667) и Джованни Бернини (1598–1680), прежде всего палаццо кардинала Барберини, будущего папы Урбана VIII, а также версальский шедевр французов Луи Лево (1612–1670) и Жюля Ардуэ-на-Мансара (1646–1708). Их усилиями была задана мода, повсюду узнаваемая благодаря рустованным цоколям, выступам-ризалитам, ломаным крышам, минимуму колонн, обычно сдвоенных, и максимуму пилястр, изобилию скульптур по фасадам.

Однако если присмотреться к европейской практике той эпохи, то барочные принципы чаще использовались в качестве дополнительного украшения уже существовавших построек — средневековых замков или ренессансных ансамблей. С нуля барочные резиденции предпочитали сооружать за городской чертой, а в самих городах — очень редко. И венский Хофбург, и лондонский Сент-Джеймский дворец, и лиссабонский Паласио де Рибера, и королевские или курфюрстские резиденции в Варшаве, Дрездене, Мюнхене, Штутгарте, Касселе, Берлине, Неаполе и Турине являлись в той или иной степени подновленными памятниками старины, как и мадридский Алькасар, копенгагенский Кристиансборг и парижский Лувр.

Из всех венценосных современников Елизаветы Петровны лишь пятеро — король Дании Кристиан VI, курфюрст Вюртемберга Карл Евгений, маркграф Баден-Дурлахский Карл III Вильгельм, герцог Брауншвейг-Люнебургский Август Вильгельм, архиепископ Вюрцбургский Иоганн Филипп Шёнборн — не побоялись соорудить что-то новое: первый распорядился разрушить в своей столице древний замок и возвести в 1731 году на расчищенном месте барочный дворец; второй и пятый велели сделать то же самое, соответственно в 1746 и 1719 годах, но по соседству с наследием предков; маркграфу и герцогу просто надоели прежние столицы, и один перенес резиденцию из Дурлаха в Карлсруэ в 1715 году, другой — из Вольфенбютеля в Брауншвейг в 1753-м. Опыт реконструкции с

фундамента имели еще Швеция, Испания, Гессен-Дармштадт и Баден-Баден — благодаря пожарам, дотла спалившим дома августейших особ (в Стокгольме в 1697 году, в Дармштадте в 1715-м, в Мадриде в 1734 году), и французской армии, разрушившей Баден в 1689-м. Религиозные споры вынудили курфюрста Пфальцского Карла III Филиппа, католика, в 1720 году бежать из протестантского Гейдельберга в Мангейм. Наконец, берлинский Шарлоттенбург, ставший с 1740 года резиденцией Фридриха II, его дед Фридрих I приказал возвести специально для летнего проживания супруги, Софии Шарлотты.

Сравнение одиннадцати новостроек приводит к любопытным выводам: все дворцы, особенно Мангеймский, Штутгартский, Брауншвейгский, Раштатский (Баден-Баденский) и Вюрцбургский, и структурно, и по внешнему декору являлись подражаниями Версалю. В Стокгольме и Мадриде предпочли п-образной французской форме расположения корпусов каре. В Дармштадте тоже замышлялось каре, на которое просто не хватило денег. В Берлине и Копенгагене подкорректировали не общую конфигурацию, а облик центрального корпуса, надстроив башню с куполом. Оригинальнее иных выглядел дворец в Карлсруэ: боковые флигели примыкали к главному зданию не под прямым углом, башня же была водружена не на крыше, а напротив основного корпуса и соединена с ним деревянной галереей.

Как видим, новой столице России было на что равняться. По барочным лекалам Петр I построил себе Зимний дворец к 1723 году. Сдвоенные колонны на центральном ризалите и рустовка на двух боковых, крыши «с переломом», пилястры по всему фасаду, лепные фигуры украшали резиденцию, в плане образовывавшую букву «г» (в прямоугольник она превратилась в 1727 году по распоряжению Екатерины I). Императрица Анна Иоанновна, вернувшись из Москвы, жить в ней не пожелала, а временно разместилась в доме адмирала Ф. М. Апраксина, крайнем особняке Верхней набережной, и повелела впритык к нему возвести новые палаты, протянув их от Невы к Миллионной улице, для чего пришлось разобрать апартаменты Кикина. Итальянец Бартоломео Карло Растрелли заложил дворец 27 мая 1732 года, а закончил основные работы на исходе 1733-го.

Новая резиденция, похоже, создавалась по аналогии с петровской — имела боковые флигели (южный «луговой» и северный «адмиральский»), рустованные ризалиты, изобилие пилястр и минимум колонн, лепной декор на фронтонах. Вместе с домом Апраксина она образовывала ту же букву «г». Складывается впечатление, что племянница сознательно

ориентировалась на дядюшкин пример. В этом-то дворце и поселилась дочь Петра Великого в ноябре 1741 года. Неправильный периметр главной императорской резиденции не сразу привлек внимание новой хозяйки — ее куда сильнее интересовали перепланировка внутренних покоев и степень готовности деревянного Летнего дворца, появившегося в третьем Летнем саду, на углу Фонтанки и Мойки, трудами Растрелли-младшего, Бартоломео Франческо.

Между прочим, растреллиевский Летний дворец полностью соответствовал версальскому идеалу: в плане походил на букву «п», в декоре активно использовались ризалиты, рустованный цоколь, легкая изломанность кровли, ряды пилястр и скульптур, а сдвоенные колонны — в редких случаях. Первый камень в фундамент дворца положили 24 июня 1741 года, в регентство Анны Леопольдовны. Полгода спустя, 14 декабря, Елизавета Петровна предписала «дом по учиненным... чертежам... достраивать... с поспешанием». Растрелли потребовалось полтора года. В середине июля 1743-го священники во главе с Ф. Я. Дубянским отслужили в анфиладах новой резиденции «всенощное и молебное пение», окропили стены святой водой и елеем, и уже 5 сентября императрица отпраздновала в ней собственное тезоименитство, а через десять дней — ратификацию подписанного в Або мирного трактата со Швецией.

Тем временем в Зимнем дворце по высочайшей воле интерьеры флигелей претерпевали радикальные изменения: одни комнаты расширялись, другие, наоборот, сужались. Если на южной стороне дворца реконструкцию затеяли, чтобы втиснуть в имевшееся пространство личные покои государыни, великого князя, великой княгини и А. Е Разумовского, то на северной парадные залы преобразались в угоду эстетическим вкусам Елизаветы Петровны^{118}.

Искусствоведы почему-то уверены, что императрица лишь высказывала абстрактные пожелания, а затем либо одобряла, либо отвергала конкретные растреллиевские идеи по воплощению ее капризов в жизнь — иными словами, ничего не смыслила в архитектуре и строительном деле. Однако это не так. К примеру, когда с 25 декабря 1744 года по 23 января 1745-го Елизавета Петровна находилась в Хотиловском Яме, где выхаживала заболевшего оспой Петра Федоровича, позвали каменщика Андреаса Кинеля, умевшего быстро сложить печь, чтобы больной царский племянник и свита не мерзли в крещенские морозы на бедной почтовой станции. Печник продемонстрировал эффективность своего метода в присутствии императрицы, которая запомнила его действия и по прошествии восьми с половиной лет рассказала о них команде А. Р.

Давыдова, собранной для скорейшего восстановления сгоревшего в Москве 1 ноября 1753 года Головинского дворца^{119}.

Неплохо разбиралась государыня и в архитектурной графике — Растрелли подносил ей на апробацию помимо картинок или моделей чертежи с подробной разметкой расположения помещений на этажах нового здания. Еще пример — ордер генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого от 7 августа 1758 года: «Ея Императорскому Величеству известно, что в городе Ростове около монастыря, в котором препочивают мощи святителя Димитрия Ростовского чудотворца, делается вновь каменная ограда с немалым монастырю утеснением. И для того немедленно из Сената послать и велеть ту ограду строением теперь остановить и, отправя туда немедленно ж нарочного из архитектурского искусства надежного человека, и велеть всему тому монастырю с принадлежащею ко оному ситуациею снять обстоятельно окуратной план и оной, получа в Сенат, поднести Ея Императорскому Величеству». Как видим, императрица читать чертежи умела^{120}.

Кто не слышал о гениальном Василии Ивановиче Баженове, питомце Академии художеств, авторе великолепного Царицынского ансамбля, уникального дома Пашкова и грандиозного проекта реконструкции Кремля, фактически подразумевавшего его уничтожение! Но был еще Семен Антонович Баженов, скромный чиновник Вотчинной канцелярии, самостоятельно изучивший архитектурное ремесло, вследствие чего глава учреждения Гавриил Замятнин в 1749 году доверил ему надзирать за строительством дворца в Ропше. Растрелли или кто другой из мэтров архитектуры в усадьбу практически не заглядывали, а посему обязанности архитектора автоматически легли на плечи самоучки. 7 августа 1752 года он имел честь лицезреть государыню и даже ознакомить ее с новыми замыслами, поднеся на высочайшее утверждение чертежи «тамошним строениям». Елизавета Петровна листы просмотрела, всё одобрила, потом переговорила о молодом человеке с Замятиным и поручила, «о достоинстве ево собрав от архитекторов атестаты, представить к произведению» в Сенат.

Увы, как водится, в профессиональной среде самородков не любят. Замятину потребовалось более трех лет, чтобы получить четыре характеристики на Баженова — от Б. Ф. Растрелли, С. И. Чевакинского, А. Ф. Виста и Х. Л. Кнобеля. Без ссылки на царскую рекомендацию Гавриил Григорьевич вряд ли достиг бы цели. Впрочем, и Сенат раскачивался почти год. Звания помощника архитектора в ранге армии подпоручика Семен

Баженов удостоился только 3 октября 1756 года^{121}.

С другим талантливым художником, Александром Филипповичем Кокориновым, также попавшим в поле зрения императрицы, приключилась неприятность посерьезнее. Пятнадцатилетний подросток из Тобольска весной 1742 года приехал в Москву вместе с семьей архитектора Ивана Яковлевича Бланка, сосланного в Сибирь за близость с Петром Еропкиным, «конфидентом» кабинет-министра Волынского. Мастер подметил увлеченность юного Александра «музыкой в камне» и, отправляясь в обратный путь, убедил его родителей отпустить паренька с собой. В Москве Бланка сразу же назначили архитектором при главной полиции с правом иметь учеников, и Кокоринов в сентябре подал в Сенат прошение о зачислении на учебу к Ивану Яковлевичу.

Челобитчика тут же проэкзаменовали лучшие специалисты — Михаил Земцов, Иван Коробов, Иван Мичурин. Результаты комиссию удивили: арифметикой, геометрией, пятью архитектурными ордерами соискатель владел «нарочито». Кроме того, мэтры констатировали, что «оной как планы, так и фасады уже копирует, також и ко снятию планов тщание имеет». Все трое экзаменаторов признали Кокоринова способным к «архитектурной науке» и заслуживающим повышенного ученического жалованья — «по пяти рублей на месяц», Сенат же их энтузиазм охладил, зачислив отрока 11 декабря 1742 года в команду Бланка с трехрублевым окладом.

Два года одаренный россиянин ходил у сына обрусевшего немца не просто в учениках, а в любимчиках, будучи единственным, кого учитель освободил от повседневной полицейской рутины ради «обучения архитектурной науке». По смерти наставника в феврале 1745 года команду Бланка шесть месяцев опекал его помощник Василий Саввич Обухов, пока 14 августа три московских архитектора (Коробов, Мичурин, А. П. Евлашев) не предложили Сенату двух кандидатов в преемники Бланка: гезеля князя Д. В. Ухтомского, лучшего ученика Мичурина и Коробова, и самого Обухова, «за архитектора» с 1744 года. В Москве архитекторы с гезелями и учениками работали помимо полиции еще при синодальной конторе (во главе с Мичуриным), сенатской конторе и губернской канцелярии (во главе с Коробовым), а также при отделении Гоф-интендантской конторы (во главе с Евлашевым). Сенат назначил полицейским архитектором Ухтомского, переведя старшего по чину Обухова к Коробову. Вместе с ним пожелали уйти и два ученика Бланка, Александр Кокоринов и Петр Никитин (племянник гофмалера Ивана Никитина). Коробов не возражал, сенатская контора тоже, а вот Ухтомского, видно, демарш задел за живое. В итоге в

сентябре к Коробову перевелся один Кокоринов, а Никитин остался у князя и со временем стал его первым помощником.

Неприязнь, возникшая между Ухтомским и Кокориновым, с годами переросла во вражду, серьезно повлиявшую на развитие русской архитектурной школы. 7 августа 1747 года Иван Кузьмич Коробов скончался, и руководство его командой принял Обухов. 26 сентября 1748 года Василий Саввич выдвинул двух учеников — Кокоринова и Карла Бланка, сына Ивана Яковлевича, на присвоение ранга гезеля. Их квалификацию подтвердили архитекторы Яков Шумахер и Алексей Евлашев. Но 7 октября Ухтомский объявил своих учеников С. В. Ухтомского и П. Р. Никитина более достойными чина гезеля.

Обухов, естественно, возразил. Между ними вспыхнул нешуточный конфликт, достигший апогея, когда Ухтомский начал лоббировать идею слияния двух команд — губернской и полицейской — разумеется, под собственным управлением. Учитывая прецедент (в 1747 году Ухтомскому подчинили синодальную команду), шансы на победу пожилого Обухова выглядели призрачными, а потому Карл Бланк обратился за протекцией к Алексею Петровичу Евлашеву, по статусу равному Ухтомскому. Выше Евлашева стоял сам обер-архитектор Растрелли. 11 мая 1749 года итальянец проэкзаменовал Бланка и одобрил намерение Евлашева забрать ученика к себе. Ухтомский, прознав о том, 17 мая устроил аналогичный смотр Петру Никитину, которым Растрелли также остался доволен. 19 июня уже из Санкт-Петербурга он адресовал Сенату собственное ходатайство о Бланке и Никитине. А Кокоринов, гордо промолчавший, угодил-таки в западню. 31 августа сенаторы произвели в гезели всех четырех претендентов и... объединили обе команды, назначив шефом Ухтомского.

Обухов тут же запросился в отставку. 16 ноября Сенат пожаловал старика в архитекторы, но не уволил, велел состоять при Ухтомском. Лишившись покровительства, Кокоринов быстро почувствовал княжескую антипатию. 4 декабря Сенат поощрил Никитина, Ухтомского-младшего и Бланка чином армии поручика, а о нем «забыли», несмотря на установившуюся после воцарения Елизаветы Петровны практику давать поручицкий чин гезелю вскоре после перевода из учеников. С тех пор князь Ухтомский без всякого стеснения зажимал любимчика предшественника. Менее чем через год патрон выслал Кокоринова, единственного из шести опекаемых им гезелей, подальше из Москвы, в Нижний Новгород, строить гостиный двор при Макарьевском Желтоводском монастыре, где проводились знаменитые на всю страну ярмарки.

Около двух с половиной лет Кокоринов терпел притеснения. Впрочем, мир не без добрых людей. Кто-то замолвил слово о скромном помощнике архитектора перед весьма важной персоной, и мстительный Ухтомский поневоле исполнил положенное — рекомендовал произвести опального в армии поручики. 28 мая 1752 года Сенат удовлетворил его ходатайство. Важной персоной был не кто иной, как К. Г. Разумовский, уже пригласивший сибиряка отреставрировать свой дом в подмосковном селе Петровском. Новый облик усадьбы не разочаровал хозяина. Гетман запомнил мастера и наверняка поспособствовал тому, что в мае 1753 года Растрелли высказался за перевод изгоя в команду Евлашева.

Как бы не так! Ухтомский воспротивился, а Растрелли не настаивал на занятии Кокориновым вакансии в Гоф-интендантской конторе, выпрошенной мэтром у царицы специально под него. Вот и пришлось друзьям несчастного прибегнуть к «тяжелой артиллерии»: 11 августа 1753 года И. А. Черкасов уведомил Ухтомского о решении государыни «Александра Кокоринова для совершенного обучения архитектуры и рисования отправить в Италию». Спорить с императрицей Дмитрий Васильевич не мог и отослал гезеля к кабинет-секретарю. Однако на этом приключения самородка из Тобольска не закончились. Ни в какую Италию он не поехал, да и, судя по всему, не собирался. Ничто не мешало Черкасову организовать заграничное турне (по крайней мере, собственных сыновей в 1752 году он отправил на учебу в Кембридж), будь на то высочайшая воля. Но поездка молодого архитектора за рубеж, похоже, в планы императрицы не входила.

Елизавета Петровна вызволила Кокоринова из-под жесткой опеки Ухтомского определенно не для того, чтобы гезель растрачивал природный дар на прорисовку эскизов драгоценных украшений или фарфоровой продукции, изготавливаемых на гранильной фабрике в Петергофе и «порцелиновой» мануфактуре. Между тем целых пять лет он именно тем и занимался. Почему таланты молодого архитектора оказались никому не нужны — ни вельможам, ни государыне? В 1754 году камергер Иван Шувалов пригласил Кокоринова оформить интерьеры своего знаменитого дворца на Итальянской улице, построенного известным мастером Саввой Ивановичем Чевакинским. Однако их партнерство, увы, не сложилось — Чевакинский фактически отказался от помощи младшего коллеги.

Что же стряслось? Возможно, кто-то позаботился о том, чтобы талант Кокоринова не раскрылся. Без участия Франческо Растрелли здесь, конечно, не обошлось. Однако инициатива явно принадлежала иному лицу, хорошо знавшему Александра Филипповича и достаточно влиятельному в

придворных кругах. Не князю ли Дмитрию Ухтомскому? С Растрелли художник-аристократ не ссорился — скорее, напротив. К примеру, сгоревший Головинский дворец он в тандеме с Евлашевым восстановил за шесть недель, постоянно консультируясь с обер-архитектором, вызванным из Санкт-Петербурга. Итальянский граф вполне мог удружить русскому князю тем, что, во-первых, «смирился» с отменой перевода Кокоринова в Гоф-интендантскую контору, во-вторых, убедил императрицу не навязывать ему в помощники сибирского «мужика». Дискредитировать молодого коллегу в глазах высшего света Ухтомскому с легкой руки Растрелли было несложно. А дочь Петра не могла не считаться с мнением главных архитекторов Санкт-Петербурга и Москвы.

В итоге армии поручик довольствовался огранкой камней и фарфоровым производством, маскируя длительное прозябание на предприятиях царского Кабинета мифом о подготовке к вояжу в Италию «доучиваться» архитектурному искусству. «Мнимым проектом» окрестил подобные отговорки К. Г. Разумовский в переписке с М. И. Воронцовым. Разумеется, Елизавета Петровна не упускала случая, чтобы смягчить остракизм Кокоринова. Неудавшееся партнерство с Чевакинским — не единственный пример. В октябре 1755 года из Англии вернулся посланник граф П. Г. Чернышев. Дипломат в интригах против несчастного гезеля не участвовал, зато намеревался перестроить один из дворцов тестя, А. И. Ушакова, и обратился с заманчивым предложением к Кокоринову.

Весной 1757 года гетману Разумовскому понадобился архитектор для возведения дворца в Батурине. Кирилл Григорьевич вспомнил, во-первых, об Осипе Трезине, во-вторых, о подопечном Черкасова и уже из Глухова попросил М. И. Воронцова и родного брата о содействии. Вице-канцлер огорчил вестью, что гезель занят чертежами «иконостасу для девичьего монастыря». Впрочем, Михаил Илларионович не замедлил нанять гетману двух итальянских «архитектов» «Венерони и Бартоллиати», выехавших на Украину не раньше осени по причине большой занятости на строительстве приморской дачи самого Воронцова. Разумовский-младший согласился принять их, хотя и посетовал, что они ему обойдутся дороже, чем Кокоринов. Опала одаренного зодчего продолжалась в общей сложности пять лет, пока государыня не нашла выход. Учрежденная осенью 1757 года Академия художеств не имела собственного архитектора. Руководил ею И. И. Шувалов, изначально вместе с императрицей веривший в талант Александра Филипповича. Естественно, место предназначалось именно Кокоринову. Тут уж Ухтомский с Растрелли ничего поделать не могли. 13 октября 1758 года Елизавета Петровна пожаловала несостоявшегося

«пансионера» штатным архитектором Академии художеств. Спустя две недели сенаторы повысили Кокоринова в звании до секунд-майора.

Благодаря этому прорыву «блокады», во-первых, Россия получила вторую национальную школу российских архитекторов, воспитавшую среди прочих гениальных В. И. Баженова и И. Е. Старова^[5]. Во-вторых, в Санкт-Петербурге на набережной Невы был возведен архитектурный шедевр — знаменитое здание Академии художеств. Правда, это творение Кокоринова искусствоведы относят к стилю промежуточному, вобравшему в себя элементы как барокко, так и классицизма. Однако если сравнить внешний вид дворца с упомянутыми выше европейскими барочными резиденциями, принципиальных отличий мы не обнаружим. Кокоринов в соавторстве с французским архитектором Ж. Б. Валленом-Деламотом ни в чем не отступил от общепринятого стандарта. Сооружение в периметре квадратное, в его декоре есть и рустовка, и выступы-ризалиты, и подавляющее преобладание пилястр над колоннами, и неровность крыш, и скульптурные украшения.

Зато растреллиевский Зимний дворец, обладающий признаками «переходности стиля», до сих пор превозносится как блестящий пример барокко, хотя в убранстве здания отсутствуют характерные для барочной архитектуры рустовка, пилястры, фрагментарность колонн. Колонн на фасаде очень много, двумя рядами — малым орденом на первом этаже и большим орденом на втором и третьем — они буквально опоясывают весь дворец, делая творение Растрелли уникальным, завораживающе притягательным. Таков результат слияния двух стилей — барочного и классического. Ведь линия колонн — безусловный признак классицизма, имеющий в истоках портики Парфенона на афинском Акрополе. Колоннада над фронтоном и купол другого античного шедевра — римского Пантеона — вдохновили Андреа Палладио на создание проектов загородных вилл, которыми в XVI–XVII веках его ученики и последователи застроили север Италии, Англию и Шотландию.

Между тем в остальной Европе царил барокко. Лишь в середине XVIII столетия француз Анж Жак Габриэль рискнул украсить портиками вторые этажи двух парижских дворцов на площади Людовика XV (ныне — площадь Согласия) — Отеля де Омон и Музея королевских гобеленов. Правда, заложили здания в 1757–1758 годах, а леса сняли лет через пятнадцать. Проект Академии художеств Валлена-Деламота также предусматривал портик по всему периметру, но заказчик предпочел кокориновский вариант с пилястрами^{122}. Следовательно, архитекторы в

России раньше, чем где-либо еще, заинтересовались контурами Парфенона. Но кто? Растрелли?

В таком случае почему обер-архитектор в сочиненном около 1764 года «Общем описании всех зданий» скромно умолчал о необычном приеме, создавшем петербургское «чудо света»? Автор уведомил потомков о длине и ширине дворца (790 и 600 английских футов), размерах трех внутренних дворов, числе комнат (460), похвастался «двойными перилами итальянского белого мрамора» Иорданской лестницы, «позолоченным орнаментом» и «парижскими зеркалами» Большой галереи, великолепным декором церкви и театра, а о двух колоннадах фасада не написал ни слова. Добро бы он нигде не говорил о колоннах. Однако, повествуя о павильонах Царского Села, первый архитектор империи отметил все фасады с колоннами и колоннадами.

Возможно, объяснение кроется в том, что ключевая идея принадлежала не обер-архитектору, а кому-то другому. Правда, архитектурные творения отца, Бартоломео Карло Растрелли, в том числе петербургский Зимний дворец Анны Иоанновны, Растрелли-младший не постеснялся объявить плодами собственных трудов^[123]. Что же тогда помешало ему аналогично поступить с двухъярусной колоннадой Зимнего дворца, прибегнув к тому же лукавому средству укрепления личного авторитета? Видимо, концепция смешения стилей во внешнем убранстве дворца исходила от лица с очень высоким статусом. Не от императрицы ли, работодателяницы Растрелли?

Увы, окончательно судить о приоритете зодчего или монархини из-за скудности документальной базы проблематично. Но можно утверждать с уверенностью: Растрелли неохотно расставался с «архитектурой в итальянской манере». Императрица буквально принудила его к заимствованию из классицизма. Именно поэтому так непохожи фасады двух знаменитых дворцов — Петергофского и Царскосельского. Правда, поначалу Елизавета Петровна грандиозных замыслов не имела. Данное 16 мая 1743 года архитектору М. Г. Земцову распоряжение добавить к старым палатам Царского Села «галлерия на колоннах, а по концам у них флигели каменные» подразумевало всего лишь унификацию декора усадьбы матушки с любимой загородной резиденцией отца — большим дворцом в Петергофе. В приморской мызе Петра Великого итальянец Николо Микетти в 1722 году пристроил к главному корпусу с каждой стороны по галерее с флигелем. Дворец Екатерины I приобрел те же очертания: в течение 1744 года преемник скончавшегося Земцова Андрей Квасов возвел оба флигеля, к лету 1745 года выстроил галереи. На сохранившемся макете квасовского

проекта реконструкции видно, что все основные правила барочного канона в нем соблюдены.

Когда памятные дочери Петра дачные места утратили внешнее различие, пришла пора улучшений. Выразились они в укрупнении родительских «хором». В 1746–1748 годах в обеих резиденциях галереи с надстроенными вторым и третьим этажами и флигели сливались с основным зданием в расширенный «средний дом», а общая линия фасада удлинялась за счет возведения на флангах новых галерей и флигелей — церковного, с пятиглавым придворным собором, и гражданского («под гербом» в Петергофе и «под пятью коронами на пьедесталах» в Царском Селе). В первой усадьбе «капитальный ремонт» курировал Б. Ф. Растрелли, во второй — С. И. Чевакинский. Ни тот ни другой не нарушили барочные принципы.

Если не считать масштабных работ по оформлению интерьеров и перестройки, при необходимости, внутренних помещений, к лету 1748 года цель, поставленная императрицей, была достигнута: Большие дворцы Петергофа и Царского Села выглядели так, как ей хотелось, и никаких кардинальных изменений не требовалось. Оттого-то приводит в недоумение указ от 10 мая 1752 года о сломе кровель нового царскосельского «среднего дома», чтобы выровнять все крыши «вышиною против» флигелей, церковного и «под коронами», не трогая новых галерей. Недаром сей факт объясняется историками очередным капризом или «разочарованием» «веселой царицы»^{124}.

Что ж, раз результат не удовлетворил заказчицу, исполнитель должен исправить погрешность. Правда, куда заказчица смотрела, когда утверждала чертежи и планы? И потом, «забраковала» она только царскосельский вариант, а его петергофский близнец почему-то не вызвал «разочарования» (кстати, он до сих пор стоит таким, каким Растрелли сотворил дворец в конце 1740-х годов). Что касается Царского Села, то самое время ознакомиться с планом фасада главного здания после «надстройки среднего дома»^{125}. Искусствоведы датировали документ 1749–1750 годами, между тем картинка в точности соответствует высочайшему распоряжению 1752-го.

Отметим важную деталь: фасад выдержан в сугубо барочном стиле — еще нет колоннад. Но они уже были в августе 1754 года, когда Царское Село посетил с казенным чертежным инструментом М. И. Махаев, увековечивший шедевр Растрелли в популярной гравюре^{126}. Запечатленный мастером облик дворца появился после того, как в июне

императрица повелела поднять новые галереи, оставшиеся до тех пор одноэтажными, на единый уровень с остальными частями здания. Судя по рисунку Махаева, Царскосельский дворец от Зимнего отличался тем, что имел рустованные полосы на ризалитах и редкие пилястровые вкрапления в линии колонн, тогда как на столичном аналоге и то и другое отсутствует. Эта разница позволяет найти разгадку, почему Царское Село больше не напоминало Петергоф: оно стало испытательным полигоном. На нем проверили, насколько приемлем смешанный стиль на трехэтажном фасаде, и, убедившись в успехе, перенесли композицию, очистив от компромиссов, на фасады Зимнего дворца.

Итак, материнская мыза помогла Елизавете Петровне придать столичной резиденции неповторимый вид. Царица ради эксперимента пожертвовала Царским Селом, а не Петергофом, не решившись изменять что-либо в усадьбе великого отца.

Потребность в главном дворце, непохожем на другие резиденции, возникла осенью 1748 года после торжества русской дипломатии в Европе. Новый международный статус Российской империи — ключевой державы на континенте — надлежало подчеркнуть художественными средствами, и прежде всего величием и блеском царского дома, которыми г-образное жилище Анны Иоанновны похвастаться не могло. Впрочем, в течение 1746 года здание приобрело z-образную форму. Теснота в южном, «луговом» флигеле побудила возвести новый, перпендикулярный к главному, корпус. В итоге тот вплотную примкнул к Адмиралтейству и перекрыл проезд к Неве, ибо предусмотренный в плане арочный проем государыня в июне 1747 года предписала заложить по причине нехватки помещений. Императрицу, видно, не смущал несуразный результат, поскольку она отпраздновала новоселье под Рождество 1746 года, после чего прожила в этом здании еще два года.

Новые задания Растрелли получил от дочери Петра 28 декабря 1748 года в Москве: во-первых, церковь Зимнего дворца увенчать пятью главами (как в Петергофе и Царском Селе); во-вторых, в доме Апраксина сделать парадную красивую анфиладу к Тронному залу. С этого и начались тщетные пятилетние потуги создать что-то уникальное на базе имеющегося. К декабрю 1750-го Растрелли трансформировал апраксинские апартаменты в анфиладу, но на церковный купол сумел втиснуть лишь три главки. 1 января 1752 года императрица ознакомилась с плодами изворотливости обер-архитектора и... разочаровалась: развеялась ее надежда на то, что можно сотворить шедевр дешево и сердито. В ту же минуту царица распорядилась расширить анфиладу, «присовокупя бывший

Рагузинский и Ягушинский дома» к палатам Апраксина, и перенести в покой Рагузинского парадную лестницу «для приезда послам и знатым особам».

Таким образом, в январе 1752 года императрице стала ясна неизбежность укрупнения, причем в разы, объемов будущей резиденции. Посему прежнее внешнее убранство, представлявшее собой нагромождение флигелей разных десятилетий, подлежало ликвидации. Кто должен придумать нечто иное? Естественно, Растрелли. И он подносит государыне на апробацию три плана с фасадами будущей императорской резиденции. А на них... подражание не то Летнему дворцу на углу Фонтанки и Мойки, не то французскому Версалью. Так называемый проект с открытым парадным двором 1753 года — торжество барочного канона с п-образным контуром, рустованными ризалитами, изломанными крышами и изящными скульптурами. Пилястры и редкие колонны используются только на ризалитах. Основная линия фасада аскетично скромна: между окнами — никаких украшений. Неудивительно, что императрица отклонила подобный плод творчества обер-архитектора и заново усадила его за чертежи.

В 1753 году Растрелли приезжал в Москву дважды — в феврале и декабре. По-видимому, конфуз случился в дни первого визита. Тогда же либо на него, либо на августейшую заказицу снизошло озарение: совместить античный портик с «итальянскими» архитектурными принципами. Сомнения в успехе побудили к обкатке идеи в Царском Селе, благо сооружение надстроек там заканчивалось и наступал черед заняться внешним декором. Как раз в 1753 году Елизавета Петровна повелела «одеть» дворец в «литыя из алебастра термусы, машкеры, раковины и прочия фигуры». Исполняли высочайшее приказание артельщики придворного резчика Иоганна Франца Дункера. Параллельно с лепными украшениями возникла колоннада, к лету следующего года полностью опоясавшая стены «среднего дома». Осталось лишь дожидаться высочайшего посещения и узнать, какое впечатление результат произведет на царицу.

Между тем в Санкт-Петербурге времени даром не теряли. Еще 16 февраля 1753 года императрица санкционировала снос домов Ягузинского и Рагузинского и возведение на их месте восточного корпуса, а напротив, вдоль Миллионной улицы — южного. За весну — лето был заложен фундамент и частично возведен цоколь. Осенью Растрелли попытался спасти от слома детище отца — западный корпус. Поднимал потолки, двигал стены — выходило неказисто. Как ни хотелось Елизавете Петровне

встроить дворец Анны Иоанновны в собственный, но пришлось 7 мая 1755 года дать санкцию на его разборку.

В Северную столицу государыня вернулась 25 мая 1754-го. В Царское Село заглянула по дороге, 19 мая, и остановилась там на шесть дней, дабы оценить новый вид дворца. Вердикт вынесла не сразу. Прежде, 30 мая, на пару часов посетила Петергоф, где «изволила смотреть покоев». Императрица сравнила свои впечатления от двух «фасадов» — необычного царскосельского и привычного петергофского, затем еще неделю взвешивала все «за» и «против». Наконец 8 июня по прибытии из Санкт-Петербурга в Царское Село она велела надстроить два этажа поверх новых галерей, соединявших разросшийся «средний дом» с флигелями — церковным и «под коронами». Это предписание означало, что эксперимент признан удачным, ибо галереи надстраивались, чтобы можно было украсить колоннадой весь дворцовый фасад.

Одиннадцатого июня Елизавета Петровна покинула загородную усадьбу, а 16-го в Санкт-Петербурге на встрече с главой Канцелярии от строений В. В. Фермором огласила резолюцию: «При новом Ее Императорского Величества Зимнем доме по учиненному в Москве господином обер-архитектором графом Де-Растрелием фасаду каменным зданием строение без всякого замедления производить, а наперед от луговой стороны к головинскому дому ныне фас строить начать... а старого строения, как ко Адмиралтейству, так и на Неву реку, ничего не ломать». В тот же день императрица учредила специальную контору по снабжению стройки материалами во главе с полковником А. А. Насоновым.

«Старое строение» с парадными покоем, Тронным залом и Светлой галереей разобрали через три года — летом 1757-го. К тому моменту восточный, южный и юго-западный корпуса были полностью закончены. Северо-западный подвели под крышу в 1758 году. Все фасады с колоннадами сдали к осени 1760-го. 1761-й потратили на оштукатуривание внешних стен и отделку интерьеров. Как известно, Елизавета Петровна до финала эпопеи не дожидаясь, и первым в растреллиевский Зимний дворец вселился Петр III. Тем не менее намерение дочери Петра исполнилось: Россия обрела величественную и уникальную столичную резиденцию, под стать международному положению, которого империя достигла в середине XVIII века, да и позднее добивалась неоднократно^{127}.

Глава восемнадцатая

ВНЕ ПОЛИТИКИ

Театр и охота — два главных способа Елизаветы Петровны отвлечься от государственных проблем. Балы, маскарады, куртаги назвать отдыхом сложно: гости развлекались и веселились, а императрица больше общалась с министрами и дипломатами, чем беззаботно танцевала или играла в карты.

Канцлер Бестужев не упускал любой куртажной или бальной okazji, чтобы мимоходом обзавестись высочайшей резолюцией по второстепенным и третьестепенным вопросам. Вот памятная записка из архива Иностранной коллегии за декабрь 1755 года: «На вчерашнем же куртаге по докладу Его Сиятельства... что посланник князь Голицын по дороговизне лондонского жития просит о даче ему на квартиру, Ея Императорское Величество всевысочайше указала, чтоб к нему из коллегии ежегодно по тысяче по двести рублей на квартиру переводимо было». И тут же: «По приложенной при сём барона Пехлина записке, Его Сиятельство... вчерашнаго дня на куртаге докладывал... и Ея Величество указала, чтоб оставшиеся у Корфа денги в диспозицию Его Высочества отданы были»^[128].

Заметим, канцлер — не единственный министр, посещавший по вечерам Зимний или Летний дворец. И то, что другие президенты коллегий и главные командиры канцелярий не имели обыкновения записывать что-либо на память или попросту не сохраняли подобного рода материал, еще не значит, что они не обращались к государыне на маскарадах или балах. А помимо русских министров там присутствовали и иностранные — послы, посланники, резиденты. Разумеется, каждый тоже хотел в неофициальной обстановке побеседовать с императрицей, что-нибудь уладить или о чем-нибудь узнать. Подчас самой Елизавете Петровне требовалось под прикрытием куртага или бала переговорить тет-а-тет с кем-либо из дипкорпуса. К примеру, 5 мая 1745 года она увела голландского посла Даниила де Дье из галереи Зимнего дворца в Янтарный кабинет, где намекнула на условия, при которых Россия не прочь примкнуть к оси Вена — Дрезден — Гаага — Лондон.

Принято считать, что дочь Петра устраивала легендарные маскарады-метаморфозы, когда кавалеры являлись в дамских костюмах, а дамы,

наоборот, в мужских, всего лишь ради забавы и демонстрации собственного изящества в мундире гвардейца или матросской куртке. Но, может, причина заключалась не только в том, что «мужское платье отлично шло» императрице? Ведь что такое дамский костюм середины XVIII века? Нынешним, незамысловатым, не чета: жесткий корсет со шнуровкой плюс широкая юбка на фижменном или «булочном» каркасе (кринолине из китового уса или корзинках из деревянных прутьев). В сих доспехах не то что ходить, а дышать полной грудью — целая наука. Каково было в подобном наряде Бестужеву или Апраксину, Трубецкому или Шувалову бегать по галерее или залу за государыней, чтобы о чем-то проконсультироваться или подsunуть бумагу на подпись, тем более что той в мужском платье легче лавировать между соратниками?

Не придумала ли царица «метаморфозы» специально, чтобы хоть раз в неделю расслабляться на придворной вечеринке по-настоящему? Практиковались они в течение девяти лет, и чем дальше, тем реже. Последний такой маскарад в присутствии императрицы прошел 23 февраля 1750 года, а финальный, уже без главной героини, — 23 октября. Что побудило государыню свернуть забаву? Возможно, состояние здоровья либо утрата прежней красоты фигуры. Или — почему бы и нет — министры научились в меру докучать властительнице на праздниках. Впрочем, велика вероятность, что нужда в спецмероприятиях отпала благодаря воспитанникам Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

Пока великокняжеская чета завершала короткую историю метаморфозных маскарадов, Елизавета Петровна в Зеленой комнате Зимнего дворца собрала труппу кадетов на вторую генеральную репетицию трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». Там же следующим вечером спектакль сыграли для публики. Дебютировали молодые шляхтичи на придворной сцене 8 февраля — правда, в иных, «новых парадных» покоях (со стороны набережной Невы) — исполнением трагедии того же драматурга «Хорев» и французской комедии «Нарцисс». Поздним вечером 19 февраля русскую пьесу повторили. В тот же день Елизавета Петровна распорядилась перевести Бориса Григорьевича Юсупова из президентов Коммерц-коллегии в главные командиры Сухопутного кадетского корпуса. По-видимому, в ночь на 25 февраля, днем позже последней «метаморфозы» с участием царицы, «Хорева» на временной сцене дали в третий раз.

Несомненна связь между двумя событиями, ибо маскарад и спектакль готовились параллельно. 28 января 1750 года в Зимнем дворце состоялся очередной куртаг. Похоже, на нем шталмейстер и генерал-поручик Петр Спиридонович Сумароков, троюродный брат поэта, порекомендовал

Елизавете Петровне прекратить обидные как для мужчин, так и для женщин переодевания и создать домашний театр. Он же посоветовал в качестве артистов привлечь кадетов, которые уже имели опыт выступлений и в Оперном доме, и на камерных вечерах у Б. Г. Юсупова, а режиссером назначить Александра Петровича Сумарокова, генеральс-адъютанта А. Г. Разумовского — именно его драмы ставились в юсуповском особняке. Для постановки во дворце из двух напечатанных пьес Сумарокова, «Хорев» и «Гамлет», выбрали первую.

Двадцать девятого января 1750 года Сумароков-младший явился в бывший дворец Меншикова на Васильевском острове, где размещался корпус, и отобрал 17 воспитанников, которых до Великого поста освободили от всех «классов и... должностей». В сжатые сроки маленький коллектив выучил роли и не оплошал перед знатными зрителями. Но спектакли-то предстояли не разовые, а регулярные. Надлежало проверить, выдержат ли кадеты напряженный график. Так что в феврале 1750 года императрица не отменила «метаморфозы», а только отложила до осени. До осени же разобрали и театр, сооруженный в одной из комнат парадной анфилады.

Третьего мая в роще Царицына луга открылось новое здание Оперного дома, построенного взамен стоявшего поблизости от Невского проспекта, на Малой Конюшенной (Рождественской) улице, и сгоревшего в октябре 1749 года. Здесь, а также в Петергофе все придворные труппы за летний сезон сыграли полтора десятка спектаклей, из них три — 30 мая, 20 и 26 июля — дали кадеты. 30 июля Елизавета Петровна пожаловала труппе Сумарокова шесть тысяч рублей — две драматургу и четыре актерам. Таким образом, императрица поблагодарила их за усердие, но больше мучить детей не собиралась.

Тем не менее она продолжала колебаться относительно возобновления «метаморфоз» и в итоге, судя по всему, надумала чередовать маскарады с кадетскими постановками. В сентябре подопечные Сумарокова снова начали репетировать трагедию «Синав и Трувор», которую уже исполняли в июле на петергофских подмостках. 28 сентября в Летнем дворце состоялся генеральный прогон. В середине октября труппа переехала на период замерзания Невы на жительство в Зимний дворец. А утром 23 октября всех придворных и знатных особ первых двух классов оповестили, что вечером они должны съехаться в Зимний дворец в нарядах противоположного пола.

Собрались часам к шести. Однако забава не заладилась. Душа государыни явно не лежала к возрождению сего развлечения. Часы пробили шесть, затем семь и восемь, но царица к гостям не вышла. Никому

не нужный бал в галерее пришлось вести Екатерине Алексеевне и Петру Федоровичу. Тем временем в соседних помещениях нервничали камер-фурьеры, мундшенки, тафельдекеры и прочая прислуга, не знавшие, где накрывать столы с вечерними блюдами для мнимых дам и кавалеров. По ходу бала им, наконец, сообщили, что трапеза перенесена в столовую их высочеств. Кроме того, по дворцу зашептали о том, что кадетов велено привести в Зеленую комнату, на второй генеральный просмотр. Незадолго до полуночи одни отправились ужинать, другие поднялись на сцену. Императрица, естественно, присутствовала на спектакле — не потому ли, что захотела расслабиться после решения очередной головоломки? Решение же было простое: надоевшие маскарады заменит ее личный театр, в труппу которого войдут не кадеты, а взрослые актеры из числа альтруистов-любителей. Им и доведется в любой из дней по воле хозяйки нейтрализовывать докучавших государыне министров разнообразными диалогами со сцены^{129}.

Поиск продлился более года. 21 декабря 1750 года императрица через генерал-полицмейстера А. Д. Татищева позволила всем желающим устраивать «для увеселения честные компании и вечеринки... или... русские комедии иметь» не эпизодически, как практиковалось прежде, а на постоянной основе. Между тем коллектив Сумарокова еще в течение полугода, до апреля 1751-го, привлекался ею для обеспечения вечернего досуга, и в том числе для постановки обещанной Ломоносовым в августе исторической пьесы из времен Куликовской битвы. Премьеру «трагедии о Мамае» («Тамира и Селим») сыграли 1 декабря 1750 года, затем один или несколько раз повторили. 17 апреля 1751-го эксперимент с кадетами завершили какой-то из сумароковских пьес, после чего Елизавета Петровна набралась терпения в ожидании новостей об успехах какой-либо из партикулярных трупп.

В первые дни 1752 года слух об одном из таких коллективов — ярославском — долетел до нее. Государыня, не мешкая, 3 января «указать соизволила ярославских купцов Федора Григорьева сына Волкова... з братьями Гаврилом и Григорием... и кто им... еще потребны будут, привести в Санкт-Петербург». Волкову, безусловно, повезло — о нем императрице доложили раньше, чем о других охотниках. 3 февраля дюжина ярославцев прибыла в Санкт-Петербург. О том, насколько царица торопилась познакомиться с ними, свидетельствует предписание от 20 января: на почтовой станции Славянка выставить пикет, который должен развернуть провинциальных актеров, когда подъедут, прямо на Царское Село, куда государыня отлучилась на пару дней. В Царском Селе их первая

встреча и произошла.

Примечательно и то, как быстро проэкзаменовали труппу Волкова: 6 февраля они показали первый спектакль, спустя три дня — второй. Увы, дочь Петра пережила очередное разочарование. Дилетанты играли хуже кадетов. Более или менее отвечали столичным вкусам трое — Федор Волков, Иван Дмитриевский и Алексей Попов, прочие же никуда не годились. Вольно или невольно ярославцы отбили у царицы охоту искать таланты на периферии. Впрочем, нет худа без добра. Елизавета Петровна поняла, что в готовом виде компактный и профессиональный актерский коллектив она не отыщет и придется создавать его с нуля. Этим она и занялась на исходе зимы 1752 года при активной помощи братьев Сумароковых.

Среди придворных певчих императрица отобрала семерых самых, на ее взгляд, способных и 25 февраля отправила их в кадетский корпус. Под опекой Б. Г. Юсупова им предстояло выучиться французскому и немецкому языкам, танцам и иным изящным искусствам, но не «экзерцициям воинским». Таким образом, внутри военно-учебного заведения возникло нечто вроде театрального училища. 8 сентября к певчим присоединились два ярославца — Дмитриевский и Попов. А вот Федора Волкова в «училище» не послали, хотя ярославскую труппу царица расформировала 18 июля, предложив всем, за исключением трех избранников, возвратиться домой. Вожак ярославцев, не блиставший солидными знаниями, на учебу не был отправлен, следовательно, он попал в немилость, о причине которой можно лишь гадать. Прожив в Санкт-Петербурге до конца 1752 года, Волков переехал в Москву, где вместе с братом Григорием подрабатывал работать в одной из частных трупп.

Впрочем, ему опять повезло. 17 июня 1753 года кадетские офицеры Петр Мелиссино, Дитрих Остервальд и Петр Свистунов, три года назад игравшие в кадетской группе Александра Сумарокова, приступили к преподаванию семи певчим и двум ярославцам театрального мастерства на примере трагедии «Синав и Трувор». К зиме выяснилось, что из девяти человек талантом обладают четверо — певчие Евстафий Сичкарев, Петр Сухомлинов и оба ярославца. Тратить месяцы на естественный отбор среди новых кандидатов из певчих императрица не планировала, потому и вспомнила о братьях Волковых, благо двор в декабре 1753 года находился в Москве.

Девятого февраля 1754 года им выдали подорожные. 26 февраля до Северной столицы добрался Григорий, 21 марта — Федор. Кроме них прислали певчего Прокофия Полтавцева. Но и с ним тоже ошиблись. В

итоге в январе 1755 года театральное отделение Сухопутного кадетского корпуса окончили шесть первых профессиональных русских актеров. Они то и составили личную труппу императрицы Елизаветы Петровны, дебютировав на сцене Зеленого театра 9 февраля 1755 года в сумароковской пьесе «Хорев». И они же через полтора года стали ядром первого публичного русского театра, учрежденного императрицей указом от 30 августа 1756 года, возглавляемого А. П. Сумароковым, сыгравшего первое представление в деревянном Зимнем дворце 1 февраля 1757 года^{130}.

Такая вот ирония судьбы: слава русского театра прогремела на весь мир, но никто не помнит, что помогли ему родиться П. С. Сумароков и Б. Г. Юсупов. Все лавры достались Сумарокову-младшему и Федору Волкову. Мотивы участия самой императрицы в процессе создания театра тоже никому не интересны. Зато другая театральная история, связанная с ней, за два века превратилась в форменный анекдот. С легкой руки Екатерины II Никита Афанасьевич Бекетов, исполнитель роли Трувора в Сумарокове кой пьесе, давно считается серьезным соперником Ивана Шувалова в состязании на право стать царским фаворитом. Трудно не поверить августейшей мемуаристке, если не знать всех обстоятельств возвышения скромного пажа.

Кого только не записали современники и потомки в фавориты Елизаветы Петровны: от Лестока и Абрама Ганнибала до Арсения Могиланского, епископа Переславль-Залесского и Дмитровского и по совместительству архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Источник информации о последнем — Авдотья Яковлевна Лебратовская, жена директора пятого китайского каравана, вхожая ко двору. Но разве можно поверить в то, что в сентябре 1744 года в Киеве набожная Елизавета Петровна «изволила... амурно любитца» с преосвященным архиереем?

«Случай» Бекетова — еще один миф, появившийся со зла или по недоразумению. Кадет играл в спектаклях Сумарокова и в парадной анфиладе, и в Зеленой комнате Зимнего дворца с февраля 1750 года по весну 1751-го — правда, не слишком талантливо, поскольку в 1753 году его не привлекли к обучению первой группы профессиональных русских актеров. Наверняка императрица симпатизировала Бекетову, раз 17 марта 1751 года пожаловала его в генеральс-адъютанты Разумовского в ранге премьер-майора. Впрочем, само производство в адъютанты главного фаворита подтверждает отсутствие амурной подоплеки. И покинул престижное место Никита Афанасьевич не из-за интриг Мавры Шуваловой и не по подозрению в содомном грехе, а «по ево прошению». Дата перевода полковника Бекетова в армию, 23 июня 1757 года, говорит сама за себя.

Армия С. Ф. Апраксина уже форсировала Неман и приближалась к Гросс-Егерсдорфу. Тогда многие, даже сугубо штатские, рвались волонтерами на войну с пруссаками^{131}.

Что касается тайного брака Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским, то, скорее всего, это миф. Официальный брак, тайный или открытый, требовал регистрации, во-первых, в епархиальной книге венечных пошлин (за венечную память), во-вторых, в метрической книге той церкви, священник которой совершал обряд (не строго обязательно). Допустим, дочь Петра Великого и сын казака Разумовский обвенчались в церкви села Перова. Как отнеслись бы к мезальянсу те, кто служил царице опорой, — соратники, знать, дворянство? Неужели молча проглотили бы вызывающий демарш? Стоило слуху о законном браке распространиться в высшем обществе, как репутация дочери Петра погибла бы. В свое время Н. И. Панин сказал, что не станет подчиняться «госпоже Орловой». Почему же мы сейчас уверены в том, что Трубецкие, Голицыны и иже с ними с радостью покорились «госпоже Разумовской»?

Может, потому и покорились, что ведали истину: никто царицу с фаворитом не венчал! Следовательно, брака не было? Не совсем так. Вспомним, как в 1741–1744 годах Елизавета Петровна завоевывала авторитет среди духовенства, скольким пожертвовала ради того, чтобы позднее кое в чем идти наперекор священникам. И те прощали ей всеслушания. Но простили бы они ту, которая днем педантична в соблюдении всех православных обрядов, а ночью блудит с любовником-мужиком? Вот она, коварная ловушка, в какую угодила Елизавета Петровна: выходить замуж за Разумовского нельзя — потеряешь доверие высшего света; сожительствовать вне брака тоже нельзя — потеряешь доверие высшего духовенства. А прогнать Разумовского для нее, видно, хуже смерти. Как же вывернуться из западни?

Оказывается, есть выход — брачное клятвенное обещание, освященное благословением духовника, на манер тех присяжных обещаний, что давал каждый подданный императрицы после очередного повышения в чине. Лист бумаги с признанием императрицы женой А. Г. Разумовского, подписанный ею в присутствии Ф. Я. Дубянского и им засвидетельствованный, но не обладавший никакой юридической силой, вполне устроил бы и Елизавету Петровну, и дворянство, и духовенство.

В 1863 году некто анонимно опубликовал сообщение об услышанном им двадцатью годами ранее откровении С. С. Уварова, зятя племянника Разумовского: будто бы в 1763 году Алексей Григорьевич в присутствии М. И. Воронцова, приехавшего по просьбе Екатерины II ознакомиться с

венечной памятью, узаконившей отношения казака с императрицей, сжег в камине какую-то бумагу, так и не предъявив ее гостю. Почему же Алексей Григорьевич уничтожил драгоценный документ? Не потому ли, что хранил не обычное свидетельство о браке, а уникальное, которое никак не могло помочь новой государыне выйти замуж за Григория Орлова, зато шуму произвело бы в обществе немало, причем с непредсказуемыми последствиями. И что скорее смутило бы умы — заурядная венечная память или никем доселе не виданный царский присяжный лист?

Уведомив о нем узкий круг тех, чье мнение определяло позицию благородного сословия России, Дубянский и два-три свидетеля моментально сняли бы с повестки дня проблему морального облика первого лица государства. От посвященных сенсационная новость полуофициально разошлась дальше. Россияне о ней деликатно умолчали, чего не скажешь об иностранцах. Однако оригинальность прецедента и трудности перевода повлияли на восприятие информации западными дипломатами, интерпретировавшими событие как тайный брак. Саксонский посланник И. С. Петцольд, французский Л. д'Альон, прусский К. Финкенштейн в 1747 году выяснили, что церемония состоялась «несколько лет тому назад» в присутствии Мавры Шуваловой и Лестока^{132}.

Биограф Разумовских А. А. Васильчиков, сославшись на некое предание, датировал «венчание» осенью 1742 года. Думается, эта датировка ошибочна, и не только потому, что упомянутым в предании селом Перовом до ноября 1743 года владел генерал-майор А. Р. Брюс. Вычислить время брачной присяги позволяют взаимоотношения императрицы с Церковью и поведение А. Я. Шубина. Елизавета Петровна впервые поступила в религиозном вопросе вопреки мнению архиереев в декабре 1744 года; значит, к той поре статус ее фаворита обрел приемлемую для духовенства форму. Самый щедрый подарок Синоду — имущественный — государыня сделала 15 июля 1744 года, и он стал весьма удобным фоном для произнесения клятвы верности Разумовскому. С другой стороны, Алексей Шубин, в марте 1743-го вернувшийся из Сибири, высочайше обласканный, сразу из гвардейских прапорщиков вознесшийся до гвардии премьер-майора и армии генерал-майора, год спустя, в июле 1744-го, вдруг попросил о полной отставке, и 26 июля государыня отправила первого фаворита на заслуженный отдых с чином генерал-поручика. Что же побудило Шубина внезапно оставить двор, а Елизавету Петровну без возражений отпустить очень близкого человека? Не то ли обстоятельство, что дилемма, с кем из мужчин она останется,

наконец, разрешилась и отвергнутый дворянин не пожелал жить подле победителя-казака?

Кроме того, июль 1744 года — канун поездки императрицы на Украину и знакомства с престонародной родней Разумовского, не искушенной в придворном обхождении, привыкшей к заповедям православной веры и вековым традициям. В каком качестве могла приветствовать семью Алексея Разумовского российская императрица — его сердечной подружки или супруги — пусть не по закону, но, по крайней мере, перед Богом? К тому же у пары имелись дети — не родные, приемные.

Петр, Алексей и Прасковья Бутаковы лишились отца, Григория Ивановича, в 1741 году, матери, Евдокии Лаврентьевны, — летом 1743-го. Елизавета Петровна тотчас взяла их к себе во дворец. Мальчиков записала в пажи, девочку поручила итальянке Иоганне Петровне Ноли, опекавшей малолетних детей, живших при дворце. Братьев вскоре прикомандировали к кадетскому корпусу — учить немецкий язык, и оба периодически отлучались на Васильевский остров. Сестра, самая младшая, никуда не ездила и, видно, часто прибегала с первого этажа Зимнего дворца на второй, чтобы поиграть или просто посидеть возле императрицы, заменившей ей мать. Так или иначе, а Елизавета Петровна настолько привязалась к Прасковье, что всегда брала ее с собой в большие путешествия, каковых за всё царствование совершила пять — четыре в Москву и одно на Украину.

В 1742 году Елизавета Петровна приезжала в старую столицу на коронацию, состоявшуюся 25 апреля, и прожила почти до Рождества. Тогда Бутаковы сопровождали императрицу вместе с матерью. В 1744 году в Москву привозили лишь Прасковью — кстати, в одном кортеже с герцогиней и принцессой Ангальт-Цербстскими. В декабре 1748-го подросткую девицу пожаловали во фрейлины и отдали под присмотр Екатерины Петровны Шмидт, с которой она и приехала в Белокаменную в марте 1749 года. Наконец, в 1752–1754 годах Прасковья посетила Москву по долгу службы, будучи одной из придворных дам в свите приемной матери.

Всего лишь раз, в феврале 1758 года, императрица отпустила от себя «дочку» в самостоятельный вояж в Ростов Великий, поклониться новообретенным мощам святителя Димитрия Ростовского. Даже замуж за корнета Конной гвардии Сергея Николаевича Строганова Прасковья Бутакова вышла 11 ноября 1761 года после неоднократного в течение года откладывания «матушкой» свадьбы. Оба брата фрейлины до 1757 года

были пажами, потом камер-пажами. В августе 1758 года младший, Алексей, умер. Петр в декабре 1760-го выпросился у государыни в Конную гвардию поручиком. Не он ли сосватал сестру за барона Строганова?

Конечно, помимо Бутаковых, Елизавета Петровна заботилась о племянниках Разумовского, младенце Павле Петровиче, других детях. И всё же этих троих любила по-особому, действительно как родных. Недаром фрейлины, наблюдавшие за отношением царицы к Прасковье Григорьевне, нисколько не сомневались в том, что та — царских кровей. Вряд ли это так, учитывая обстоятельства появления младших Бутаковых в царском дворце^{133}.

Между тем в научной и популярной литературе в чести версия о рождении у Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского дочери Августы, которую позднее вывезли за границу, а Екатерина II выманила на родину и поместила в московский Ивановский монастырь под именем Досифея. Однако утверждения, что инокиня Досифея (?—1810) и принцесса Августа — одно и то же лицо, до сих пор не подкреплены никакими документами и основываются исключительно на легенде, возникшей в XIX веке.

Глава девятнадцатая

«НОВАЯ СЕРБИЯ»

Весной 1751 года в Вене произошло событие, едва не выдвинувшее Пруссию в лидеры Европы с утратой этого статуса Россией. В середине мая с российским послом в Австрии М. П. Бестужевым-Рюминым скрытно встретился «полковник, весьма искусной офицер, именем Иван Хорват от Куртич». Он сообщил дипломату, что «имеет крайнее желание по единоверию и всегдашней усердности не токмо быть в службе, но и вечно остатца в подданстве» у «самой истинной благочестивейшей государыни», добавив, что того же хотят и многие его соплеменники — сербы, с полвека назад оказавшиеся под скипетром Священной Римской империи, а теперь из-за гонений за веру искавшие иное пристанище. Естественно, взоры православного народа обратились на Россию. Полковник попросил «около Батурина или где инде на Украине... отвести выгодные места, куды б они... чрез Токай фамилиями выходить и... селиться могли», и заверил, что за собственный счет сформирует целый гусарский полк в тысячу сабель с полной экипировкой, а за российский — пехотный полк иррегулярных пандуров в две тысячи штыков. За это он надеялся получить чин генерал-майора с правом пожизненного шефства над гусарским полком и передачи командования по наследству.

Разумеется, старший брат российского канцлера отреагировал на визит Хорвата предсказуемо — энергично поддержал миграционные планы «искусного офицера» и не замедлил в реляции от 22 мая проинформировать о них императрицу, напомнив, во-первых, о «попечениях» Петра Великого о приглашении «тех... народов... во свое подданство, в разсуждении их особливо храбрости, благочестия, сходства и природной нелицемерной преданности к российской нации»; во-вторых, «что они во время войны с турками полезнее других быть могут». Действительно, переезжать в Россию собирались не просто сербские обыватели, а «граничары», охраняющие австрийские рубежи от османских набегов, препятствующие проникновению «прилипчивых» болезней и контрабандных товаров и ведущие соответствующий образ жизни, то есть представлявшие собой подобие малороссийского, донского и яицкого казачества.

В Санкт-Петербург сенсационная новость пришла недели через три, взбудоражив и воодушевив столичную общественность. С огромным энтузиазмом на нее откликнулись сенаторы, и в Иностранной коллегии

тоже обрадовались. Похоже, только Елизавету Петровну депеша Бестужева не на шутку встревожила. Царица, в отличие от общественности, сразу поняла, чем чревата для империи инициатива Хорвата. Кстати, канцлер разглядел только одну опасность — охлаждение австро-русских отношений, вторую же — угрозу военного конфликта с Турцией — никто, кроме государыни, не увидел. Поэтому ее ближайшее окружение было недовольно высочайшей волей, выраженной 13 июня 1751 года: переселение не запрещать, удовлетворив чаяния граничар по минимуму, и настоятельно рекомендовать им обосноваться не на Украине, а «в других некоторых местах нашей империи, которые для житья человеческого не меньше выгодны», — в Поволжье или Оренбургской губернии. Сановники-панслависты добились сочинения и поднесения императрице альтернативного проекта рескрипта Бестужеву-старшему, «в котором наставления пространнее и кондиции для помянутых сербов решительнее написаны».

Однако монархиня не передумала. 9 июля в присутствии Алексея Бестужева и Михаила Воронцова она внимательно прочитала оба варианта, первоначальный текст одобрила, откорректированный отклонила, пояснив: «...о кондициях пространно написано». По обыкновению завизировала документ не сразу, а спустя два дня. Коллежское руководство контрассигновало рескрипт 13 июля, после чего курьер помчался с ним в Австрию. Правда царицы по первому пункту очевидна: никому не понравится существенное ослабление пограничных застав путем массового вывоза лучших воинов в соседнюю державу — неважно, враждебную или союзную, а потому подстегивать эмиграционный процесс обещаниями дополнительных льгот и привилегий крайне опрометчиво.

Не случайно в указе появился пассаж о «других некоторых местах» для расселения иммигрантов помимо Украины. Граничары привыкли в Австрии стеречь рубежи от османов и татар и в России, конечно, предпочтут защищать границу от них же. Между тем размещать сербов придется не в Батурине, где издавна обосновались украинцы, а в двух отвоеванных при Анне Иоанновне демилитаризованных зонах — на правом берегу Днепра южнее Киева или на левом берегу севернее Азова, в практически открытой степи. Новопоселенцам придется обживаться под постоянным риском татарского нападения, и они поневоле потребуют от властей поставить заслон на направлении возможной атаки. А строительство крепости возмутит Стамбул, и турки не успокоятся, пока форпост не будет срыт. Отказ может спровоцировать войну... к великой радости Фридриха II.

Во избежание сих мрачных перспектив императрица и предложила внушать сербам, что служить за Волгой или на Яике ничем не хуже, чем на Украине. Но они, увы, не поверили. Первая партия граничар — 218 человек во главе с самим Иваном Хорватом — добралась до Киева 10 октября 1751 года. Учитывая, что офицеры выезжали из Австрии с семьями, говорить о скором появлении в русской армии нового гусарского полка не приходилось. Отток православных военных специалистов из владений Марии Терезии на восток пробуксовывал с первых дней кампании, а по прошествии полутора лет и вовсе застопорился из-за сопротивления официальной Вены. К тому же Хорват преувеличивал степень сербского недовольства политикой Габсбургов.

Граничары не особо стремились покинуть насиженные места. При всех издержках нескончаемых споров и конфликтов с венграми и католической церковью они научились преодолевать трудности и отстаивать свободы, пожалованные им в августе 1690 года императором Леопольдом I. Да и правящая династия не слишком притесняла «бедную» нацию. С ней имелись противоречия по религиозным вопросам (обязанность отмечать католические праздники, ограничения при строительстве и ремонте храмов, латинизация школ, сокращение полномочий митрополита). Зато в административных, экономических и военных вопросах стороны ладили.

Впрочем, 20 июня 1745 года Мария Терезия обнародовала акт о расформировании двух из четырех сербских погранзон — Поморишской и Потисской. В связи с перенесением в 1718 году реальной границы вглубь Валахии предполагалось перевести заставы к ней поближе, в провинцию Банат, а военные поселения у Тисы и Мориша (*венг.* Марош, *рум.* Муреш) отдать под юрисдикцию Венгерского королевства. Граничары могли либо переехать с сохранением всех прежних привилегий, либо остаться в родных местах в качестве обычных подданных. На размышление и урегулирование имущественных дел давалось три года.

Комиссия, отвечавшая за организацию перевода, работала неспешно, в случае нужды прибегая к плебисцитам, на которых выясняла, сколько военных хочет продолжить службу и сколько намерено демобилизоваться. Раскассирование застав на Тисе началось в 1745 году, на Морише — в 1746-м. Новое штатное расписание сербского войска предусматривало всего три пехотных и два гусарских полка. Среди претендентов на командование одним из них значился подполковник Иван Хорватиз моришского «шанца» Печке, пользовавшийся высоким авторитетом у земляков. Узнав, что полки не получит, он попытался добиться своего иным способом: летом 1750 года спровоцировал народные волнения с

требованиями остановить ликвидацию сербских поселений. Движение поддержал другой популярный подполковник, Иван Шевич из городка Чанад. Во время этого «мятежа» и родилась идея исхода всем миром в Россию. Шевич искренне проникся ею, Хорват же до весны 1751-го использовал как средство давления на венский двор, однако вновь просчитался.

Мария Терезия, посредством плебисцита убедившись, что большинство «бунтовщиков» не намерены покидать службу, ограничилась пожалованием Хорвату звания полковника без назначения командиром полка. Не удовлетворенный этим офицер решил искать вожделенной должности в России и постарался избавиться от конкурента. В итоге весной 1751 года Шевич угодил под суд, а Хорват первым явился в российское посольство. Тогда же австрийский гофкригсрат приступил к рассмотрению прошений друзей и родственников лидера «русской» партии об отпуске на службу в соседнюю державу. Мария Терезия позволила им всем уехать, с мая по август утвердив несколько десятков паспортов на выезд. Сам предводитель обрел «свободу» 24 июня 1751 года.

Пока Шевич отбивался от суда, команда Хорвата отправилась в Киев. Лишь 2 октября австрийцы оправдали подполковника и согласились отпустить с семьей в Россию. Впрочем, в путь он тронулся летом 1752 года, потратив несколько месяцев на тайную вербовку в русскую службу собственных приятелей и родственников. Стоило австрийцам обнаружить, что таковых подозрительно много, как выдачу загранпаспортов тут же прекратили, пропаганду о преимуществах жизни в России запретили, а заявки на выезд стали изучать крайне придирчиво. Одновременно с Шевичем в Российскую империю поспешил еще один сербский подполковник, Райко Прерадович, после пяти месяцев тюрьмы с трудом вырвавший у властей разрешение на эмиграцию. После переезда этих двух групп закрылся легальный канал пополнения русского граничарского полка до обещанной тысячи штыков. Оставалось прибегнуть к нелегальной вербовке и тем самым внести раздор в дотоле крепкий русско-австрийский союз. Не о том ли мечтал Фридрих II с 1746 года?

Разумеется, Хорват подобные тонкости не учитывал. В Австрию помчались его агенты Николай Чорба, Федор Чорба и Филипп Миркович — соблазнять службой в России тех соплеменников, что обустроивались на новых местах — в придунайском Банате и славонском Среме. Авантюра обернулась конфузом. Троицу поймали, разоблачили и осудили. 11 мая 1752 года королева, раздраженная недружественной акцией союзного двора, подписала «Royal-Patent», обрекавший на казнь каждого, кто осмеливался

переманивать граничаров под протекцию иных государей. Трех арестантов на первый раз простили и выдворили из страны. В середине июня они несолоно хлебавши вернулись к Хорвату.

Скандал явился первой трещиной в русско-австрийском альянсе, которая могла разрастись до пропасти, ибо горячие головы в Санкт-Петербурге настаивали на принуждении Австрии к «выдаче» необходимых Хорвату, по крайней мере, пятисот воинов. Пыл сенаторов и членов Военной коллегии остудили Елизавета Петровна и Бестужев-младший. 6 января 1752 года Иностранная коллегия официально известила Сенат, что государыня, считая требование от Вены «публичного вербунга» на 500 или тысячу человек нереальными («ненадежными»), предписала дипломатам пытаться добиться этого не ультиматумами, а «дружескими» уговорами, используя такие доводы, как возможность эмиграции недовольных сербов в басурманскую Турцию.

Нейтрализовав угрозу ссоры с союзницей, царица позаботилась о сведении к минимуму второй угрозы — конфликта с османами. Насколько она серьезна, выяснилось 26 декабря 1751 года, когда сенаторы выслушали мнение генерал-майора Хорвата (звание присвоено двумя днями ранее) о будущем сербской колонии: поселиться на правом берегу Днепра, в малолюдном степном анклаве, принадлежавшем России с 1739 года, под защитой «приличной крепости». Хорват попытался заинтересовать русских сановников проектом формирования двух гусарских и двух пандурских национальных полков — сербского, македонского, болгарского и валашского. Македонцы, болгары и валахи (румыны) в то время являлись подданными султана. Похоже, отсылая эмиссаров в Венгрию, генерал сомневался в успехе и позаботился о запасном варианте — наборе в собственный полк под видом сербов соседей по Балканам. 27 декабря Сенат одобрил все ключевые пункты доклада и придумал название колонии — «Новая Сербия».

Четвертого января 1752 года императрица узаконила сенатскую резолюцию и назначила главным командиром со стороны России генерал-майора артиллерии И. Ф. Глебова, а крепости дала имя Святой Елизаветы. Планировалось создание линии из трех цитаделей: в центре — большая (на четырех-тысячный гарнизон), на флангах — две поменьше (на две тысячи бойцов). В восточную цитадель преобразился форпост Мишурин Рог на берегу Днепра. Западный «шанец», южнее Архангельского городка, предстояло построить.

Хотя граничаров постарались максимально отдалить от турецких владений, а потому буквально прижали к границе с Польшей на узкой

полоске от Архангельского городка (ныне Новоархангельск) через Новомиргород к Кременчугу, в Стамбуле перспектива появления сербской пограничной охраны и особенно земляной фортеции немногим южнее основной линии расселения вызвала настороженность. Из Крыма поползли слухи, что Ногайская и Буджацкая орды зимой совершат набег на новых соседей. К счастью, они не подтвердились.

Между тем «дружеское» давление на Марию Терезию принесло плоды: она согласилась отпустить в Россию тех, кому уже выписали или пообещали выписать паспорта. Именно в эту волну попал и подполковник Прерадович. На этом официальная иммиграция сербов в Россию закончилась. Немногие смельчаки, уезжавшие после них, рисковали головой и теряли имущество. А среди иммигрантов 1752 года произошел раскол: до половины офицеров и рядовых не желали служить «под командою Хорватовою», и прежде всего Шевич, который 24 октября добрался до Киева, приведя с собой обоз и около трехсот человек обоего пола.

Елизавета Петровна не преминула воспользоваться okazjiей — 2 ноября она распорядилась «сербенина Шевича с находящимися при нем... селить около Казани или в других местах по Волге» и прекратить практику выживания малороссиян из «Новой Сербии». Впрочем, попытка создать прецедент, чтобы со временем переманить в Поволжье всех сербов, провалилась. Сенаторы еще 23 сентября постановили: если оппоненты Хорвата откажутся жить в «Новой Сербии» или за Волгой, разместить их на Левобережье Днепра, в районе городов Тора (ныне Славянск) и Бахмута (ныне Артемовск). Проблему формирования полков решили 6 ноября 1752 года: скрепя сердце Сенат утвердил идею Хорвата, «выходящих из польской области волохов, молдавцев и болгар и прочаго православного греческаго народа людей... в Новую Сербию на поселение и в вечное Ее Императорского Величества подданство принимать». А фактическое изгнание за Днепр малороссиян, чьи дома скупали новопоселенцы, готовились признать де-юре. 20 ноября императрица формально капитулировала перед членами Императорского совета, уговаривавшими ее предпочесть казанской линии украинскую и не защищать подданных гетмана: предписала составить доклад и поднести ей на подпись. Фактически борьба за казанский вариант и интересы подданных гетмана продолжилась. 4 декабря Сенат намеревался вместе с Военной и Иностранной коллегиями уточнить дислокацию колонистов Шевича и Прерадовича. Конференция сорвалась по вине «заболевших» чуть ли не всем составом военных. Болели генералы подозрительно долго, а

излечились сразу после того, как 22 марта 1753 года П. И. Шувалов от имени императрицы поинтересовался у сенаторов, по какой причине один из намеченных в ноябре для совместного обсуждения вопросов (подселение к сербам «природных» русских) до сих пор не рассмотрен.

Члены двух коллегий и сенаторы встретились 31 марта. На другой день выработали проект решения: ниже старой Украинской оборонительной линии учредить новую; сектор от места впадения в Днепр реки Самары до Бахмута поручить охранять полкам ландмилиции, а от Бахмута до Лугани — сербам Шевича и Прерадовича; крепость Святой Елизаветы строить на реке Ингул в четырех верстах южнее «владений» Хорвата. Судя по всему, царица надеялась склонить министров к уступкам, но 17 мая всё же санкционировала их резолюцию. Примечательно, что «бастовали» военные, а не дипломаты. А. П. Бестужев-Рюмин и М. И. Воронцов, устранив угрозу ссоры с Австрией, иных опасностей не видели и откровенно примкнули к общественному мнению, сочувствовавшему сербам, так что помогали императрице два члена Военной коллегии — С. Ф. Апраксин и П. С. Сумароков^{134}.

Безоглядная солидарность с братским народом едва не стоила России больших неприятностей. Молчание Порты было обманчивым. Она не торопилась поднимать шум, пока отсутствовал веский повод — закладка крепости, зато обстановку в «Новой Сербии» отслеживала, не жалея денег на шпионаж. В октябре 1753 года активность османских разведчиков засекли подчиненные Хорвата и Глебова, о чем тут же было сообщено в Москву, где обретался двор. Между тем свыше двух лет сербских колонистов от татар охранял лишь Мишурин Рог. Проектирование «шанца» южнее Архангельского городка Сенат приостановил 2 мая 1754 года. Чертежи и сметы будущего Елисаветграда (ныне Кировоград) сенаторы утвердили 4 февраля 1754 года, а 12 июня началось строительство. Повод для протестов появился...

Четвертого июня 1754 года резидент в Стамбуле А. М. Обресков проинформировал реис-эфенди (главу турецкого МИДа), что русские приступают к работам в верховьях реки Ингул, а через день прислал карту с обозначением координат новой фортеции. 7 июня султан Махмуд I вынес вопрос на обсуждение правительства-дивана, а 8-го на совещании пять чиновников — верховный визирь Мустафа-паша, реис-эфенди, тефтердарь (государственный казначей), мехтупчий (государственный секретарь) и придворный географ — признали действия России недружественными и в перспективе опасными. «Ястребы» во главе с реис-эфенди предлагали разорвать отношения с соседней империей, то есть стояли за войну.

«Голуби», предводимые тефтер-дарем, настаивали на дипломатическом давлении вместе с Австрией и Англией с целью прекращения строительства. Мустафа-паша выбрал второй вариант. Уже 11 июня он прозондировал позицию британца Джеймса Портера и цесарца Генриха Пенклера. Посланники заверили визиря, что крепость на Ингуле не нарушает условия Белградского трактата (1739).

Тем не менее турки не успокоились. 16, 18 и 21 июня члены дивана вели споры. В итоге победила точка зрения тефтердаря: дожждаться реакции Елизаветы Петровны, во-первых, на реляцию Обрескова с изложением позиции Порты, во-вторых, на посредничество англо-австрийского дуэта, встревоженного назревавшим конфликтом из-за крепости в причерноморской степи. Расчет казначея оправдался: Мария Терезия и британский премьер Томас Пелэм-Холлс поручили своим послам убедить Санкт-Петербург попусту не дразнить османов и заморозить сооружение фортеции. Депеша Обрескова, датированная 26 июня, была доставлена спустя месяц. Ознакомившись с ней, канцлер прозрел. Недаром на полях копии реляции, поднесенной императрице, он постарался обелить себя ссылками на то, что с первых дней предлагал сербам «для поселения отвести... земли по Волге» и что «всевысочайше» не Иностранной коллегии, а «в ведомство и распоряжение Сената поручено» «всё оное дело». Сокрушался по поводу бед малороссиян, целыми фамилиями выехавших в Польшу, и великого фавора Хорвата. Предрекал «худые следствия» со стороны Турции от наплыва «в Новую Сербию без разбора подданных ея волохов, молдавцов и других» и даже не исключал военного союза между султаном и королем Пруссии.

Смуцает одно: протоколы приемов государыней канцлера и вице-канцлера в 1751–1753 годах не зафиксировали при докладах по сербской проблеме вышеописанной самоотверженности, если не задевались интересы Австрии. Более того, не Бестужев или Воронцов, а именно императрица на встрече с ними 2 ноября 1752 года «вспомнила», что Шевича надлежит отправить в Казань. Но даже понимание ошибочности прежнего курса никак не отразилось на содержании рескрипта Обрескову от 22 августа, завизированного в том числе Бестужевым: резидент уполномочивался позаботиться об уменьшении «горячности» османов, но жертвовать крепостью пока не планировалось — при дворе мало кто посчитал возмущение Порты достаточным основанием для ретирады. Сенат 5 августа лишь запретил сообщать о строительстве цитадели в газетах.

Ситуация изменилась после того, как послы Австрии и Англии

попросили из-за крепости не ссориться с Турцией, предупредив, что игнорирование претензий последней подтолкнет ее к альянсу с Пруссией. 10 ноября британский посланник Мельхиор Гвидекинс передал канцлеру пакет с подборкой свидетельств серьезности турецких намерений. Они, естественно, пошатнули единство просербского большинства, чем и воспользовалась императрица. Новый рескрипт от 23 ноября 1754 года уже допускал во избежание сближения Порты «с Франциею, Швециею и с прусским двором» в самом крайнем случае, «а не прежде», уведомить министров султана, что «мы... склоняемся... строение... крепости так оставить, как оно теперь есть».

Высочайший карт-бланш подоспел в Стамбул как нельзя вовремя. Обресков, не меньший друг сербов, чем сенаторы или военные, ловкой интригой нейтрализовал наметившееся осенью 1754 года турецко-прусское сближение. 29 октября османы прочитали текст августовского рескрипта русской царицы. Разочарование породило внутри правительства-дивана еще более бурные споры, как урезонить русских. Наконец обе партии пришли к компромиссу, решив налаживать взаимовыгодное партнерство с пруссаками при помощи шведов. Российский резидент парировал возникшую опасность, отыскав среди домашней челяди Махмуда I влиятельного противника русско-турецкой войны и 3 ноября побеседовав с ним с глазу на глаз. 18-го числа тот сообщил, что султан более не настаивает на ликвидации русской крепости. Сенсационный вердикт был обнародован 1 декабря: из уважения к России монарх повелел «от того отстать и от противного миру поступка оберегаться».

Но Обресков торжествовал недолго. 2 декабря больной астмой Махмуд I умер, на престол взошел его брат Осман III, и верховный визирь, не мешкая, попытался добиться пересмотра указа о русской фортеции. В середине декабря султан, ознакомившись с оценкой ситуации крымским ханом Арслан-Гиреем, утвердил курс на развязывание войны. Визирь тут же распорядился о подготовке вооружения и припасов к военному походу, пригласил шведского резидента на роль посредника в турецко-прусском диалоге и вызвал в столицу властителя Крыма. 19 декабря стартовала процедура переаккредитации дипкорпуса. Обрескову предстояло 29 декабря завершить череду встреч — или оказаться единственным, кто вместо резиденции визиря попадет в Семибашенный замок.

Посланник не сразу сообразил, какие тучи над ним сгущаются. 25-го числа российское посольство посетил переводчик Порты с предупреждением: верховный визирь желает знать, получен ли из Санкт-Петербурга ответ императрицы. На другой день его русский коллега

сообщил реис-эфенди, что российский резидент огласит «нечто» на аудиенции 29 декабря. Министр попросил уточнить, пойдет ли речь о крепости Святой Елизаветы. Переводчик отговорился неведением. Тогда помощник реис-эфенди с сожалением произнес, что, скорее всего, из-за чрезмерной занятости верховного визиря свидание не состоится. Обресков понял, что промедление смерти подобно, надо идти на уступку, благо ноябрьский рескрипт царицы курьер привез ему как раз накануне визита турецкого толмача.

Двадцать седьмого декабря российский резидент вручил Порте ноту о приостановлении работ в крепости. Новость мгновенно разрядила ситуацию: опасность войны миновала, военные сборы и контакты со шведскими дипломатами прекратились, зато были инициированы консультации о способах контроля за соблюдением русскими данного слова. Российская сторона не возражала. 12 декабря И. Ф. Глебов отписал в Стамбул: «Крепость Святыя Елисаветы прошедшим летом действительно строит начата и почти в половину, что надлежит до фортификационного укрепления, а паче земляного исправлено. А будущим летом... уповаю, в достаточное оборонительное состояние приведена быть может». Однако в 1755 году ее не строили, в чем и убедились два турецких комиссара, Девлет Али-Сеид-ага и паша Болат-ага, посетившие фортецию 15–16 сентября. Строительство возобновилось 12 августа 1756-го. Под надзором коменданта 300 казаков и два десятка плотников к холодам окружили город палисадом, возвели здания провиантского магазина, порохового погреба, солдатские казармы и дома для офицеров. Турки, проведав о том, не возроптали — в Европе уже запылала большая война, и Россия собиралась участвовать в ней, что лучше всяких нот, клятв и инспекций убедило Порту в отсутствии у русских антитурецких агрессивных замыслов.

Конфликт был исчерпан. Обе колонии (левобережную, под руководством приехавших летом 1754 года Шевича и Прерадовича, окрестили «Славяносербией») обрели право на безмятежное развитие. Обещанные полки с грехом пополам были сформированы лет за семь-восемь из болгар, валахов, македонцев, греков и иных православных подданных турецкого султана, а также черногорцев, ставших очередной «головной болью» российской императрицы^{135}. Черногория, автономия в составе Османской империи, долгие годы боролась за обретение полной независимости. Ее жители научились сражаться не хуже сербских граничаров.

Идею доукомплектовать ими соединения Ивана Хорвата выдвинул М.

П. Бестужев-Рюмин, видимо, не без влияния секретаря Ф. И. Чернева. В середине июля 1752 года они побеседовали об этом с митрополитом Черногории Василием Петровичем, по дороге в Россию посетившим Вену. Владыка одобрил привлечение черногорских военных на русскую службу «в Новой Сербии» и активно пропагандировал его при дворе вместе с племянником — капитаном российской армии Степаном Петровичем. Попутно архипастырь надеялся добиться от Елизаветы Петровны признания Черногории вассальной областью России. Понятно, что столь смелую программу царица отклонила без рассуждений. А черногорских офицеров, с санкции Сената устремившихся в Россию, она отчаянно пыталась не допустить к сербам, дабы не злить Турцию. Первые отряды добровольцев, пришедшие к Киеву летом 1756 года, были отправлены к И. И. Неплюеву в Оренбург, прочим предлагали на выбор ехать в Оренбург или служить в национальном гусарском и иных полках регулярной армии. Однако Хорват с Шевичем не дремали. Генерал сумел настоять на переводе к нему части черногорцев, а кого-то переманил в «Новую Сербию» потихому, благо в Киев приезжало много сербов под видом и с паспортами черногорцев. Эмигранты с Адриатики вели себя слишком дерзко, в августе 1758 года даже учинили бунт в Москве, вот и разочаровали российских покровителей. 30 октября 1758 года Конференция постановила прекратить организованный вывод черногорцев в Россию, отозвать российских комиссаров на всём маршруте от Триеста до Киева, а саму черногорскую комиссию упразднить, вследствие чего приток черногорцев сократился в разы, а опасность очередного напряжения в отношениях с Турцией миновала [{136}](#).

Глава двадцатая

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Первого августа 1751 года императрица произвела трех камер-юнкеров в камергеры — Пимена Васильевича Лялина, Карла Ефимовича Сиверса и Ивана Ивановича Шувалова. Контраст очевиден: первые двое — давние конфиденты Елизаветы, третий — выскочка, менее чем за три года выбившийся «из грязи в князи». Тем не менее «старики» не оскорбились. За долгие годы службы оба хорошо изучили госпожу и наверняка догадывались, что Шувалов такой же фаворит государыни, как Бекетов или Никита Иванович Панин, в июле 1747 года высланный из России (что произошло между ними, источники не раскрывают, но Панин до конца жизни затаил обиду на царицу, а та, словно заглаживая вину, регулярно осыпала дипломата милостями — орденами, чинами, деньгами, однако в Россию вернуться не позволяла вплоть до зимы 1759/60 года).

Учитывая, что в 1743 году «Адонис» Никита Иванович соперничал с самим «Геркулесом» Алексеем Разумовским и всерьез метил на его место, нетрудно предположить, чем разгневал Елизавету Петровну молодой придворный. Императрица забавы ради пофлиртывала с камер-юнкером, как флиртывала с иными мужчинами из ближайшего окружения, а тот принял игру за чистую монету, распалился и не смог остановиться, вот и угодил на 12 лет в российские посланники при датском и шведском дворах^{137}.

Похоже, ни Бекетов, ни прочие «кандидаты» подобной ошибки не совершали. Не обольщался на сей счет и Иван Шувалов. Ведь Елизавета Петровна специально сотворила фаворита из пажа — для сохранения «должности» русского Ришелье при замене одного международного союза (с Англией) на другой (с Францией). Оттого и торопилась с выдвижением Шувалова, что боялась, как бы «дипломатическая революция» не разразилась, прежде чем она обзаведется любовником-франкофилом, якобы по внушению которого нацелится на дружбу с версальским двором. Таким образом, альтернатива Бестужеву появилась аж за пять лет до наступления нужного момента.

Первое знаковое назначение, предвещавшее приближение войны, было сделано 29 марта 1753 года: Я. П. Шаховского перебрали с Синода в армию генерал-кригскомиссаром, то есть отныне снабжение солдат

приобретало приоритет в сравнении с церковной политикой. Приезд в октябре 1755 года в Санкт-Петербург версальского «разведчика» шевалье Дукласа восстановил русско-французское сотрудничество де-факто, а де-юре оно возродилось через полгода, после провозглашения Дукласа и Ф. Д. Бехтеева поверенными в делах, соответственно, Франции и России. К тому моменту «дипломатическая революция» уже завершилась, а до начала войны оставалось меньше полутора месяцев.

Семилетнюю войну часто называют первой мировой. В это время ведущим державам Европы пришлось сражаться с Пруссией, а в XX веке — с ее преемницей Германией. Все три войны были спровоцированы не только территориальными претензиями Берлина к соседям, но и его ставкой на силовое решение любых проблем. Россия, возобновив альянс с венским двором, выступила против превращения лозунга Фридриха Великого «право за сильным» в норму международных отношений. В 1740–1742 и 1744–1745 годах Пруссия военным путем забрала у Австрийской империи богатую Силезию и навязала Марии Терезии мир, признавший совершившийся передел территорий новым статус-кво. Дурной пример заразителен, и вслед за Пруссией аналогичную попытку предприняла Франция, оккупировав Австрийские Нидерланды.

Вмешательство России в 1748 году отрезвило версальский кабинет и положило конец негативной тенденции. Между тем в Вене мечтали о реванше. В Санкт-Петербурге сочувствовали союзнице России, почитая безнаказанность агрессора крайне опасным прецедентом. Однако Лондон устал от борьбы, а почти все завсегдатаи парижских салонов восхищались Фридрихом. Прусский король попробовал вырваться из тисков англо-австро-русской коалиции, используя слабое звено в цепи. В ту пору британский премьер Томас Пелэм-Холлс искал эффективный способ защиты Ганновера, родовой вотчины английских королей, которому угрожали Франция и Пруссия. От французов оборонялись сами, пруссаков со стороны Лифляндии сдерживал, согласно возобновленной в сентябре 1755 года субсидной конвенции, русский корпус.

И вдруг Фридрих II, учтя и прагматизм англичан, и благосклонность к нему российской великокняжеской четы вкупе с французским общественным мнением, и фанатичную англomанию канцлера Бестужева, кукловода русской императрицы, подал свежую идею — выдвинул себя в охранники Ганновера при условии совместного отражения неприятельского нападения на родину Георга II. Союз с Англией при нейтралитете России и Франции гарантировал Пруссии господство над Европой. Австрия обрекалась на полный разгром, Саксония — на поглощение прусским

королевством. Однако успех замысла целиком зависел от позиции двух женщин — императрицы Елизаветы Петровны и маркизы де Помпадур. Прусский гений высокомерно записал обеих в дуры — на том и погорел.

Англо-прусский тандем возник в Вестминстере 5 января 1756 года. Помпадур быстро сообразила, что случится с Европой, если Франция дистанцируется от австро-прусской усобицы. В итоге, несмотря на боевые столкновения с англичанами в Средиземноморье и Северной Америке из-за колоний и здравницы парижских интеллектуалов в честь Фридриха, маркиза поспешила активизировать диалог с австрийцами и привлечь к антипрусскому союзу Россию. 20 апреля 1756 года в Версале образовался франко-австрийский военный альянс. Возведенная Фридрихом конструкция в одночасье пошатнулась, а рухнула из-за упрямства русской «дуры».

Как говорилось выше, Елизавета Петровна загодя приготовилась к сюрпризу прусского короля, так что, когда пробил час, рокировка партий, смена лидеров и внешнеполитического курса не вызвала затруднений. Внешне всё выглядело высочайшим потаканием любимцу, поклоннику Франции и французской культуры. Вроде бы поэтому 13 июля 1756 года приятель Шувалова М. И. Воронцов явочным порядком возглавил Иностранную коллегию, а заодно уведомил удивленного канцлера, что отныне Франция и Россия — друзья. Дальше — больше. Британский посланник Чарлз Хэнбери-Уильямс месяца три изворачивался, добиваясь от России невмешательства в австро-прусский конфликт. Осознав, что царица более не слушается англomана Бестужева, он обратился за помощью к великокняжеской партии, чередовал угрозы с лестью, взывал к русскому патриотизму, не побрезговал шантажировать Шуваловых в дни серьезной болезни государыни — но тщетно. 4 ноября рассерженная императрица устами членов Конференции потребовала от англичанина прекратить бессмысленное давление, а в последний день года Россия официально примкнула к франко-австро-саксонскому трио, которое в марте 1757-го после присоединения Швеции превратилось в квинтет^{138}.

Дипломатическую прелюдию войны Фридрих II проиграл, гегемония обернулась изоляцией. Прусскую армию, первой атаковавшую саксонцев 18 августа 1756 года, в считанные дни оккупировавшую и разграбившую княжество, спасло от скорого разгрома то, что французы воевали неохотно, австрийцы — стандартно, а русские — с оглядкой на Зимний дворец. К сожалению, измена Апраксина имела место, как бы ни старались некоторые историки обелить его. Отступление русской армии к Неману после победы при Гросс-Егерсдорфе 19 августа 1757 года возмутило не только

императрицу, но и тех, кто разбирался в военном деле, несмотря на попытки фельдмаршала оправдаться дефицитом фуража и провизии.

Четвертого ноября адмирал М. М. Голицын писал сыну, посланнику в Лондоне: «Что же касаетца до батали[и] 19 [августа], хотя и не очень военная полза праисведена, праисосла, отнаго же мы победители могли остатца. Что же затем безумная и ско-ропастижная ретирада последовала, например, хотя бы кому чтитца дурно зделать, хуже зделать нелза. И г[осударыню] в немалое беспокойства привело. И дла того команду велено Ферману генералу поручить, а фелтмаршелу быть в Питербурх ко ответу. Но скоро ево ожидаем. Токмо силная ево партия. Затем не думаю, чтоб ему что противное могло праисаити. В надежде на милости[вы]я щедрота. Токмо то отно думаю, может в будущую компанию не будет командавать. Да и то впреть окажетца. Токмо единим словом сказать, вса слава нашей армии пропадает. Раеве впреть может чем поправитца. Как уже худе зделать?»

Да, князь Голицын точно подметил: сделать хуже было нельзя. Ведь Степан Федорович пособил Фридриху II лучше всякого шпиона, ибо вынудил императрицу отныне ставить главнокомандующими не умеющих воевать, а тех, кого не страшила любовь великого князя к королю Пруссии. Отсюда и возникли три странные фигуры во главе российских войск: В. В. Фермор (октябрь 1757 — май 1759), П. С. Салтыков (май 1759 — сентябрь 1760) и А. Б. Бутурлин (сентябрь 1760 — декабрь 1761). Первый и третий — сановники, лично преданные царице, второй — честный и бесшабашный старичок, вызванный из опалы и опалы не боявшийся. Все трое воевали с пруссаками по мере таланта, который уступал дарованиям Фридриха II. Разница в знаниях и сообразительности по обыкновению компенсировалась кровью. Большие потери в сражении при Цорндорфе 25 августа 1758 года — закономерный результат поединка середнячка Фермора с отличником Фридрихом. 12 июля 1759 года Салтыков при Пальциге превзошел Веделя, а 1 августа под Кунерсдорфом дрался на равных с Фридрихом. Как следствие, русские полки поредели меньше прусских.

Преимуществами прусского короля были его мобильность и обилие друзей во всех столицах коалиции. Там, где оружием взять не получалось, выручала интрига. Гениальный политик стравливал французов с австрийцами, австрийцев с русскими, рассылал или подкупал шпионов (в России — генерала Тотлебена), обращался за содействием к англичанам, организовывал заговоры повсюду, в том числе в Санкт-Петербурге. Благо здесь ему симпатизировал престолонаследник, к которому по стечению

обстоятельств примкнули жена и канцлер Бестужев. Ниточка от Апраксина вывела на двух последних. Впрочем, они не столько радели о выгодах Пруссии, сколько готовили план мероприятий на случай внезапной кончины императрицы. Канцлер, отстраненный от власти в 1756 году, надеялся на политическое возрождение при преемнике Елизаветы Петровны — императоре Петре III, от имени которого руководить будет императрица Екатерина Алексеевна. Помимо фельдмаршала они увлекли в свои ряды гетмана Кирилла Разумовского, шефа измайловцев. Правда, упустили из виду, что у гетмана нет тайн от Григория Теплова, а тот — человек крайне осторожный. Стоило Степану Апраксину очутиться под следствием, как советник гетмана поторопился проинформировать императрицу о проектах, вынашиваемых при Малом дворе. Вечером 10 февраля 1758 года о нелояльности Алексея Петровича государыне обмолвился на балу великий князь [{139}](#).

Четырнадцатого февраля Елизавета Петровна отреагировала на оба сигнала: посадила под домашний арест Бестужева и задумалась о судьбе великой княгини. Две встречи с венценосной «тетушкой», подробно описанные в мемуарах Екатерины II, состоялись 13 апреля и 12 мая. О достоверности ее рассказа судить сложно, хотя посредничество Ф. Я. Дубянского наверняка не вымышлено. Тем не менее факт остается фактом: императрица амнистировала супругу племянника — не по доброте сердца, а потому что сочла план канцлера разумным: Екатерина от имени мужа или сына управляет империей, постоянно консультируясь с мудрым министром-патриотом. Бестужев, zaangażированный англичанами, на роль честного советника не подходил, почему и отправился в апреле 1759 года в ссылку в подмосковное село Горетово, а его место спустя год занял Н. И. Панин, по возвращении из Швеции пожалованный в обер-гофмейстеры великого князя Павла Петровича. Союз воспитателя и матери юного цесаревича летом 1762 года выдержал испытание на прочность, правда, до идеального тандема так и не дорос — помешали амбиции [{140}](#).

Еще раз обратимся к «услуге» Апраксина. Фридрих II не зря уповал на бездействие русских как минимум до весны. Осенью 1757 года дипломаты и частные особы единодушно сообщали из Петербурга, что русское общество шокировано итогом кампании и до зимы вряд ли придет в себя. По письму адмирала Голицына видно, что растерянность царя и во власти. Так что теоретически прусский король не ошибался, передислоцируя потрепанный при Гросс-Егерсдорфе корпус И. Левальда в Померанию. А практически он второй раз споткнулся о те же грабли, что и

осенью 1756 года, когда безуспешно добивался русского нейтралитета. Тогда Фридрих списал фиаско британского посланника Уильямса на влияние «французов» Ивана Шувалова и Михаила Воронцова и теперь, по прошествии года, нисколько не сомневался в сохранении за ними решающего голоса. А коли они в расстройстве духа, то и послушная им императрица ничего не предпримет.

В который раз уловка с русским Ришелье позволила Елизавете Петровне нанести противнику неожиданный и чувствительный удар. Шувалов с Воронцовым, возможно, и опустили бы руки, да царица не дала, настояв на контрнаступлении. И руководствовалась она не капризом, а детальным анализом ситуации, сложившейся на прусско-курляндской границе после ретирады Апраксина, который произвела, едва оправившись от припадка, сразившего ее в Царском Селе 8 сентября 1757 года (кстати, прослышав о нем, русский фельдмаршал развернул полки на 180 градусов). По официальной и партикулярной корреспонденции из Восточной Пруссии выходило, что во всем крае «по городам хорошее поведение российских регулярных войск веема выхваляется» и многие жители желали бы «лучше российских, нежели прусских салдат иметь», ибо видели «от пруссаков больше насилства, нежели от россиян». А бургомистр Велау (ныне Знаменск) до того осмелел, что после возвращения россиян к Неману не хотел впускать в крепость прусский гарнизон и объявлял себя «российским вассалом».

Таким образом, в отсутствие вымуштрованной прусской пехоты и кавалерии ничто не мешало русской армии быстро и без кровопролития овладеть Кенигсбергом с округой. Жители не собирались сопротивляться — наоборот, отнеслись бы к оккупантам как к освободителям. Естественно, Елизавета Петровна распорядилась в кратчайший срок двинуть дивизии в поход, правда, 16 декабря не преминула напутствовать генерала Фермора, чтобы старался «людей зберегать и не отваживать их в опасность, где оную миновать можно». Наказ, похоже, не пригодился: кенигсбергская экспедиция превратилась в триумфальное шествие. 20 декабря 1757 года авангард П. А. Румянцева тронулся в путь, 1 января без боя капитулировал приграничный Тильзит, 11-го под звон колоколов и приветственные крики горожан русские солдаты вошли в Кенигсберг. Восточная Пруссия покорилась без сопротивления и тут же выразила готовность присягнуть на верность русской императрице — до такой степени всем надоел просвещенный деспотизм Фридриха Великого^{141}.

Точный политический расчет российского монарха лишил прусского короля надежного тыла и открыл русской армии дорогу в центр Польши

для совместной с австрийцами атаки Берлина. Летом 1758 года Фермор достиг реки Одер... и тут фортуна отвернулась от союзников. Четыре кампании они протоптались на месте, но развить стратегический успех, то есть взять Берлин и низложить Фридриха II, не сумели. Сказались и полководческая близорукость союзного генералитета, и высокая мобильность пруссаков, и умелая игра прусского короля на противоречиях между его противниками. Увы, пробиться в сердце Пруссии с востока при содействии союзников не получилось. Так называемое падение Берлина 28 сентября 1760 года — не более чем рейд отдельного корпуса З. Г. Чернышева, который за неимением надежных коммуникаций и снабжения долго оставаться в прусской столице не мог.

Между прочим, еще до Чернышева, 5 октября 1757 года, Берлином овладел австрийский генерал Андраши Хадик, собрал с жителей солидную контрибуцию и поспешил уйти восвояси. В Санкт-Петербурге неэффективность «восточного» направления осознали после бесплодности кунерсдорфской победы. Салтыков, несмотря на полный разгром самого Фридриха II, даже сообщая с австрийцами не прорвался за Одер. Потому Конференция переключила главное внимание на «северный» маршрут, избрав пунктом сосредоточения и снабжения по морю основных сил Кольберг, от которого до Берлина расстояние вдвое меньше, чем от Торна, не говоря уже об Эльбинге, где зимовали русские солдаты.

В 1758 году безуспешно пробовали взять Кольберг с ходу. В 1760-м осадили по-настоящему, однако опять потерпели неудачу. Только в конце 1761-го, когда за крепость взялся талантливый генерал П. А. Румянцев, важный порт пал. Следующей весной флот мог доставить сюда войска, вооружение и провизию, потребные для марш-броска целой армии к Берлину. Шведские части прикрыли бы русский фланг с запада и помогли бы с организацией перевозок. Столица Пруссии была обречена, а вместе с ней и Фридрих Великий. Что ж, воцарение Петра III спасло короля и сохранило за Пруссией Силезию — ценой разорения страны, гибели тысяч и тысяч немцев, психологического надлома самого инициатора силезской эпопеи. Фридрих II очень изменился после Семилетней войны и, главное, больше не считал, что сильный всегда прав... [{142}](#)

ЭПИЛОГ

С отъездом из России отца и сына Гортеров лечил государыню от болезненных припадков один Кондоиди, что, конечно, ее не слишком устраивало. При посредничестве М. И. Воронцова и французского посла П. Ф. Лопиталья она заблаговременно выписала из Франции придворного медика Пьера Исаака Пуассонье. Осенью 1758 года тот приехал в Санкт-Петербург и после обычного испытательного срока в апреле 1759-го был принят ко двору «на основании Гортера старика». Елизавету Петровну он пользовал почти полтора года и в сентябре 1760-го через Ригу отправился на родину^{143}. От него, неофициального лейб-медика, и приняли эстафету Джеймс Маунси и Иоганн Шиллинг.

Незадолго до этой рокировки, 16 августа 1760 года, императрица предприняла загадочную акцию — издала два указа: кадровый, по заполнению вакансий в государственных учреждениях, и подобие воззвания под пространным заголовком «О употреблении Сенату всех способов к восстановлению везде надлежащего порядка и народного благосостояния». «Воззвание» констатировало несоблюдение государственных законов некими алчными «внутренними общими неприятелями», ставящими собственную выгоду выше народного блага, упрекало Сенат за пассивность и требовало от него более энергичного сопротивления чиновничьему лихоимству и произволу: «...зло прекращать и искоренять... по своей чистой совести».

Данный манифест до сих пор служит и для обличения порочности елизаветинских вельмож, и для подтверждения вывода о политической заурядности дочери Петра, наивно и беспомощно апеллировавшей к чувствам ближайших соратников. Выше мы видели, каким образом «веселая царица» умела одернуть недобросовестного министра. О наивности и беспомощности той, которая обыгрывала лучших хитрецов Европы, говорить и вовсе неприлично. Нет, обнародование сего документа не есть жест отчаяния или обращенная в никуда проповедь. У странной декларации имелся конкретный адресат — П. И. Шувалов. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что сотворил кадровый указ с Сенатом.

Генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого, чуть ли не во всём слушавшегося генерал-фельдцейхмейстера, императрица перевела в президенты Военной коллегии, назначив вместо него честнейшего и

неподкупного князя Я. П. Шаховского. Пост обер-прокурора покинул протеже Шувалова А. И. Глебов. Отныне он в ранге генерал-кригскомиссара заведовал снабжением армии. В то же время в Сенат вошли А. И. Шувалов — рассудительный старший брат Петра Ивановича, члены Военной коллегии В. И. Суворов и И. И. Костюрин, укротитель башкир, киргиз-кайсаков и яицких казаков И. И. Неплюев. Обер-прокурором Елизавета Петровна поставила И. Г. Чернышева, друга И. И. Шувалова. Если учесть, что в сенаторы тогда же попал не очень чистый на руку Роман Илларионович Воронцов, то картина окружения главного прожектера империи теми, кого нелегко подмять под себя, будет полной.

Таким образом, манифест не столько взывал, сколько рекомендовал неформальному вождю Сената умерить реформаторский пыл во имя собственного блага. Из мемуаров князя Шаховского историки знают, как тот стоял на страже государственных интересов, защищая их от Шувалова. Думается, каждый из перечисленных сановников тоже по-своему помогал генерал-прокурору нейтрализовывать опрометчивые порывы младшего из братьев Шуваловых, даже Воронцов, чья корысть изредка пересекалась с корыстью генерал-фельдцейхмейстера. Зачем Елизавете Петровне понадобилось сдерживать активность Петра Ивановича? Отъезд господина Пуассонье намекает на ответ.

Похоже, прославленному доктору не удалось вылечить августейшую пациентку: поправив ее здоровье, он, однако, не мог гарантировать ей отсутствия проблем с самочувствием в будущем. Поэтому императрица подстраховалась Я. П. Шаховским и другими вельможами, дабы они обуздывали реформаторство П. И. Шувалова, когда она сама по болезни не сможет фильтровать его инициативы. На связь реорганизации Сената с царским недугом указывает еще одно назначение. 30 августа 1760 года родственник государыни М. К. Скавронский в ранге обер-гофмейстера возглавил координацию деятельности двух придворных ведомств — Придворной конторы и Дворцовой канцелярии (его предшественник Христиан Миних тем же распоряжением уволен на пенсию). Опять же неспроста Елизавета Петровна призвала на помощь члена царской семьи, наделив широкими полномочиями. Миних властью не обладал, а Сиверс и Маслов докладывали непосредственно госпоже. И вдруг между императрицей и главными командирами возникло промежуточное звено, фактически «первый заместитель государыни» по дворцовой части. Что спровоцировало новую меру, как не ослабленное высочайшее здоровье?

Здоровья же хватило еще на год и три месяца. 17 ноября 1761 года у Елизаветы Петровны началась «простудная лихорадка». Маунси и

Шиллинг боролись с ней, увы, без особого успеха. 12 декабря открылось кровохарканье с сильным кашлем. К 20 декабря кровопусканиями и лекарствами вроде бы добились облегчения. Императрица еще успела прочитать реляцию Румянцева о падении Кольбер-га. Но вечером 22-го стало еще хуже. Рвота, кровь, удушающий кашель продолжались два с половиной дня, пока вконец не истощили императрицу. 25 декабря 1761 года в четвертом часу пополудни, как зафиксировал дневник болезни императрицы, ее душа «от тела разлучилась». Н. Ю. Трубецкой вышел к придворным и, сообщив печальную новость, провозгласил новым императором Петра Федоровича.

Не без влияния Екатерины II в историографии закрепилось мнение, что Елизавета Петровна колебалась в вопросе выбора наследника и чуть было не решила отдать скипетр цесаревичу Павлу Петровичу под опекой матери и Панина. Досужие басни! Императрица твердо желала видеть императором племянника, руководствуясь не симпатиями, добротой или жалостью, а секретным артикулом русско-голландского трактата 1724 года, в соответствии с которым монарху, вызвавшему сына герцогов Гольштейн-Готторпских в Россию «к сукцессии», надлежало обеспечить переход трона к нему. Поскольку 7 ноября 1742 года Елизавета Петровна назвала «сукцессором» Петра Федоровича, то брать слово назад права не имела, несмотря на недовольство характером и скудостью разума великого князя.

Пришлось рассчитывать комбинацию престолонаследия исходя из того, что царем станет недалекий «чертушка». По обыкновению, царица нашла, в целом, оптимальное решение. Предусмотрела оба варианта — и с Петром Федоровичем, и без него. Со вторым мы уже ознакомились: Павел Петрович царствует, Екатерина Алексеевна и Н. И. Панин управляют. Что касается первого, то и тут без «регентов» не обошлось. Государыня не из каприза перебрала Н. Ю. Трубецкого в Военную коллегию, а А. И. Глебова — в Главный комиссариат: им предстояло сблизиться с великим князем на ниве любви того к муштре и военным мундирам. Третьим в компанию влился директор Сухопутного кадетского корпуса А. П. Мельгунов, генерал-майор с 30 августа 1760 года. Четвертым пополнил список теневого регентского совета Д. В. Волков, персона «непартийная», зато талантливая и способная нести бремя первого министра. Именно этот квартет 25 декабря принял бразды правления и удержал бы власть, не помешай им отсебятиной (капитуляция перед Пруссией, война с Данией, ссора с Церковью, оскорбления жены) Петр III. Результат известен. Запасной вариант (Екатерина II, Н. И. Панин) стал главным, хотя и реализовался не в полном соответствии со сценарием Елизаветы Петровны.

Соперничество двух центральных фигур повлияло на то, что монархом объявили не сына, а мать. Впрочем, Россия от этого не слишком много потеряла... [{144}](#)

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

1709, 18 декабря — у царя Петра I родилась дочь, крещенная в честь святой великомученицы Елизаветы.

1722, 28 января — объявлена совершеннолетней.

1724, 8—16 ноября — дело Виллима Монса.

1725, ночь с 27 на 28 января — смерть отца, императора Петра Великого. Участвовала в возведении на престол матери, Екатерины I.

После 17 июня — получила согласие Екатерины I помочь ей занять российский престол. Прекращение переговоров о замужестве.

1727, 7 мая — смерть Екатерины I и воцарение Петра II. Крах планов Елизаветы стать престолонаследницей.

Июль — сентябрь — готовила опалу А. Д. Меншикова.

Лето — начало романа с унтер-офицером гвардии А. Я. Шубиным.

1728, август — разоблачение любовной связи Елизаветы с Шубиным. Разрыве Петром II.

1730, 19 января — смерть Петра II.

20 января — провозглашение императрицей Анны Иоанновны.

1732, январь — арест и ссылка в Сибирь А. Я. Шубина.

Между 1732 и 1734 — познакомилась с певчим из Малороссии А. Г. Разумовским.

1739, июнь — возобновила борьбу за российский престол.

1740, 17 октября — смерть Анны Иоанновны, провозглашение императором Иоанна Антоновича.

7 ноября — свержение регента Э. И. Бирона и объявление регентшей Анны Леопольдовны.

1741, 28 июля — начало Русско-шведской войны.

Октябрь — 25 ноября — организовала и осуществила бескровный дворцовый переворот.

12 декабря — издала указ о реформе Сената.

1742, 25 апреля — коронована в Москве.

7 ноября — объявила престолонаследником племянника, великого

князя Петра Федоровича.

1743, лето — взяла ко двору трех осиротевших детей камер-юнкера Г. И. Бутакова.

19 августа — подписала мирный договор со Швецией.

1744, 10 мая — ввела мораторий на смертную казнь.

Вторая половина июля — предположительно узаконила отношения с А. Г. Разумовским.

1745, 21 августа — свадьба великого князя Петра Федоровича с принцессой Ангальт-Цербстской, великой княгиней Екатериной Алексеевной.

25 декабря — выход Пруссии из Войны за австрийское наследство благодаря усилиям российской дипломатии.

1746, 22 мая — заключила союз с Австрией.

1748, 7 февраля — 10 августа — поход русского вспомогательного корпуса к Рейну, принудивший Францию к выходу из Войны за австрийское наследство.

1750, 5 июня — завершила процесс нормализации российско-украинских отношений, утвердив избрание гетманом К. Г. Разумовского.

1751, 5 сентября — восстановила на флоте петровское офицерское штатное расписание.

1752, 4 декабря — добилась согласия Синода на либерализацию норм бракосочетания.

1753, 29 марта — утвердила предложение Сената о замене смертной казни телесными наказаниями и каторгой.

1 мая — предписала Сенату учредить Дворянский банк. 20 декабря — подписав указ об отмене внутренних таможен, поддержала программу экономических реформ П. И. Шувалова.

1754, 8 марта — назначив директора Медицинской канцелярии П. З. Кондоиди первым лейб-медиком, поддержала его программу реформы здравоохранения.

20 сентября — рождение внучатого племянника, великого князя Павла Петровича.

1755, 12 января — начала создание государственной системы высшего и среднего образования.

1756, 30 августа — преобразовала личную актерскую труппу в первый русский публичный профессиональный театр.

1757, 16–20 июня — вступление России в Семилетнюю войну на стороне Австрии.

1760, 16–30 августа — реорганизация правительства на период

болезни императрицы.

1761, 11 ноября — выдала П. Г. Бутакову замуж за барона С. Н. Строганова.

25 декабря — скончалась в Санкт-Петербурге.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»).
- Бильбасов В. А.* История Екатерины II: В 2 т. Берлин, 1900. Т. 1.
- Валишевский К.* Дочь Петра Великого. М., 1900.
- Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских: В 4 т. Т. 1. М., 1880.
- Вандалъ А.* Императрица Елизавета Петровна и Людовик XV. М., 1911.
- Вдовина С. И.* Дочь Петра // На Российском престоле. М., 1993.
- Ешевский С. В.* Очерк царствования Елизаветы Петровны. М., 1870.
- Записки императрицы Екатерины II.* М., 1989.
- Кривецев М. В.* Кабинет Елизаветы Петровны и Петра III. Новосибирск, 1993.
- Курукин И. В.* Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг. Рязань, 2003.
- Лиштенан Ф. Д.* Россия входит в Европу. М., 2000.
- Наумов В. П.* Елизавета Петровна // Вопросы истории. 1993. № 5.
- Пекарский П. П.* Императрица Елизавета Петровна: Очерк ее жизни и царствования // Русский архив. 1911. № 1.
- Писаренко К. А.* Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003 (серия «Живая история»).
- Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Т. 21–23 // *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18 кн. Кн. 11, 12. М., 2001.
- Троцкий С. М.* Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. М., 1974.
- Шмидт С. О.* Внутренняя политика России середины XVIII в. // Вопросы истории. 1987. № 3.

Писаренко К. А.

П 34 Елизавета Петровна / Константин Писаренко. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 462[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биограф.; вып. 59).

ISBN 978-5-235-03682-6

УДК 94(47)(092)» 17

ББК 63.3(2)512

знак информационной продукции 16+

Писаренко Константин Анатольевич
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Редактор Е. А. Никулина
Художественный редактор А В. Никитин
Технический редактор М. П. Качурина
Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова

Сдано в набор 20.11.2013. Подписано в печать 12.02.2014.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 18,85+1,3 вкл. Тираж 5000 экз.
Заказ № 1401630.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства:
127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-
mail: dsel@gvardiva.ru

ARVATO ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО
«Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

notes

Примечания

1

Все даты приводятся по юлианскому календарю, в то время отстававшему от григорианского на 11 дней.

Голштинiec называет Елизавету Петровну средней принцессой, поскольку в то время была жива младшая дочь Петра I и Екатерины Наталья (1718–1725).

3

Здесь: сторонник определенной общественной группы или политической партии.

4

Рогервик переименован в Балтийский порт в августе 1762 года.

Первую выпестовал Д. В. Ухтомский, добившийся ее официального признания в октябре 1749 года. В ноябре 1760-го Сенат под предлогом финансовой ревизии отстранил князя от руководства архитектурной деятельностью, в мае 1761-го забрал учеников, перепоручив обе должности Петру Никитину, при котором школа постепенно зачахла. В 1764 году она закрылась, успев дать путевку в жизнь славному М. Ф. Казакову.

comments

Комментарии

См.: Сборник Императорского Русского исторического общества (далее — Сборник РИО). Т. 50. СПб., 1886. С. 289–292; Юль Ю. Записки // Лавры Полтавы. М., 2001. С. 104–109.

См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 10. М., 1956. С. 120, 317; История Свейской войны (Поденная записка Петра Великого): В 2 вып. М., 2004. Вып. 1. С. 277–306, 320–325, 330–332; Юль Ю. Указ. соч. С. 140, 141; Сборник РИО. Т. 49. СПб., 1885. С. 38, 44, 120, 122, 185; Т. 50. С. 288; Т. 58. СПб., 1887. С. 115; Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера // Неистовый реформатор. М., 2000. С. 312; Болотина Н. Ю. Эпистолярное наследие женщин царской семьи (первая треть XVIII в.) // Российский архив (далее — РА). Вып. 20. М., 2011. С. 18, 21.

См.: Материалы для истории Императорской Академии наук: В 10 т. (далее — МИАН). Т. 7. СПб., 1895. С. 332–339.

См.: Сборник РИО. Т. 15. СПб., 1875. С. 243; Т. 49. С. 57, 58; *Берхгольц Ф. В.* Указ. соч. // Юность державы. М., 2000. С. 243, 258–260; *Долгова С. Р., Лаптева Т. А.* Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–1727 гг. // РА. Вып. 10. М., 2000. С. 46.

См.: Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗРИ).
СПб., 1830. Т. 6. С. 496–498.

См.: *Семевский М. И.* Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. СПб., 1884. С. 193–195.

См.: Берхгольц Ф. В. Указ. соч. // Юность державы. С. 230, 258–262; Бассевич Г. Ф. Записки // Там же. С. 426; Сборник РИО. Т. 52. СПб., 1886. С. 343–349; Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами: В 15 т. Т. 5. СПб., 1880. С. 213–239.

Подробную реконструкцию воцарения Екатерины I и ссылки на источники см.: *Писаренко К. А.* Тайны дворцовых переворотов. М., 2009. С. 6—28.

Подробную реконструкцию событий 1727 года и ссылки на источники см.: Там же. С. 29–86.

Записки дюка Лирийского и Бервикского. СПб., 1845. С. 21, 23–26, 30–33, 38–41; Осмнадцатый век: Исторический сборник, издаваемый П. Бартевым: В 4 кн. Кн. 2. М., 1869. С. 35, 40, 43–45, 52, 56–59, 84, 101, 103, 104, 108, ПО; Сборник РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 297, 300; Т. 75. СПб., 1891. С. 137, 138, 234–237.

См.: Записки дюка Лирийского и Бервикского. С. 42, 49, 57,62;
Семнадцатый век. Кн. 2. С. 111, 115–118, 120, 121, 173, 180.

См.: Семнадцатый век. Кн. 2. С. 134, 136–138, 153, 161, 163, 206, 207; Сборник РИО. Т. 5. С. 324, 325, 329, 330, 334–336, 338, 339; Т. 75. С. 444, 445.

Подробнее см.: *Писаренко К. А. Указ. соч. С. 87—120, 223.*

См.: Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 1239. Оп. 2. Д. 2004. Л. 4; Семнадцатый век. Кн. 3. М»1869. С. 70, 71, 73, 100, 108–110, 114, 118; Сборник РИО. Т. 5. С. 386, 428–430, 438–441; Т. 66. СПб., 1889. С. 224–227, 271, 273, 326–328, 398, 399; Т. 81. СПб., 1892. С. 194–199, 219, 221, 266–268; Т. 104. Юрьев, 1898. С. 1, 2; *Кашпирев В.* Памятники новой русской истории: В 3 т. Т. 1. СПб., 1871. С. 374, 375; *Старикова Л. М.* Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. М., 1995. С. 392; *Стромилов Н. С.* Цесаревна Елисавета Петровна в Александровой слободе и Успенский девичий монастырь. М., 1874. С. 3—42.

См.: РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 72. Л. 1; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61589. Л. 1–8 об., 40 об.; Сборник РИО. Т. 5. С. 443–445, 447; Т. 66. С. 406–408; Т. 81. С. 276–279, 296, 297; Т. 104. С. 87–93; *Кашипов В.* Указ. соч. Т. 1. С. 147–149.

См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 383. Ч. 8. Л. 41–42; Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 11–12; Ф. 1239. Оп. 2. Д. 704. Л. 22 об., 24 об.; *Богданов А. И.* Описание Санкт-Петербурга. СПб., 1997. С. 141–142; *Старикова Л. М.* Указ. соч. С. 179, 182, 387–405.

См.: Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 44. Оп. 44/1. 1748 г. Д. 2. Л. 503–505 об., 516–523 об.; Сборник РИО. Т. 80. СПб., 1892. С. 267; Письма леди Рондо. СПб., 1874. С. 51, 52, 62, 63, 75–77; *Писаренко К. А. Елизавета Петровна*. М., 2008. С. 349.

См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 704. Л. 2 об. — 3 об.; Д. 874. Л. 12; Д. 876. Л. 24, 29 об., 48; Д. 877. Л. 5, 11 об., 33, 39, 92; Д. 878. Л. 2, 78; Д. 879. Л. 17 об.; Д. 880. Л. 2, 55; Д. 882. Л. 6 об.; Д. 883. Л. 1 об., 2; АВПРИ. Ф. 17. Оп. 17/1. Д. 56. Л. 1–1 об.; Архив князя Воронцова: В 40 кн. (далее — АКВ). Кн. 1. М., 1870. С. 19–22, 27; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России // РА. Вып. 15. М., 2007. С. 81, 82, 130, 131, 145; *Агеева О. Г.* Императорский двор России. 1700–1796 гг. М., 2008. С. 126, 127, 277.

См.: *Маркович Я. А.* Дневник генерального подскарбия Якова Марковича // *Киевская старина* (далее — КС). 1895. Т. 48. № 3. Приложение. С. 76; *Старикова Л. М.* Указ. соч. С. 352, 354, 356, 362, 363, 734, 735; *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских: В 5 т. Т. 1. СПб., 1880. С. 1, 3, 5.

См.: *Ханенко Н. Д.* Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко // КС. 1884. Т. 9. № 5. Приложение. С. 47; № 6. Приложение. С. 51–52, 60–63; № 8. Приложение. С. 65, 68–72, 75, 79, 80; № 9. Приложение. С. 82, 87, 90–92; АКВ. Кн. 1. С. 19–22, 80–86.

См.: Сборник РИО. Т. 20. СПб., 1877. С. 130–136; *Манитейн Х. Г.* Записки о России // *Перевороты и войны*. М., 1997. С. 140–142, 153, 154; *Некрасов Г. А.* Роль России в европейской международной политике. 1725–1739. М., 1976. С. 244–303; *Нелипович С. Г.* Союз двуглавых орлов. Русско-австрийский военный альянс второй четверти XVIII в. М., 2010. С. 221.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 273. Л. 1212–1213 об.; Сборник РИО. Т. 20. С. 120–123, 130, 136; Т 86. СПб., 1893. С. 133–137; *Манитейн Х. Г.* Указ. соч. С. 142–145, 151; *Писаренко К. А.* Протоколы приемов императрицей Елизаветой Петровной руководства Коллегии Иностранных дел в 1745 г. // РА. Вып. 16. М., 2007. С. 141, 145.

Подробную реконструкцию дела Волынского и ссылки на источники см.: *Писаренко К. А.* Тайны дворцовых переворотов. С. 128–144.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 439. Л. 105–106, 276–277; Сборник РИО. Т. 80. С. 509, 510; Т. 86. С. 290–292; Т. 96. СПб., 1896. С. 448, 449, 615–617, 619–622, 642–650, 663–668, 673; АКВ. Кн. 25. М., 1882. С. 41–44; Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук (далее — Сборник ОРЯС). Т. 9. Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. СПб., 1872. С. 154–160; *Писаренко К. А.* Тайны дворцовых переворотов. С. 146–187; *Он же.* Елизавета Петровна. С. 353.

См.: ПСЗРИ. Т. 11. С. 537, 538, 542–544.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 439. Л. 105–106, 276–277; *Левин Л. И.* Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. СПб., 2000. С. 314, 315, 323–325; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 445, 446, 482, 483.

См.: РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–2; Ф. 16. Оп. 1. Д. 5. Ч. 4/1. Л. 94, 95; Ф. 248. Оп. 1/7. Д. 423. Л. 331; Оп. 1/23. Д. 1580. Л. 24об.; Ф. 286. Оп. 1. Д. 411. Л. 144; ПСЗРИ. Т. 11. С. 544–546, 954; Т. 12. С. 545, 742, 743.

См.: Сборник РИО. Т. 6. СПб., 1871. С. 453; Т. 102. СПб., 1898. С. ПО, 112; «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. М., 1983. С. 57; *Лиштенан Ф. Д.* Россия входит в Европу. М., 2000. С. 270, 273, 275, 276, 281, 282, 292–294, 298, 302, 308, 309, 314; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 343, 352, 372.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 298. Л. 97; Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 584. Л. 742; Д. 587. Л. 39 об.-40 об.; Оп. 1/39. Д. 2606. Л. 177; Оп. 1/40. Д. 3212. Л. 514, 957; Оп. 1/41. Д. 3283. Л. 149, 158, 268, 268 об., 271, 273; Д. 3525. Л. 15; Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 24. Оп. 1. Д. 106. Л. 251–254 об.; Санкт-Петербургские ведомости. 1746. № 13. 14 февраля; 1747. № 74. 15 сентября; 1756. № 72. 13 сентября; 1760. № 68.25 августа; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 338–340, 369–379.

См.: РГАДА. Ф. 276. Оп. 5. Д. 1465. Л. 44 об.-76; Д. 2856. Л. 7 об., 14; Ф. 286. Оп. 1. Д. 400. Л. 999, 1012; Ф. 248. Оп. 1/16. Д. 949. Л. 42–43; Сборник РИО. Т. 6. С. 404; *Шаховской Я. П.* Записки // Империя после Петра. М., 1998. С. 45–47; *Неплюев И. И.* Записки // Там же. С. 426, 427; *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18 кн. Кн. 11. М., 2001. С. 178.

См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 11. С. 222–226.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 582. Л. 19, 165; Д. 591. Л. 48; Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 159.

См.: Там же. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 74–75, 137, 147–148, 159, 160, 1022–1023.

См.: Там же. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 440, 440 об., 497–498 об., 1717, 1719–1723 об.; Оп. 1/39. Д. 2728. Л. 808, 808 об., 818, 818 об.; Оп. 105. Д. 8320. Л. 53 об., 76; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (Военно-ученый архив). Д. 1622. Ч. 1.Л. 152–153.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 597–600 об., 639–640, 662, 1006, 1006 об.; Д. 1558. Л. 72, 72 об., 122; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (Военно-ученый архив). Д. 1622. Ч. 1. Л. 167–170 об., 177–178 об., 181–186 об.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 1089–1090, 1092, 1092 об., 1097–1099 об., 1103, 1117–1118, 1131, 1135–1136, 1490; Д. 1558. Л. 122, 140–141 об., 160; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (Военно-ученый архив). Д. 1622. Ч. 1.Л. 188–189 об.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 1199–1202, 1223, 1223 об.; Д. 1558. Л. 150–151 об., 161, 161 об., 171; РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (Военно-ученый архив). Д. 1622. Ч. 1. Л. 346–351.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 502–510, 521–522, 820–821 об., 824–825, 892–893 об., 1639, 1639 об.

См.: АВПРИ. Ф. 35. Оп. 35/1. Д. 669. Л. 423, 423 об., 426–435 об.;
Сборник РИО. Т. 99. СПб., 1897. С. 57–60, 86–90, 154, 156, 158–163.

См.: АВПРИ. Ф. 31. Оп. 31/1. 1743 г. Д. За. Л. 34–35, 46–49, 79—79а об., 90–92 об., 117–118, 121–124, 207–208, 214а—215 об.; Ф. 96. Оп. 96/1. Абоский конгресс. 1742 г. Д. 24. Л. 10, 10 об., 37–47 об.; 1743 г. Д. 27. Л. 340–341 об., 417, 417 об.; Сборник РИО. Т. 99. С. 127, 138, 257; АКВ. Кн. 4. М., 1872. С. 201, 226–229, 235, 236; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн 11 С 281_288

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/86. Д. 6975. Л. 36–44; АКБ. Кн. 4. С. 246–250, 258–264, 273, 278, 279; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 11.С. 288–292.

См.: РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 60. Л. 18 об.; Ф. 6. Оп. 1. Д. 368. Ч. 1. Л. 1-329, 357–359, 393–394; АВПРИ. Ф. 6. Оп. 6/1. Д. 21. Л. 27–28; Сборник РИО. Т. 6. С. 468, 469; Сборник ОРЯС Т 9. С. 332–335.

См.: АВПРИ. Ф. 32. Оп. 32/1. 1743 г. Д. 2. Л. 61–66 об., 96–97, 104–107, 112–127 об., 187–200, 243–248; 1744 г. Д. 4. Л. 87–92; Д. 4а. Л. 7, 7 об.; Д. 6. Л. 9, 13–14, 25, 25 об., 27, 44, 44 об., 49–50 об.; Д. 7. Л. 1, 132–136 об., 141–142; 1745 г. Д. 4. Л. 128–129 об., 132–134; Д. 6. Л. 48, 48 об., 50, 51–51 об., 97–98 об.

См.: Корф М. А. Брауншвейгское семейство. М., 1993. С. 52–56, 73, 89, 95, 96, 101, 113, 116–118.

См.: РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 60. Л. 5; Ф. 248. Оп. 1/23. Д. 1563. Л. 141–142 об.; АВПРИ. Ф. 96. Оп. 96/1. Абоский конгресс. 1743 г. Д. 27. Л. 62, 69; Сборник РИО. Т. 6. С. 412, 413, 453, 458, 459; Т. 99. С. 128, 131–133, 138.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/22. Д. 1429. Л. 124 об.; Оп. 1/23. Д. 1563. Л. 141–142 об.; Ф. 286. Оп. 1. Д. 252. Л. 1138; Д. 288. Л. 398; Д. 439. Л. 12; *Лиштенан Ф. Д.* Указ. соч. С. 296, 297; Записки императрицы Екатерины II. М., 1989. С. 16, 17, 469; *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 11. С. 343, 344.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2762. Л. 703 об., 704; Записки императрицы Екатерины II. С. 108, 366, 485–490; *Писаренко К. А.* Письма обер-гофмейстера Х. В. Миниха Иоганне Елизавете принцессе Ангальт-Цербстской (1745–1746) // РА. Вып. 18. М., 2009. С. 56–96; *Он же.* Елизавета Петровна. С. 99—107, 159, 160, 215, 450, 451.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 584. Л. 63, 248–250 об., 568–580, 730–731 об., 737, 737 об., 740–743 об., 769–786 об., 803–824, 826–836, 837–839, 843, 868–883 об., 912–928, 987–1107 об.; Оп. 1/39. Л. 2606. Л. 177; Оп. 132. Д. 2676. Л. 216–218, 221–224.

См.: Там же. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 584. Л. 742; Д. 595. Л. 136; Ф. 286. Оп. 1. Д. 298. Л. 97,1300; Д. 315. Л. 305; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 1 об.; АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1744 г. Д. 15. Л. 1, 1 об.; Санкт-Петербургские ведомости. 1745. № 61. 2 августа.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 587. Л. 489–491 об., 561, 574; Д. 591. Л. 194–195, 230–231 об., 233; Д. 592. Л. 227, 250, 253, 253 об.; Д. 593. Л. 1 об., 2, 260 об.; Оп. 1/23. Д. 1551. Л. 1370; Ф. 1263. Он. 1. Д. 27. Л. 197, 199–203 об.

См.: Там же. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 587. Л. 566, 580; Д. 591. Л. 178, 327, 327 об.; Д. 593. Л. 98; Ф. 1263. Д. 29. Л. 9, 9 об., 21, 21 об.; Камерфурьерский журнал. 1752. 30 июля. СПб., б.г.; Записки императрицы Екатерины II. С. 334; *Писаренко К. А.* Из семейной хроники Голицыных: письма княгини Т. К. Голицыной сыну А. М. Голицыну (1754–1756) // РА. Вып. 15. С. 25, 50; *Он же.* Письма барона И. А. Черкасова адмиралу М. М. Голицыну (1750–1754) // Там же. Вып. 18. С. 188, 227–229.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 105. Д. 8323. Л. 76, 76 об.; Д. 8324. Л. 234–235 об.; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С 378 379

См.: АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1747 г. Д. 9. Л. 64–66 об.; 1748 г. Д. 6. Л. 63, 125–133 об., 173 об., 209–214, 360–361 об.; Д. 13. Л. 373, 374, 432–436, 466 об., 468 об., 619 об., 635 об., 655; 1749 г. Д. 7. Л. 3–4 об., 14, 39, 40, 49–52, 62–63; 1750 г. Д. 4. Л. 24–28 об.; 1751 г. Д. 3. Л. 2–28 об., 59, 59 об.; Д. 5. Л. 312–315.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2734. Л. 651 об.-653; АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1751 г. Д. 4. Л. 38–45 об.; Д. 5. Л. 233–238 об., 308–312; 1752 г. Д. 3. Л. 48,67 об., 240, 240 об.; *Писаренко К. А.* Рапорт мичмана И. Токмачева, 1751 г. // РА. Вып. 19. М., 2010. С. 45–50.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 130. Д. 2199. Л. 165, 174, 174 об., 313, 318, 318 об.

См.: Там же. Оп. 105. Д. 8321. Л. 262–263 об.; Оп. 113. Д. 919. Л. 5, 5 об.; Д. 2212. Л. 120; *Писаренко К. А.* Секретные протоколы Сената об отмене смертной казни (1743–1744) // РА. Вып. 18. С. 33–50.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40, Д. 3001; Д. 1023. Л. 11-44об.

См.: Там же. Ф. 248. Оп. 1/102. Д. 8126. Л. 258, 451, 451 об.; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 51949. Л. 40–43; ПСЗРИ. Т. 12. С. 52, 105–129; *Шувалов П. И., Шувалов И. И. Избранные труды*. М., 2010. С. 83, 84.

См.: РГАДА-Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2494. Л. 85, 100–102 об., 219, 219 об.; Оп. 1/40. Д. 3067. Л. 9-25 об., 762–766, 775; Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 165–166; *Писаренко К. А.* Указ императрицы Елизаветы Петровны бригадиру А. В. Беэру (1747) // РА. Вып. 18. С. 175–183; *Бородков В. Б., Контев А. В.* У истоков истории Барнаула. Барнаул, 2000. С. 240–282, 285; *Контев А. В.* Алтайское серебро Демидовых // Бийский вестник. 2006. № 3–4. С. 106–117.

См.: *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 295–299, 445.

О роли А. М. Владыкина в фарфоровой эпопее см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/16. Д. 940. Л. 985; Оп. 1/39. Д. 2634. Л. 127, 151, 151 об., 188–189, 190, 561, 792, 838, 870–872 об.; Оп. 1/40. Д. 2927. Л. 552, 555 об.-559 об.; Оп. 113. Д. 968. Л. 17–18, 27–31 об.; Д. 991. Л. 51, 67, 74 об., 79, 83 об.; Оп. 131. Д. 2618. Л. 468, 484, 486, 487; Оп. 132. Д. 2736. Л. 599–600; Ф. 271, Оп. 1. Д. 217. Л. 91–97; Ф. 286. Оп. 1. Д. 336. Л. 505, 505 об.; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 52383. Л. 77; Д. 52474. Л. 1; АВПРИ. Ф. 62. Оп. 62/1. 1740 г. Д. 6. Л. 4–5; 1742 г. Д. 8. Л. 3–7 об., 14, 15, 23, 23 об.; 1743 г. Д. 6. Л. 32; 1745 г. Д. 2. Л. 16 об., 17, 26 об., 27, 31 об., 32, 44 об., 46, 49 об.-50 об.; 1755 г. Д. 7. Л. 21, 27, 27 об., 29; *Безбородов М. А. Д. И. Виноградов — создатель русского фарфора*. М.; Л., 1950. С. 31–36, 87–95, 122–125, 130, 139–159, 178–180, 189, 190, 231–238, 296, 309, 310, 341–346, 360, 367–380, 396, 469–471; *Писаренко К. А. Челобитная А. М. Владыкина (1748)* // РА. Вып. 19. С. 32–38.

О политической ситуации при версальском дворе и отношении Елизаветы Петровны к Войне за австрийское наследство см.: АВПРИ. Ф. 93. Оп. 93/1. 1747 г. Д. 5. Л. 53, 53 об., 186, 198, 200, 204, 204 об., 222, 222 об., 256, 256 об.; АКВ. Кн. 6. М., 1873. С. 8, 9, 111–113; Кн. 7. М., 1875. С. 256–258, 264, 271; Сборник РИО. Т. 102. С. 494–496; *Писаренко К А.* Протоколы приемов... С. 66–72, 190, 191; *Он же.* К истории русско-французского соперничества в 1748 г. (походные журналы В. Н. Репнина, документы о пожарах, ведомости Г. Гросса) // РА. Вып. 20. С. 70–74, 79; *Он же.* Елизавета Петровна. С.380.

О дипломатической борьбе вокруг похода корпуса Репнина см.: АВПРИ. Ф. 79. Оп. 79/1. 1748 г. Д. 7. Л. 243, 246, 246 об., 262, 262 об., 267–268, 271, 277–280, 314, 348 об., 360–361; РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/12. Д. 682. Л. 764 об.-766; Осмнадцатый век. Кн. 4. М., 1869. С. 89; Писаренко К. А. Из семейной хроники Голицыных. С. 9—11, 16; Он же. К истории русско-французского соперничества в 1748 г. С. 75–79, 169–186, 194–206; Он же. Елизавета Петровна. С. 381–391.

См.: МИАН. Т. 5. СПб., 1889. С. 307; *Кротов П. А.* Битва при Полтаве. СПб., 2009. С. 302–313; *Есипов Г. В.* Эпизод из жизни Крёкшина // *Древняя и новая Россия*. 1878. Кн. 1. № 4. С. 338–342; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 177–180, 182, 183.

См.: МИАН. Т. 5. С. 622; *Миллер Г. Ф.* История Сибири: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 74, 148, 149; Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв. М.; Л., 1940. С. 40–43; *Татищев В. Н.* Записки. Письма. 1717–1750 гг. М., 1990. С. 281, 290, 304; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 177, 179–189, 194.

См.: МИАН. Т. 7. С. 25, 26, 337, 341, 342; Т. 8. СПб., 1895. С. 211, 363; Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 г.: В 4 т. Т. 2. СПб., 1899. С. 13, 14; *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 313, 314.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 306. Л. 457, 896, 905, 907, 989—989а; Д. 321. Л. 2; МИАН. Т. 8. С. 183–194, 212, 213; *Васильчиков А. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 3, 25–28, 79–82; *Писаренко К. А.* Письма В. Н. Татищева // Вопросы истории. 2001. № 6. С. 169.

См.: МИАН. Т. 5. С. 49, 50; Т. 8. С. 238, 302, 360, 361, 368, 399, 400, 408, 595–597, 607–609; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 9—12, 541–543; *Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова.* М.; Л., 1961. С. 51, 110; *Моисеева Г. Н.* М. В. Ломоносов на Украине // *Русская литература XVIII в. и славянские литературы.* М.; Л., 1963. С. 90–99; *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 319–322, 325, 334, 339.

См.: МИАН. Т. 9. СПб., 1897. С. 17, 125, 126; Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских (далее — ЧОИДР). СПб., 1866. Кн. 3. Отд. 5. С. 15–22; Библиографические записки. 1861. № 17. С. 515–518; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 9. М.; Л., 1955. С. 619, 620, 936; *Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова.* С. 119–121.

См.: МИАН. Т. 9. С. 426, 619; Т. 10. СПб., 1900. С. 66, 71, 74, 75, 83, 84, 94, 554; Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук. Т. 2. С. 206; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 15–25, 545–547; *Татищев В. И.* Указ. соч. С. 342, 343, 346, 352, 409.

См.: МИАН. Т. 10. С. НО, 111, 132–135, 381, 553–555; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 548–551; *Татищев В. Н.* Указ. соч. С. 343, 355–360.

См.: МИАН. Т. 10. С. 581–586; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 546; Т. 10. М.; Л., 1957. С. 388–392, 498, 502, 503; *Пекарский П. П.* Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале. 1755–1764 гг. СПб., 1867. С. 3–9; *Летопись Российской академии наук.* СПб., 2000. Т. 1. С. 387, 414, 423, 424.

См.: АКБ. Кн. 3. М., 1871. С. 266–271; Кн. 4. С. 450, 460–465; Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 575, 576, 588; Пекарский П. П. Указ. соч. С. 45–56; Он же. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864. С. 4–6; Мезин С. А. Взгляд из Европы. Саратов, 2003. С. 91—115.

См.: АВПРИ. Ф. 124. Оп. 124/2. Д. 8. Л. 3; ПСЗРИ. Т. 6. С. 667, 668; Т. 7. С. 48–50; Санкт-Петербургские ведомости. 1744. № 75. 17 сентября; История Свейской войны. Вып. 1. С. 294; Дневные записки генерального подскарбия Якова Марковича. М., 1859. Ч. 2. С. 210–213.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/29. Д. 1853. Л. 482 об., 483, 486; Д. 1869. Л. 195; Дневные записки генерального подскарбия Якова Марковича. Ч. 2. С. 218, 223–225, 228–231; КС. 1884. № 3. Приложение. С. 4; 1885. № 12. Приложение. С. 244, 247, 253, 254; 1886. № 1. Приложение. С. 257, 258, 261, 262.

См.: РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 39. Л. 2, 6–7, 8, 10–13, 15 об., 16, 27; Ф. 248. Оп. 1/29. Д. 1853. Л. 160–161, 167, 704, 709–719 об., 739–742; ПСЗРИ. Т. 11. С. 602, 638–641; Дневные записки генерального подскарбия Якова Марковича. Ч. 2. С. 228–231, 239–242; КС. 1886. № 1. Приложение. С. 268; № 4. Приложение. С. 279, 284, 288, 289.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/88. Д. 7316. Л. 2; АВПРИ. Ф. 124. Оп. 124/1, 1749 г. Д. 4. Л. 1; Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 178. Оп. 1, Д. 2989. Л. 1-11, 23–25; ПСЗРИ. Т. 12. С. 694; КС. 1886. № 4. Приложение. С. 301, 303; № 7. Приложение. С. 308–311; № 8. Приложение. С. 346; № 9. Приложение. С. 358, 368, 373, 379, 381, 383; № 10. Приложение. С. 385, 386, 399–401; № 11. Приложение. С. 418, 434, 451, 453–459, 462–464; № 12. Приложение. С. 468, 469.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/14. Д. 806. Л. 272–273; Оп. 1/22. Д. 1429. Л. 11–17, 24–25, 28–30; Оп. 1/39. Д. 2929. Л. 401, 401 об.; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. 2-я серия (далее — ПСПР-2). Т. 1. СПб., 1899. С. 11, 45, 46; Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующаго Синода. Т. 23. СПб., 1911. Стб. 286–288; ПСЗРИ. Т. 11. С. 727, 728.

См.: ПСПР-2. Т. 1. С. 25, 26, 120, 121, 217, 354, 355, 400, 405, 406; Т. 2. СПб., 1907. С. 13, 14, 274; Описание документов и дел... Т. 23. Стб. 435, 436, 759, 760; ПСЗРИ. Т. 12. С. 172, 173.

Цит. по: *Лиштенан Ф. Д. Указ. соч. С. 269, 291, 315.*

См.: ПСПР-2. Т. 2. С. 299, 300; Т. 3. СПб., 1912. С. 122–125, 477, 478; Описание документов и дел... Т. 29. СПб., 1913. Стб. 131–133; *Писаренко К. А.* Протоколы приемов... С. 208, 210.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/88. Д. 7316. Л. 700; ПСПР-2. Т. 3. С. 70, 104, 105, 191, 192, 244, 460; Описание документов и дел... Т. 26. СПб., 1907. Ст. 474,475; Т. 29. Ст. 6,437; Т. 31. СПб., 1909. Стб. 335, 336,489,490, 519, 520; Т. 34. СПб., 1912. Стб. 195; Камер-фурьерский журнал. 1751. С. 20–24.

См.: ПСПР-2. Т. 3. С. 501, 502; Т. 4. СПб., 1912. С. 382–390; Описание документов и дел... Т. 39. СПб., 1910. Стб. 356–363, 683–688.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 3066. Л. 482–484.

См.: ПСПР-2. Т. 4. С. 294–296; Описание документов и дел... Т. 34.
Стб. 182.

О «дискуссии» вокруг системы Коперника см.: *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 8. М.; Л., 1959. С. 618–629, 1060–1069, 1072–1080; *Ломоносовский сборник. 1711–1911.* СПб., 1911. С. 86–103; *ЧОИДР. 1865.* Кн. 1. Отд. 5. С. 59–61; 1867. Кн. 1. Отд. 5. С. 7, 8; *Барсов Т. В.* О духовной цензуре в России // *Христианское чтение.* 1901. № 7. С. 111, 112; *Модзалевский Л. Б.* Ломоносов и его ученик Поповский // *XVIII век.* Вып. 3. М.; Л., 1958. С. 136–139; *Кинельм Е. Я.* Произведения Фонтенеля в России в XVIII — начале XIX в. // *Французский ежегодник.* 1976 г. М., 1978. С. 180, 185.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/29. Д. 1878. Л. 107–108.

О событиях в Ильинском и Ромоданове см.: Там же. Ф. Н. Оп. 1. Д. 95. 4.2. Л. 111, 112, 172–193, 198–217; Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2653. Л. 868–871 об., 878–879, 893–896, 920–925 об., 934–937 об., 946–949; Оп. 113. Д. 1562. Л. 227–228, 318–331, 631–654 об., 660–662; Д. 1562а. Л. 128, 140–145, 239, 260, 267, 267 об., 339, 426–433, 572–573 об., 592, 592 об., 624, 624 об., 655–656 об., 754, 812, 813, 846–850, 852, 855–858, 870; Оп. 132. Д. 2736. Л. 74–79 об.

См.: ПСЗРИ. Т. 15. С. 582–584.

См.: АВПРИ. Ф. 119. Оп. 119/1. 1741 г. Д. 11. Л. 4, 102, 127, 156–158; 1742 г. Д. 31. Л. 67; 1743 г. Д. 9. Л. 1, 11; 1744 г. Д. 5. Л. 582, 715–718; Д. 7. Л. 57; 1745 г. Д. 5. Л. 301, 301 об., 327–329 об., 430; Д. 9. Л. 61–62; РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/10. Д. 592. Л. 452–460 об., 563 об.; Ф. 286. Оп. 1. Д. 273. Л. 1215–1221.

См.: АВПРИ. Ф. 108. Оп. 108/1. 1755 г. Д. 2. Л. 2-10, 14, 77–88 об., 95-105, 149–150, 153, 274 об., 275, 307–310 об., 406 об., 455, 456 об., 586–600; 1756 г. Д. 1. Л. 290–293, 302, 306–307, 447, 447 об.; Д. 2. Л. 1-25 об.; РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 288. Л. 430–431 об.; Д. 400. Л. 78; Д. 470. Л. 79; Санкт-Петербургские ведомости. 1760. № 68. 25 августа; *Неплюев И. И.* Указ. соч. С. 427–437.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2929. Л. 401,401 об., 426.

См.: Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 298. Л. 443; Сборник РИО. Т. 6. С. 446–449; ПСЗРИ. Т. 13. С. 173–176, 196, 197, 440, 441, 756, 947; Т. 14. С. 87; КС. 1886. № 4. Приложение. С. 274; № 9. Приложение. С. 382; Сенатский архив. Т. 6. СПб., 1893. С. 604–605; *Лиштенан Ф. Д.* Указ. соч. С. 274, 281, 314.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2792. Л. 9, 53–65, 70–71.

См.: Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 350. Л. 560 об.; Д. 447. Л. 567; «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. С. 54; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 82; *Он же.* Елизавета Петровна. С. 323, 326–333.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2880. Л. 49–58 об., 66–69, 141–148 об., 257, 267 об.; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 205, 305–321, 445.

См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61216 (журнал Маслова); *Писаренко К. А. Елизавета Петровна. С. 302, 303, 446.*

РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 2978. Л. 1009 об., 1010; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 51975. Л. 10–11.

См.: Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 252. Л. 905; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 51944. Л. 2, 5–7; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 126–128.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 428. Л. 901, 903; АВПРИ. Ф. 62. Оп. 62/1. 1756 г. Д. 8. Л. 1–2, 11; Д. 13. Л. 83-113 об.; АКВ. Кн. 4. С. 254; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 80; *Он же.* Протоколы приемов... С. 144, 147, 148.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 447. Л. 2; АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 72. Л. 220; Ф. 32. Оп. 32/1. 1761 г. Д. 19. Л. 4 об.; Ф. 50. Оп. 50/1. 1760 г. Д. 3. Л. 216; 1761 г. Д. 3. Л. 55, 63; Ф. 74. Оп. 74/1. 1744 г. Д. 10. Л. 98; Ф. 93. Оп. 93/1. 1761 г. Д. 12. Л. 49, 50, 51, 53, 55, 86; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 149.

См.: АВПРИ. Ф. 32. Оп. 32/1. 1761 г. Д. 19. Л. 3, 4; Ф. 93. Оп. 93/1. 1760 г. Д. 11. Л. 1, 89, 127; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 150, 151.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/16. Д. 935. Л. 573–575, 579–580; Оп. 113. Д. 1719. Л. 49, 49 об.; Ф. 286. Оп. 1. Д. 325. Л. 498; Д. 344. Л. 596; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 161, 162.

См.: *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 142; *Он же.* Елизавета Петровна. С. 246–255, 268–272; *Акельев Е. В.* Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М., 2012. С. 17, 38–41, 89–98, 110, 378–389, 393.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2875. Л. 18–21; Ф. 286. Оп. 1. Д. 421. Л. 174, 174 об.; *Костышин Д. Н.* История Московского университета (вторая половина XVIII — начало XIX в.): Сборник документов. Т. 1. М., 2006. С. 120.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2778. Л. 84–92; Оп. 1/40. Д. 3217. Л. 2; Оп. 113. Д. 570. Л. 2–7 об., 16, 18–27, 36–39 об. (публикацию С. О. Шмидта см.: Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX в. М., 1969. С. 390–404); Д. 1149. Л. 2–3 об.; Ф. 286. Оп. 1. Д. 446. Л. 736, 743, 748 об., 753, 755; Д. 447. Л. 178; АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 533. Л. 257.

См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61190. Л. 7–8; Записки императрицы Екатерины II. С. 109, 110; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 160.

См.: *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 394–403, 971, 972, 983, 984; Т. 9. С. 850–852; Т. 10. С. 382, 383, 806, 807.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2875. Л. 18–21, 34, 34 об., 271–273, 286, 286 об.; Оп. 1/41. Д. 3283. Л. 490; Ф. 286. Оп. 1. Д. 421. Л. 395; *Костышин Д. Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 13–30, 117–125, 150, 151; *Онже.* Алексей Михайлович Аргамаков: Материалы для биографии // Россия в XVIII столетии. Вып. 2. М., 2004. С. 64, 139; *Артемьев А. И.* Казанские гимназии в XVIII столетии // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. № 5. С. 61.

О борьбе вокруг реформы системы образования см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2875. Л. 18–21, 202–203 об.; Оп. 1/40. Д. 2944. Л. 16–23, 35–46, 48–51 об., 82–83 об.; Д. 3019. Л. 251; Оп. 136. Д. 3302. Л. 23–24; Оп. 137. Д. 3358. Л. 52–60 об.; Д. 3362. Л. 1–4, 404–419 об.; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 527, 528, 537, 538, 553–555, 570, 571, 902–904; Т. 10. С. 761; *Материалы для истории пажеского Его Императорского Величества корпуса.* Киев, 1876. С. 23–30; *Артемьев А. И.* Указ. соч. С. 61.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 2944. Л. 165, 165 об., 170, 233, 233 об., 273; Санкт-Петербургские ведомости. 1762. № 39. 14 мая. Прибавление; ПСЗРИ. Т. 15. С. 943, 985–987; Т. 16. С. 48–50, 94, 95; *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 762, 763.

См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1777. № 75. 19 сентября;
Писаренко К. А. Письма Я. А. Брюса В. М. Долгорукову-Крымскому (1777–1778) // РА. Вып. 15. С. 201.

Об устройстве первых картинных галерей в России см.: Камер-фурьерский журнал. 1744. С. 18–20; 1745. С. 9, 68,69, 106–108, 133; Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 43–53, 95–98, 103, 357–359,368,386; Т. 2. С. 11, 71; АКВ. Кн. 2. М., 1871. С. 129; *Беспятых Ю. Н.* Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997. С. 163; *Маркина Л. А.* Портретист Георг-Христоф Гроот и немецкие живописцы в России середины XVIII в. М., 1999. С. 54–57, 63–68, 78–80, 84–87, 98; *Забелин И. Е.* Опыты изучения русских древностей и истории: В 2 т. Т. 2. М., 1873. С. 330–337; *Андросов С. О.* Живописец Иван Никитин. СПб., 1998. С. 97, 110, 141–143, 154.

См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61602. Л. 12; Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Т. 1. С. 69–74, 107, 357–369; Андросов С. О. Забытый русский меценат — граф Михаил Воронцов // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 2000 г. М., 2001. С. 248, 249; Маркина Л. А. Указ. соч. С. 97—101.

См.: *Писаренко К. А.* Из семейной хроники рода Строгановых// РА. Вып. 14. М., 2005. С. 40, 51, 56–63.

См.: АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 3085. Л. 52; *Андросов С. О.* Забытый русский меценат — граф Михаил Воронцов. С. 253–262; *Маркина Л. А.* Указ. соч. С. 90, 106.

См.: АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 3094. Л. 87, 87 об., 113; Д. 3096. Л. 207 об.; АКВ. Кн. 6. С. 273; *Андросов С. О.* Забытый русский меценат — граф Михаил Воронцов. С. 270.

См.: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1, Д. 5. Ч. 4/1. Л. 88 об.; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61245. Л. 1,2; Камер-фурьерский журнал. 1743. С. 6, 10–13; Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Т. 1. С. 230, 231; Эрмитаж: История строительства и архитектура зданий. Л., 1989. С. 40–44.

См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 41225. Л. 2; Камер-фурьерский журнал. 1744. С. 28; 1745. С. 153, 154; *Писаренко К. А.* Как восстанавливался сгоревший Головинский дворец // РА. Вып. 18. С. 236–238.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 3122. Л. 1012; Архитектурная графика России. Первая половина XVIII в. Л., 1981 С 128_132

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 2978. Л. 846, 846 об., 850–852, 861.

Об А. Ф. Кокоринове см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/14. Д. 798. Л. 1360–1364 об.; Оп. 1/39. Д. 2486. Л. 416, 416 об., 430–439, 453, 453 об., 458, 460–463, 498, 685, 685 об., 1059, 1059 об.; Д. 2762. Л. 412, 413, 415; Д. 2875. Л. 365–369; Ф. 1239. Оп. 3. Д. 41275. Л. 81, 81 об.; АКВ. Кн. 4. С. 384–392, 432–438; Михайлов А. И. Архитектор Д. В. Ухтомский и его школа. М., 1954. С. 33, 35, 37–40, 78, 79, 238, 244–248, 255, 256, 322–325, 341, 368; Крашенинников А. Ф. Архитектор Александр Кокоринов. М., 2008. С. 20, 21, 24, 25, 28, 34–36, 41, 76, 77, 96–103.

См.: Сообщения Кабинета теории и истории архитектуры. Вып. 1. М., 1940. С. 22–34.

См.: *Бенуа А. Н.* Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны. СПб., 1910. С. 30, 32,35–39,43, 44, 62–73, 76–82; Примечания. С. XII.

См.: История русского искусства: В 13 т. Т. 5. М., 1960. С. 211;
Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектурные проекты из собрания
Государственного музея истории С.-Петербурга: Каталог. СПб., 2000. С. 76,
77.

См.: *Алексеева М. А.* Михайло Махаев — мастер видового рисунка XVIII в. СПб., 2003. С. 119, 120.

См.: *Бенуа А. Н.* Указ. соч. С. 82; Примечания. С. XIV, XVI; Камер-фурьерский журнал. 1754. С. 46–49; *Денисов Ю. М., Петров А. И.* Зодчий Растрелли: Материалы к изучению творчества. Л., 1963. С. 46–48, 163, 199; Эрмитаж: История строительства и архитектура зданий. С. 49–51, 58–63, 65–68, 71, 73–76.

АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 1486. Л. 395.

О кадетском театре см.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 400. Л. 239; Записки императрицы Екатерины II. С. 56, 310–311; *Евдокимов Л. В.* Журнал дежурных генерал-адъютантов. Т. 1. СПб., 1897. С. 193–195, 202–214, 218, 219; Камер-фурьерский журнал. 1750. С. 21–30, 117–119; *Старикова Л. М.* Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. М., 2003. Ч. 1. С. 159–168, 800–805; *Писаренко К. А.* Сказки елизаветинской России. С. 164–166; *Он же.* Елизавета Петровна. С. 13–15, 40, 43–45, 94, 95.

О формировании царской театральной труппы см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 103. Л. 61–62; Записки императрицы Екатерины II. С. 310–311; *Евдокимов Л. В.* Журнал дежурных генерал-адъютантов. Т. 1. С. 223, 236; Т. 2. СПб., 1898. С. 271–273; Камер-фурьерский журнал. 1755. С. 19; 1757. С. 11; *Старикова Л. М.* Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Ч. 1. С. 805–810, 824, 826; *Ф. Г. Волков* и русский театр его времени: Сборник материалов. М., 1953. С. 73, 74, 84–91, 94–102, 105, 106, 119, 212, 213.

См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1388. Л. 1-19 об.; Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 3083. Л. 121; Ф. 286. Оп. 1. Д. 377. Л. 312; Записки императрицы Екатерины II. С. 311, 312, 319; *Курукин И. В.* «Государыню заколоть шпагою...» // *Родина*. 2003. № 4. С. 54.

См.: *Васильчиков А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 19; ЧОИДР. 1863. Кн. 3. Отд. 5. Стб. 153–157; Лиштенан Ф. Д. Указ. соч. С. 298; Валишевский К. Дочь Петра Великого. Ростов н/Д., 1998. С. 114.*

См.: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 5. Ч. 4/3. Л. 195–196; Ф. 248. Оп. 1/8. Д. 442. Л. 739–741, 799, 799 об.; *Васильчиков А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 19, 20; Писаренко К. А. Елизавета Петровна. С. 10–12, 436, 442–444.*

Об основании двух сербских колоний в России см.: Сенатский архив. Т. 8. СПб., 1897. С. 402–417, 627–631, 681–691, 705, 717–721, 725–728, 732, 733, 738, 745; Т. 9. СПб., 1901. С. 21, 40–44, 54–58, 64, 65, 78; АКВ. Кн. 7. С. 297, 298, 302–305, 309–313; Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. М., 1984. С. 136, 137, 139–142, 144, 145, 156–158, 165, 166, 169; Москва — Сербия. Белград — Россия: Сборник документов и материалов. Белград; М., 2009. Т. 1. С. 560, 561; *Костя-шов Ю. В.* Сербь в Австрийской монархии в XVIII в. Калининград, 1997. С. 44, 48, 56–59, 62–69, 72, 122; *Кости М.* Српска насеља у Русији: Нова Србија и Славеносрбија. Нови Сад, 2001. С. 29–57, 71–74, 81, 85, 118, 119.

О русско-турецком конфликте из-за крепости Святой Елизаветы см.: АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1754 г. Д. 1. Л. 185–186 об., 200, 367–370 об.; Д. 3. Л. 236–266 об., 278, 305–306; Д. 4. Л. 207–211, 220, 222–226, 241, 241 об., 246, 246 об., 280–285 об., 301 об., 304–305, 308–309 об., 334, 334 об.; Ф. 90. Оп. 90/1. Д. 363. Л. 2–3; Д. 368. Л. 24а, 24а об., 58–64, 167, 167 об., 171; Д. 367. Л. 240–242; РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/39. Д. 2897. Л. 44, 46, 46 об., 54–66; Оп. 113. Д. 479. Л. 22–23; АКВ. Кн. 25. С. 183–199; Сенатский архив. Т. 9. С. 156, 157, 198, 199, 260, 261, 276; Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. С. 200, 201.

См.: Сенатский архив. Т. 9. СПб., С. 68, 69; Т. 10. СПб., 1903. С. 524, 525, 584, 593–595, 604–607; Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. С. 162, 163, 171–173, 196, 197, 202, 217, 218.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 377. Л. 568; Ф. 1274. Оп. 1. Д. 2. Л. 6, 9, 10, 11; Русский архив. 1892. № 10. С. 159.

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 400. Л. 321–323; АКВ. Кн. 33. М., 1887. С. 220; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 323–326, 392, 408–419, 479.

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 1/40. Д. 3212. Л. 420; Оп. 1/41. Д. 3283. Л. 530; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 7241. Л. 41, 41 об., 42, 43; АКВ. Кн. 6. С. 336; *Писаренко К. А. Елизавета Петровна. С. 335, 336–399.*

См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 489. Л. 846; *Валишевский К.* Роман императрицы. СПб., 1908. С. 121; *Писаренко К. А.* Елизавета Петровна. С. 393.

См.: АВПРИ. Ф. 79. Оп. 79/1. 1757 г. Д. 9. Л. 355–357, 389–390, 451; АКВ. Кн. 6. С. 337, 338; Русская старина. 1880. Т. 29. № 9. С. 175, 176; П. А. Румянцев: Сборник документов: В 3 т. Т. 1. М., 1953. С. 90, 91, 99, 100; Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 135, 136.

См.: П. А. Румянцев. Т. 1. С. 584–591; *Писаренко К. А.* Письма А. М. Голицына М. Л. Воронцову, 1756–1758 // РА. Вып. 19. С. 102, 103.

См.: АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Д. 3098. Л. 191, 192; АКВ. Кн. 6. С. 291.

ПСЗРИ. Т. 15. С. 498, 499; Санкт-Петербургские ведомости. 1760. № 68. 25 августа; № 92. 17 ноября; Краткое описание болезни и кончины Ея Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. СПб., 1762. С. 1–2 об.; Записки императрицы Екатерины II. С. 535, 536.